

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (442)

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Андрей Пермяков. Из белой маршрутки. *Стихи* 3
Феликс Чечик. «Записанные на виниле» *и др. стихи* 7
Анатолий Бузулукский. Похоть Безносова. Гневная любовь. Раздражение. *Рассказы* 9
Василий Нагибин. Пена. Рассказ цвета сепии. *Рассказы* 17
Илья Вишневский. Катарсис. *Рассказ* 32
Канат Омар. «Жизнь гремит кубиками льда...» *и др. стихи* 38
Марина Палей. Брачные заплачки кочевников. *Цикл стихотворений* 42
Валерий Бочков. Счастье с доставкой. *Рассказ* 50
Татьяна Грауз. «солнечное» *и др. стихи* 58
Рафаэль Шустерович. Боль глубины. *Стихи* 59
Сергей Рыженков. Дворовые игры + *(Записки о том, что было самым важным, и оттого, что безвозвратно ушло, важности не потеряло). Окончание* 64

ДЕБЮТ

Алексей Поступинский. Бог №264. *Роман* 107

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Алексей Ильичёв. «Неправда, на свете не больно совсем...» *и др. стихи. Подготовка текста и публикация Владимира Орлова* 168

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Белла Магид. Сергей Петров в ожидании Благовещенья 173
Денис Безносов. Поэзия как зрелище 179
Сергей Трунёв. Тусовка как революция; революция как тусовка 182
Станислав Секретов. Игра в себя. Предисловие к писателю 184

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Дикие люди 186

© «Волга», 2013

Андрей ПЕРМЯКОВ

ИЗ БЕЛОЙ МАРШРУТКИ

С приездом

Из белой маршрутки вышел в четвёртый том
(самая верхняя полка, корешок надорван немного):
«*грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом,*
перебежала ему дорогу».

«*Пьяный в шинели... лежал поперек тротуара*».
(Без шинели, конечно, и вдоль, но всё равно лежал.)
Решётка дышала ошмётками жёлтого пара,
словно тяжёлой землёю укрыли старинный вокзал.

Берег реки, цветом похожий на сойку,
сделался полупрозрачным, неторопливо качался.
Возле киоска гундосил автобус тройка.
Город, кажется, не изменился, но отличался.

Так отличаются даже не злое и доброе:
скажем, тёплый котёнок и тёплый томатный сок,
а так отличаются только живое и мертвое:
снег, например, и песок.

Снег, например, и апрельское одиночество.
Снег, например, ложится, не тает.
Берег качается, точно плывёшь на катере.
Точно с соседом выпили, а говорить не хочется.
Точно туман не кончится, и вправду ведь не кончается;
Точно козлёнок варится в молоке матери.

***

Это май и сестра его – жалость.
Эта жимолость пахнет бедой.
Этот ковш, чтоб звезда отражалась,
беспросветной наполнен водой.

Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую Академию. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Публикуется с 2007 года. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «АлконостЪ», «Арион», «Воздух», «Волга», «Знамя», «Графит», «Homo legens» и др.

Этот ковш, опрокинутый в небо,
Обеспечивает тишину.
Эта корка засохшего хлеба
Навсегда повторяет луну.

Всё другое, другое, другое,
Переломанное навзрыд.
Отражённое, никакое.
Белый дым над водою стоит.

Белый-белый, совсем невозможный,
невозможный, как лунная дочь.
Так безжалостна и осторожна
бесконечная белая ночь.

***

Марию звали Марией, а Марфу – Натальей.
Звали, зовут и долго ещё будут звать.
В июне по всей России – северная Италия:
Реки, закаты, кукушки, прочая благодать.

Барышни, кажется, мало любили друг друга:
Это бывает у девушек нежного возраста.
Маша четыре раза сказала: «эта подруга...»
Эта подруга тихонько ходила за хворостом.

Отражённая церковь в тонкой реке плыла.
Я обернулся быстро и, в общем, нечестно.
Маша с Натальей сидели с одной стороны стола
и между ними зияло пустое место.

Только ни слова, пожалуйста, об онтологии зла.
Жить невозможно, но правда ведь интересно?..

О тенях

Где речка Сестра уходит от города Клина,
но откуда ещё видна надломленная золотая игла,
тихо и медленно, будто цветёт малина,
летит пчела.

Одинокая между громко летающих пчёл,
между шипящей листвы.

Всё, что я для чего-то и просто так прочёл,
немножко касалось полёта этой пчелы.

Немножко казалось, что даже плохие стихи,
даже стихи с прилагательным «злой»,
даже те, что ещё чуть хуже, и те, что совсем плохи,
оправданы этой продолговатой пчелой.

Самое интересное то, к чему осторожно:
вот неожиданно белая липа, тонкая, как весло.
Липа, пчела, оружие. Прочее – невозможно.
Холодно, светло, холодно. Холодно, светло.

К дождю

Пахнет невкусным обедом и красными грушами
(потому что на этом закате всё красное).
Чайки летают над бывшим городом Тушино,
падают к смутной воде и у воды становятся разными.

Человек на соседней скамейке роняет стакан.
Другой человек односложно его ругает.
Волк привыкает к железу и попадает в капкан,
а человек вообще ко всему привыкает.

А «человек вообще» это такое неясное,
очень смешное и, в сущности, непоправимое.
Листья ракиты свисают пологие, красные.
Капли с них падают краткие, неуловимые.

Берег

Листья плывут, и надо грустить о лете.
Только об этом лете грустить совершенно не получается.
Для чего Густав Малер придумал «Песни о мёртвых детях»?
Для чего беспрестанный октябрь полгода как не кончается?

Листья плывут по нечистой воде, убогие,
Жаль октября, времени – нет, не жаль.
Дождь над рекой – лёгкая тавтология,
точно Владимир Даль пишет про слово даль.

Сквозь иней идёт последняя муравьиная рота.
Жизнь есть компьютерная игрушка, которая непроходима.
Над Западным Подмосковьем небо расходящихся самолётов
делается прозрачным до Нового Ерусалима.

Заморозок

Низкие горы цепочкою так похожи на ключ,
что настоящим ключам, наверное, очень обидно.
По реке Чусовой идёт маломерное судно Луч.
Небо до хруста белое – чаек почти не видно.

Здесь поворачивает на север река-сирота
с крутой стороны упругих и малорослых гор.
Хочешь сказать «комар», а говоришь «навсегда»,
хочешь сказать «пойдём», а говоришь «простор».

Холодно только. Будто на небе или наоборот.
Но всё – для тебя одного,
точно в неполучившемся детстве на тёткиной даче.
Это не мокрое небо, это *всех вод естество*
обнимает тебя как умеет – по-медвежачьи.
И маломерное судно по чёрной воде идёт.

Феликс ЧЕЧИК

***

Записанные на виниле,
холодной прописью огня,
похерили, похоронили
воспоминания меня.

И мир детальный, мир подробный:
реки, багульника, дождя,
цветёт и пахнет, как загробный,
благоухая и смердя.

***

В соответствии с тем,
что сплошные потери, –
нет: ни крыши, ни стен,
только окна и двери.

Наконец-то посметь;
и во время спектакля
встать, уйти – улететь,
испариться, как капля.

***

Что касается клавира, –
темперируя его,
сотворил себе кумира
и молился на него.

Не прирученная стая
слов – мою клевала грудь,
так и жил я, не мечтая,
от клавира отдохнуть.

Задыхался от созвучий
и от музыки был пьян,
переплыв под скрип уключин
рукотворный океан.

Феликс Чечик родился в 1961 году в городе Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, стажировался в институте славистики Кёльнского университета (проф. В. Казак). С 1997 года живет в Израиле. Автор пяти поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат «Русской премии» за 2011 год.

День и ночь гремела лира,
навевая людям сны...
Вдруг я понял, что клавира
лучше нету тишины:

темперируемой парком
бабьим летом и рекой
незаслуженным подарком
предвещающим покой

***

эпистолярный жанр
в отсутствие эпистол
и псс в пыли
мерцает еле-еле
потушенный пожар
заброшенная пристань
и гибнут на мели
бездушные емели;)

***

Безнадёжный, по сути,
(десять из десяти),
на последней минуте
матч финальный спасти.

От отчаянья, что ли? –
мяч, почти от ворот,
через минное поле
совершил перелёт.

И трепещет, как рыба,
предвещая конец,
за мгновенье до взрыва
проигравших сердец.

Однокласснице

МиГ-27 из промокашки
посадку сделай у доски
и помоги извлечь Наташке
квадратный корень из тоски.

Пока математичка злобно
её исследует дневник,
планируй ангелоподобно,–
есть только миг.

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

Рассказы

Похоть Безносова

Имя у последней было Виктория – небывалое в интимном перечне Безносова, непластичное, неудобное для образования ласкательных форм. Никакая производная от этого имени не выходила гладкой, отскакивающей от зубов – ни Витуля, ни Викуля (что-то малорусское, гоголевское в этом слышалось, даже мужицкое), ни Викуся (мол, накося выкуси), ни Викочка (что-то подростковое), ни Вита (чересчур латинское, витальное), ни Тошенька, ни Тория, ни Тора (это вообще из другой оперы). Поэтому Безносов называл последнюю либо Викторией, либо так, как ему действительно хотелось ее называть – «Миленькая» и еще «Золотая» (но «Золотой» только в письменных сообщениях). Как самой Виктории было больше по душе, он еще не разобрался. Но «Миленькая» ее приободряло, потому что произносил он это не только с чистой нежностью, но и с каким-то своим истонченным, длительным, напрасным страданием.

Ему казалось, что последняя приедет в субботу не только за деньги, за деньгами. Ему казалось, что у последней, у Виктории, он вызывал, помимо главенствующего меркантильного интереса, и психологическое любопытство. Ее удивляло, что расплачивался он с ней при прощании не тщеславно, а виновато, что деньги клал в конверт, а конверт совал в сумочку не как гонорар или гуманитарную помощь, а как нелепую взятку. Ей были любопытны его радостная тревога, обреченная искренность, весь этот подкупающий кризис среднего возраста, мальчишеско-старческое обольщение. Она верила его словам, что ему не нужны от нее даже половые акты, а нужны от нее только сама доступность, тактильность, поцелуи, губы, дыхание. Она знала, что это не было заурядным самооправданием, заклинанием импотента, ибо в итоге дело все равно доходило до полноценного полового акта. Но было видно, что именно от нее ему было нужно прежде всего то, в чем он ей признавался, – сама досягаемость до нее, сама касательная близость к ней, ее тело рядом с ним.

Он пребывал в замешательстве: была ли его теплота к Виктории действительно теплотой, старинной, детской, или это была нервическая гримаса похоти, видоизмененная, стыдящаяся, слабая физическая тоска?

Виктория и без каблуков была высокой, ломкой, плоской в тесной кожаной курточке. Но стоило ей раздеться – и возникала сильная, казавшаяся большой, спокойной, самодовлеющей грудь. Без этой груди, соглашался Безносов, никакой теплоты к Виктории у него бы не было. Но и без ее твердых, сиротских глаз эта теплота не сохранилась бы. И без ее низкого, грудного голоса, преувеличений, ждущего молчания, растерянности теплота не тлела бы.

Виктория отказывалась, чтобы он ее провожал после встречи, как будто знала, что никого из предыдущих девиц с сайта знакомств он не рвался провожать. Он фантазировал, что Викторию ожидают внизу у подъезда – сутенер, муж, подруга, кто-то из подельников. Но он стал понимать, что, в действительности, ей бывает попросту приятно идти к остановке одной с деньгами и смешливым недоумением.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.

Безносов считал, что похоть легитимна в молодости, что молодость без похоти сомнительна, что сквозь пальцы можно смотреть на похоть дядек лишь самых бесхитростных, стариков-хулиганов и баб-торгашек. Интеллигенция себе позволить похоть не может. Похотливый интеллигент не внушает доверия, похоть разынтеллигенчивает интеллигента, ибо интеллигент – это культура, а похоть – натура. Интеллигент должен ежеминутно помнить, что похоть – это дурно, незрело, несерьезно, некультурно, не к лицу и не по летам. Причем, замечал Безносов, следы похотливого состояния не так отвратительны в интеллигентной женщине, как в интеллигентном мужчине. Безносов иногда встречал свою бывшую жену и, зная ее, понимал, что ее теперешняя несчастливая, ложная, кислая усталость вызвана тем, что бывшая жена живет без мужика. И бывшая жена смотрела на Безносова с разоблачительной усмешкой, зная, что ее бывший муж выглядит теперь не столько скучающим профессором, сколько таинственным развратником.

Год Безносов жил с неутоленной похотью. Ему казалось, что это было время не только рационального одиночества, взвешенной аскезы, прерывистой умиротворенности, культурных программ, угрюмого чтения, научного словотворчества, платонических прогулок, гигиены, физических упражнений, неохотного воцерковления, но и время загадочных снов, ностальгической дремоты, бормотания, оторопи, непонятных отсветов, неизвестных звуков, странных шорохов, озарений, видений, тока в висках. В середине отпуска, отоспавшись, истомившись от летнего зноя, свободы, порнографии, Безносов разместил анкету на сайте знакомств. Он сидел в он-лайне как завороженный. Первые его сообщения были галантными и витиеватыми. Успехом у молодых девиц они не пользовались. Возрастные тетки на сайте знакомств Безносовым игнорировались. Ему хватало в ЖЖ возрастных блогерш. Наконец он научился писать лапидарно, предметно о том, что его интересует гостевой брак, регулярные встречи, включающие интимную близость. Многие девушки откликались, спрашивали, будет ли им за это материальная поддержка, он отвечал, что будет, они уточняли, какая именно в денежном эквиваленте, называли свою цену. Секс за деньги предполагал ясность и взаимность, взаимную выгоду. Безносов думал, что из этой сугубо функциональной взаимности может родиться сердечная привязанность. Он знал, что такое случается и в глобалистскую эпоху, когда из коммерческого проекта вдруг вырастает нечто щемящее, благообразное. При этом он понимал, что даже при возникновении душевной приязни изначально оговоренную плату за плотскую близость сводить на нет непродуктивно. Приязнь будет уязвленной – обесцененной, близость – нечестной.

Первая с сайта оказалась мимикричной. На фотографиях у нее были круглые, яркие щечки с острым, юным носиком. В скайпе лицо ее погрузнело. Выручал невинный, настороженный фальцет. Приехала в гости рыжая первокурсница без шеи, с запахом пота и печеным загривком. Секс и для него, и для нее был ненасытным, но безысходным. Безносов не понял и не спросил, была ли она девственницей или нет. После секса она пила кофе на кухне и рассказывала, что ее распорядок дня летом диктует телепрограмма, что между сериалами она час болтает с подружками по мобильнику, а час гуляет с собакой. Надо отдать ей должное, она больше не звонила Безносову, хотя перед уходом поцеловала его по-свойски, без неловкости, и оглянулась с благодарностью.

Со второй он встречался дважды бесплатно и между свиданиями много по-товарищески переписывался. Она была тощей, некрасивой, двадцатиоднолетней, то ли беззубой, то ли с крохотными зубами. Она писала ему, что он прекрасный мужчина. От нее доверительно пахло – ничем, воздухом, загородными сумерками. Она безответно звонила, назидательно напирала на смайлики. Последним ее возгласом на сайте было: «Ну что ж, дорогой, до свиданья!» Она привыкла к неудачам, освоилась с ними. Безносов понимал, что когда-нибудь надо будет перед ней извиниться.

Третья была модель, бывшая, периодическая, как она уточнила. Она была длинновата для вкуса Безносова, он даже пошутил, что в анкете она поскромничала про свой «дивный рост». «А ты любишь высоких?» – спросила она. «Да, высоких», – сказал Безносов. «Многие пугаются, – ответила она. – Такая шпала приедет». Бока ее приобретали полноту. Но лицо ее было таким скуластым и таким отрешенным, что Безносов только и делал, что целовал это лицо с мягкими, прилежными губами. Безносова раздосадовало, что модель приняла душ лишь после секса, а до секса

она лишь помыла руки, с аппетитом съела суши, сказала, что как всегда торопится, и повалилась на диван. Глаза ее говорили, что она продешевила, деньги за встречу с Безносовым ей показались маленькими. Она попросила вызвать и оплатить ей такси. Попросила, чтобы он сопроводил ее до машины. Через неделю она сбросила ему sms-ку: «Секс нужен?» Безносов промолчал.

Безносов стал винить себя в эстетстве, ненужной разборчивости, недальновидности. Он думал, что хороша была вторая – благожелательная, измученная, нетребовательная, дармовая. Что хороша была и модель. Что очень хорошей могла бы быть и первая. Что в итоге останется он в гордом, долгом одиночестве.

Еще две до Виктории ретировались без секса. Одну, студентку-педагога, возможно, удручило то, что, как оказалось, жили они с Безносовым бок о бок, на одной улице, в соседних домах. Другая не столько озирала Безносова, сколько его холостяцкую берлогу. На сайте потом она пояснила: «Извини – между нами не пробежало искры».

Он нашел Викторию последней. Она и выглядела последней, прощальной: зябкой, пропорциональной, помнящей, – чтобы можно было любоваться, и чтобы можно было обнимать.

Он хотел, чтобы хоть кто-то знал его целиком. Этим человеком могла бы быть Виктория. Она знала в нем малопочтенное, она слышала его веселые слова, она вблизи наблюдала его возбуждение, смешную наготу, слюнявую страсть, скабрезный взгляд, досадливую расслабленность. Для Виктории не составит труда не оскорбиться его сухими лекциями, педагогическими призывами, заботой о традиции, нравственными сетованиями, любовью к Рахманинову, почетом среди студентов, его, Безносова, интеллектуальностью, интеллигентностью, культурой, патриотизмом, религией. Ему хотелось, чтобы он стал для нее цельным, крепким, прощенным. Ему хотелось, чтобы она понимала его муку по целомудренным людям, его восхищение философом Соловьевым. Ему хотелось, чтобы она не замечала в своем любовнике контрастов.

Неужели меня ждет медлительное разложение от похоти, – думал Безносов, – от ее зудящего, разрастающегося угасания? Ему говорили, зачем ты жаждешь молодых – они же глупые и беспощадные? Или ты педофил, Безносов? СМИ так разогрели педофильскую тему, удивлялся Безносов, что теперь рядом с чужими маленькими детьми даже проходить нельзя – тут же бдительные граждане заподозрят в тебе паскудника, педофила. Чего это он сюсюкает с ребенком? Не от сердечной же приветливости? Да я бы и сам, – полагал Безносов, – насторожился, если бы моей внучке протянул конфету незнакомый мужчина.

С четверга Виктория перестала отзываться. Он понял, что в субботу она не придет. Безносов знал, что при этом она еще не решила, придет ли она к нему вообще когда-нибудь в будущем. На всякий пожарный она не будет прощаться, она будет таиться – либо всегда, либо до некого случая.

Что ее останавливает приходить к нему? – тосковал Безносов. – Приходить даже за деньги или именно за деньги? Не отвращение же к нему, не отвращение же к себе? Он думал, что ее никогда бы не остановила приходить к нему жестокость. Напротив, жестокая Виктория торопилась бы к нему – для насмешки, для ограбления, для убийства. Вот бы что ее не остановило, – усмехался Безносов, – потребность в его ничтожной, заслуженной смерти. И пусть он шепчет из последних сил всё, что захочет, пусть шепчет похотливо, с теплотой, с горем: «Миленькая, миленькая...»

Гневная любовь

Шубников кричал на свою жену как на подчиненную. Кричал при других подчиненных – заместителях, советниках, помощниках. Жена его служила под его началом, и кричал он на нее, как и на других своих ближайших подчиненных, по пустякам, из-за производственных нелепиц, когда чирей вырастал на ровном месте. Приводили в бешенство Шубникова ляпсусы, хаос не раздражать не мог.

Кричал он на жену как на подчиненную, но казалось, что кричал он на нее как на жену.

Он кричал жене: «Вы суете мне безграмотный документ! На такое не способна даже продав-

щица из ларька». Казалось же, что кричал он совершенно другое: «Ты ведешь себя, как последняя шлюха!»

Кричал он еще и потому, что люди превратно понимали его крик. Лица этих людей выглядели функциональными, деловито отрешенными, но думали они не о деле, а о делах сердечных, не своих, а его, о его разладе с новой, молодой женой, о, возможно, неудачном сексе. Он хотел им крикнуть, не ей, а им: «Нет никакого неудачного секса! Секс у нас хороший. У меня не может быть плохого секса. Слышите? Если вы не понимаете чужую жизнь, не смейте думать о ней!» Он полагал, что они задавались вопросом, сколько же он протянет с этими своими спорадическими надрывными криками. Они видели, как он мертвел после крика, словно набирался бледности от своей акварельной, зеленеющей седины.

Ольга, его молодая жена, говорила, что любит эту его младенческую, густую, весеннюю седь. Иногда она трепала с умилением и осторожностью его волосы, словно боялась, что это пух. Иногда она дула на них, но они лежали плотными локонами, только шевелились уступчиво...

Они развелись неожиданно для него и его подчиненных, как будто экспромтом, бессознательно. Только для Ольги развод был обдуманным и нетрудным. Шубников не знал такую Ольгу – напористую и вероломную. Он думал, что она подловила его на очередном крике. Он помнил, как она привычно заплакала, вернее, всплакнула и вдруг в безвоздушной тишине после его крика произнесла издалека: «Я предлагаю развестись. Надеюсь, ты не будешь возражать?» Она знала, что в нем еще сохранялись остатки крика, именно на них она рассчитывала, именно ими он ответил в беспамятстве – беспомощным, безрадостным, тихим воплем: «Не буду!» Всю жизнь он был ответственным человеком, крупным руководителем, достойным мужчиной, поэтому от произнесенных заверений открещиваться был не в силах. Принимая решение, он бывал неподкупен, если ход дела ему нравился, и великодушен, если ему становилось противно. Ольга взяла с места в карьер: «Будет справедливо, если ты купишь мне квартиру с мебелью, оставишь мне мой автомобиль и разрешишь взять другие твои подарки. Ты согласен?» «Разумеется», – сказал он мягко. Эта мягкость у него означала крайнюю степень брезгливости, поэтому Ольга ни о чем больше не упомянула. Она видела, как скривился он от слов «твои подарки», точно от грубой лести.

Он думал, что увидел ее открывшейся, новой самой собой. Она была в неумолимых слезах и выпрямленной, словно счастливой на вырост. Как хорошо было бы, если бы Ольга была с ним всегда такой, с самого начала и каждый день! – думал Шубников. – Прямой, наседающей, любящей. И как отвратительно, что она стала такой только теперь, что она приготовилась быть такой лишь для одного раза – для выяснения отношений, для объявления о разводе, для самого развода. И может быть, исключительно для того, чтобы развод для нее получился бы выгоднее брака. «Она показала свое подлинное лицо, – обижался Шубников, – хищницы и шантажистки. И слава богу, что момент истины пришелся на развод, а не на грань между жизнью и смертью».

Он не любил, чтобы окружающие замечали в нем какие-либо изменения – хорошие или плохие. Он знал, что сострадать ему по-настоящему не будут. Там, где нужно жалеть, принимаются хвалить. Хвалят же либо неискренне, либо с недоумением. Вместо того чтобы сочувствовать его семейному краху, восхищаются его благородством: взял Ольгу нищей, а оставил обеспеченной. А она не была нищей, и он ее не купил. Так скулила ее рязанская тетка: «Купил нашу красавицу». Скулила, а сама завидовала сестре и племяннице. И теперь будет злорадствовать и завидовать: «А я говорила. Наигрался нашей красавицей и откупился. Нате вам квартирку с машиной. Мог бы и побольше отвалить – как положено, половину имущества. Догадался, старый распутник, спрятаться за брачный контракт, как в презерватив». Они не понимают, что никакого брачного контракта не было, так же как и нет у него никакого особенного капитала, о чем Ольга знала и запросила с Шубникова высчитанные, нелегкие отступные.

Пройдет время, но он не уберет со своего стола ее портрет. Не уберет даже тогда, когда у него будет новая пассия. Так, на виду, сохраняются фотографии умерших дорогих людей. Пусть думают, что он начал сходить с ума, превращаться в мазохиста. Пусть думают, что этот Ольгин портрет перед глазами, как на лобном месте, – известное шубниковское упрямство. Пусть думают, что это – подтверждение его упрямой, гневной любви.

Они думают, сердился Шубников, что я не люблю, а тщеславлюсь. Я люблю, но теряю, но отвергаю. Мой гнев – мой путь. Гнев ведет меня по жизни. Я ему верил. Но я люблю. Я хочу любить тихо, и я буду тихо любить. Я уже тихо люблю. Я начал смущаться этого слова. И мне нравится так смущаться.

Ему нравилось, что на портрете белокурая Ольга была окружена сочными зелеными листьями, что рядом с ее щекой полыхал неизвестно откуда взявшийся (снимок был сделан в Италии) огромный, деревенский подсолнух. Улыбалась она в первые месяцы их совместной жизни со счастливой растерянностью, с непониманием того, что с ней происходит – счастье или несчастье, с радостным удивлением от роскоши, невероятных платьев, драгоценностей, отелей, курортов, кушаний, Канн, Лондона, Пятой авеню. Ему нравилась ее деликатная восторженность, красота, молчаливость, воспитанность. Ему не нравилось, что она не научилась различать, когда он доволен ее манерами, а когда ревнует ее, ему не нравилось, что она не умела без улыбки ловить плотоядные взгляды других мужчин. Он всегда любил женские слезы, но Ольгины слезы казались ему некрасивыми, простецкими, бытовыми.

Неужели она полагала, что сможет изменить мою гневливость на кротость? – удивлялся Шубников. – Меня злит, что они и она не понимают, почему я бешусь. Я выхожу из себя не потому, что у меня вздорный характер, что я аморален, что многих считаю идиотами. Меня раздражает сознательная неорганизованность умных людей, патологическая беспечность добрых людей, обаятельная близорукость красивых людей. Их не задевают диссонансы. Они не тоскуют по гармонии. Они как дети.

«Папа, ты не можешь долго находиться с одними и теми же людьми, даже с родными, даже с сыном. Ты меня едва не ударил вчера, – так откровенничал однажды его сын, живя с отцом в загранпоездке в одном гостиничном номере. – Ты бросился на меня с кулаками из-за ерунды». «Я прошу прощения, но ты опять за свое. Это не ерунда – то, что ты вчера себе позволил. “Они подождут” сказал ты с пренебрежением о моих коллегах. А почему они должны нас ждать? Потому что они мои подчиненные? Нельзя так относиться к людям», – воспитывал отец взрослого сына. «Ты рассвирепел на меня не из-за подчиненных, а потому что я тебе надоел за неделю, пока мы вместе. Тебя все во мне раздражает». «Это неправда, – сказал отец. – Я виноват, но это неправда». Шубников не знал в достоверности, сын любит его или нет. Маленьким любил. Теперь лишь помнит ту детскую любовь, – подозревал Шубников. – Быть может, будет любить опять по-новому потом, когда отца не станет.

Шубников помнил, что Ольга встречала его на земле после прыжка с парашютом, как своего мужчину-смельчака – с женским восхищением. Ей шла эта безыскусная, счастливая преданность. Он любил ее восхищенное лицо. Он жалел, что встречала она его на земле не с тревогой. С восхищением, но без тревоги. Он вообще никогда не видел, как она тревожится за него, какое у нее при этом лицо, красивое или некрасивое. Любил бы он это ее лицо, исполненное тревожной боли, а не азарта и восторга?

Он думал, что только тому, кто поймет его гневную любовь, покорится его гнев. Только на этого любящего человека он не сможет гневаться, ибо незачем будет гневаться. Мне нужна неизменность моей жизни и мне нужно терпение. Говорят, терпение – значимая часть любви. Внешняя неизменность и внутреннее терпение позволят мне радоваться. Люди заметят мою приветливость, а не раздражительность.

Иногда Шубникову удавалось подслушать о себе приятные вещи, и ему хорошо спалось. Он слышал разговор двух сотрудниц: «Она не может без запинки говорить «член комиссии». – «И я не могу». – «А, например, наш директор может». – «У него другая организация души, другое понимание языка, другая чувствительность языка. Я сначала думала, что это артистичное ханжество. Нет, это умение отделять зерна от плевел».

Шубников не оставлял времени для одиночества. Но даже пятнадцати минут перед сном, ничем не занятых, хватало, чтобы пустоту заполняло мучение о грянувшей никчемности и отверженности. Скучны были книги, музыка, мировой кинематограф. Шубников бродил в сети по

чужим страничкам, рассматривал чужие фотографии с нежностью. Он думал о смерти. Он думал: «Как неловко, аморфно, расплывчато, необязательно жить с пониманием, что смерти нету, и как ясно, логично, справедливо жить, когда смерть есть!»

Раздражение

У Пал Андреича начал побаливать бок внизу слева. Не мучительно, не как сердце или зуб, а как душа – с перерывами, отходчиво, с брезжащим томлением. Пал Андреич покопался в интернете, там каждый диагноз был страшным, Пал Андреич решил, что почка ноет от сырости или молока.

Это была не боль, а полуболь. Ему казалось, что полуболь не обезоружит его неусыпную раздражительность. Боль могла бы, а полуболь нет.

Он думал, что именно раздражение стирает человека с лица земли. Ибо человек – это терпение. Раздражение – соперник терпения.

Он был рад, что его перестали раздражать непогода или камешек в ботинке, но люди не перестали – незнакомые, невиновные, встречные и канувшие. Людям в мегаполисе легко быть честными и рассерженными. Свирепая честность горожан саморазоблачительна, простительна. Сердечность мегаполис приберегает на крайний случай – для чумы, войны, блокады.

Пал Андреича раздражали собачники по утрам, входящие в лифт со своими четвероногими невольниками. Пал Андреич старался не смотреть ни на лица, ни на морды. Одни были непредсказуемы, другие непонятливы. Им, непонятливым, было невдомек, что нехорошо входить в лифт с собакой, если там уже находится человек. Зачем человеку дополнительное терпение?

Раздражительность Пал Андреича была отточенной, внутренней, кристальной. Он не понимал прохожих, идущих ему навстречу, которые уклонялись влево, а он, как и принято в дисциплинированном обществе, уклонялся вправо. Неужели это он виновник замешательства, неужели это он неловок, а не они не правы? Ему было противно, что он для них лишь помеха на пути, на белом свете, как и другие семь миллиардов. Ему было противно, что их он считал также помехой. И возвращавшаяся общегуманная мысль, что так относиться к людям нельзя, ничего не меняла. Противно, что эта мысль не призывала его к самоиронии, а призывала к сдержанности.

Всегда находился какой-нибудь загривок, который вырастал перед Пал Андреичем за мгновение до того, как тот собирался шагнуть в вагон метро. Его подмывало крикнуть этому загривку: «Я не собираюсь занять ваше место, я не собираюсь плюхнуться на чаемое вами сиденье, я хочу проехать бочком, особняком». Пал Андреич хотел объяснить, что нельзя оттирать людей в сторону, что это он, Пал Андреич, такой покладистый гражданин, а другой не выдержит и толкнет вас, и вы можете попасть под колеса. Он не любил, когда в полупустом вагоне кто-либо не находил ничего лучшего, как встать к нему впритык, схватиться за поручень перед его носом, придавить рюкзаком. Пал Андреич не понимал, почему теперь люди в общественном транспорте не скидывают баулы с плеч, почему не держат их в опущенной руке. Неужели они действительно не видят, что мешают другим пассажирам ехать, терпеть, успокаиваться, жить? Дайте мне полметра деликатности! Я не прошу всегда, я не прошу в толчее, но когда условия позволяют, зачем создавать искусственную скученность? У нас не было такой грубой России, не было такого неотесанного города, – мучился Пал Андреич, – такой изматывающей непочтительности. Он знал, что от подобных заклинаний, произносимых внутрь себя, ему обычно становилось легче. Зачем вы уткнулись своим пахучим дыханием в мое лицо? Ведь есть другие стороны света, повернитесь туда, там теперь совершенно свободно, там совершенно пусто. На автомобиле в городе Пал Андреич существовать совсем отказался.

На работе его не раздражали люди, он знал их десять лет, у раздражения короткий век, некоторых он любил, некоторых понимал. На работе раздражали абсурдные указания. Подчиненные считают, что начальники отрываются от земли, начальники полагают, что подчиненные ничего

не смыслят на земле. Пал Андреич был и подчиненным, и маленьким начальником. Начальником – бесхарактерным, подчиненным – с характером.

Раздражали Пал Андреича только молодые сослуживцы-новички. Их в любое время года было много, надолго они не задерживались и никого толком не запоминали. В обеденный перерыв молодые двигались по коридорам группками, с шутками, гоголем. Им не приходило в голову сторониться, уступать дорогу, бояться отдавить чью-либо ступню – не потому что они были дикими, нечуткими и недипломатичными, а потому что они были красивыми, водевильными и бессмертными и никого, кроме молодых и богатых, не собирались замечать.

Пал Андреича иногда раздражало, что его милая сотрудница N. была с ним вкрадчиво послушной, пока его правая рука находился в отпуске. Но стоило тому выйти на работу, и N. чувствовала в нем опору, противовес Пал Андреичу. N. опять начинала пикироваться, как подросток. И он, как подросток, начинал беситься. Он думал, что так же нехорошо выглядит национальный лидер, который устал сохранять на лице чересчур снисходительное терпение от бесконечных домыслов: так кто же в доме хозяин? Милая N. обиделась на Пал Андреича, когда он однажды поправил ее, что нельзя писать: «По рекам и каналам и по реке Неве». Конечно, река Нева не то что всякие там Фонтанки и Мойки, но все-таки тоже река; если вы хотите подчеркнуть первостепенное значение Невы, сделайте это грамотно. Пал Андреич думал, что именно от N. он перенял любовь к словечку «абсурд».

Пал Андреича раздражало, что не было сил. Сил уже не было после обеда. В выходные не было желания развлекаться. А было ли желание духовного огня, служения, ясности? Что в сухом остатке? Знакомый девяностолетний старик, видимо, уже утешает Пал Андреича: «Какой у тебя хороший пиджак, на английский манер, хорошая ткань, кожаные налокотники!» Кто-нибудь, глядишь, милосердно похвалит и усики Пал Андреича: какие они жесткие, вздернутые, как ты не позволяешь им свешиваться вниз, ни на йоту, выстригаешь уныние!

Пал Андреича раздражало, что он торопился домой с чувством разбалансированности времени. Не требовалось никуда спешить (наоборот, некуда и незачем было спешить), а он спешил. До такой степени спешил, что мыслью был уже там. И мысль эта была такой выразительной, материальной, что он разрывался, разрывалось дыхание, он дышал как сердечник, не будучи сердечником.

Он вспоминал о срывах. О бойне в кинотеатре американского города Аврора. Белый парень, из добропорядочной семьи, из студентов-отличников, расстрелял зрителей на премьерном показе «Темного рыцаря» о Бэтмене. Нельзя, думал Пал Андреич, доводить художественный образ до экстрахудожественного вселенского предела. Любой сверхнадменный предел оборачивается катастрофой. В России двадцатитрехлетняя счастливая пьяная девушка за рулем внедорожника сносит остановку с несчастными людьми, давит пятерых насмерть. Змей нам сказал: «Будьте как боги». Змей грамматически обманул нас, предложив множественное число для слова, у которого не может быть множественного числа.

О чем толкуют наш режиссер с нашим профессором? В их диалоге есть все: наблюдения, опыт тоски, эротизм, предчувствия, отповедь русской коррупции, их богемный агностицизм. Они вежливы, но безответны. Всякая линия их разговора заканчивается тупиком – недомолвками, смешками, отводом глаз. Снимаются они на фоне Спаса-на-Крови. Им приятно говорить метафорами, что этот храм как стайка птиц с запрокинутыми клювами, что он похож на изразцовую печь, давно не топленную.

На улицах Пал Андреич видел, что у гастарбайтеров теперь, несмотря на то, что принадлежали они к разным народам, вылепилась единая, одинаковая, авгурова улыбка: мы вытопчем вас мирно, равномерно, не больно, культурно-мультурно – временем, своим числом и вашим демографическим упадком; мы просто переживем вас на вашей огромной территории, мы не виноваты, что вас не останется, а мы останемся здесь. Пал Андреич видел, что гастарбайтеры были упоены этой своей общей, солидарной улыбкой.

Он думал, как не быть раздражительным. Избавит радость или боль. Но радость – у вечности. Остается боль. Не полуболь – боль. И ты ее накличешь.

Он вспоминал странного южанина, эдакого Голиафа с темной лысиной. Пал Андреич встречал его по утрам в метро. Этот забавный южанин-верзила флегматично шествовал по платформе, держа в руке на ремешке маленький термос. Термос качался, как маятник. Для центра современного мегаполиса это была слащавая, старинная, ориентальная картинка. Возможно, он трудился сапожником, ехал в свою будку по ремонту обуви. Вряд ли он был гастарбайтером, он уже был россиянином. Гастарбайтеры, как могут, перенимают наши манеры, дресс-код, презрение к старомодным вещам. Вряд ли он был грузином или армянином. Чеченцы, наши горцы любят быть щеголями. Если и спускаются в метро, то – с айфоном-айпадом напоказ, а никак не с термосом. Пал Андреич почему-то думал, что этот огромный, вялый, сутулый южанин, наверное, езид или курд. Шел он, по-балетному выворачивая толстые, смешные ноги. Голиаф, но по-Давидовски с пращой-термоском.

Эта пастораль навевала Пал Андреичу старое, классическое, ироничное итальянское или грузинское кино. Там много таких обаятельных чудаков. Пал Андреич думал, что такие простаки-философы могут существовать только в искусстве. Там, на экране, им помогает жить музыка, Нино Рота. Здесь восточный человек с термосом шел без музыки, нелепо, медлительно, в толпе.

Василий НАГИБИН

Рассказы

Пена

Пена – это, как выражаются учёные, такая дисперсная система, то есть смесь, состоящая из двух веществ, которые находятся в разных агрегатных состояниях. Пена – это распределившийся в жидкости газ. Он образует в ней полости, большие и маленькие, а она тонкими прослойками, подчиняющимися, судя по их форме, силам поверхностного натяжения, полости эти разделяет. Пена поэтому влажная, лёгкая и мягкая. К тому же она шипит, что происходит от периодического спадания пузырьков газа, или, если посмотреть с другой стороны, от периодического склеивания плёнок жидкости. Вот что такое пена! Она сопровождает человека всю жизнь с самого его рождения. Но, как правило, человек её почти не замечает, за исключением редких случаев, да ещё может быть в детстве с увлечением и вниманием относится к ней. Я, помню, очень её в детстве любил, и пена благодарно продолжает меня радовать от случая к случаю и сейчас, а раньше – делала это, практически не переставая, что, впрочем, тогда умела не одна она. Но детство машет рукой с перрона, отставая всё больше, и вот уж вечереет; за декоративный горизонт с зубчатыми тенями домов и деревьев медленно садится жаркое летнее солнце. В лучах его суетятся вокруг кустов и ещё не включённых фонарей мошки, медленно двигается окрашенный в оранжевое воздух. Грустно сиренево-синему небу, грустно фиолетово-белым, местами даже розовым, облакам. Червонным золотом светятся верхушки тополей, а всё, на что свет заката не попадает, стало густым, наведённым, тенисто-зелёным и сочным. Листья мерцают от сонных переливов ветра. Стена дома, очень высокого, словно мокрая – вся сияет и блестит, а окна, кажется, намазаны толстым слоем мёда. Таким вот вечером, грандиозным, как финал симфонии, по набору красок и уныло тихим по вызываемым чувствам заканчиваются мои воспоминания о детстве: я весь день гулял во дворе и теперь усталый и довольный, ещё весь в мыслях о только что закончившейся игре иду, пыльный и запыхавшийся, домой через этот затопленный солнцем двор, мимо этих стен, тополей. И уже завтра будет всё это мерцать и светиться без меня за окном школьного класса, и будет подчёркнуто строгая учительница обманывать себя тем, что ученики не замечают её отрешённых взглядов за окно и не догадываются о том, что мысли её не о них. И до чего же это скучно!

От скуки часто спасало воображение. Воображение питалось всевозможными переживаниями: дракой соседских мальчишек, хождением на заброшенную стройку в другой конец улицы, посещением сырого и тёмного подвала, любовью, в конце концов. Любовью в детстве называется тревожное и протяжное чувство в животе, которое постоянно, то с большей, то с меньшей силой заставляет думать исключительно о нём и объекте, его вызвавшем. При этом заниматься чем-то посторонним становится совершенно невозможно, требуется уединение и покой. Даже встретиться с тем, кто это чувство вызывает, не всегда хочется так, как просто сидеть одному и

Василий Нагибин родился в Алма-Ате в 1981 году. Закончил Национальный медицинский университет в Киеве, кандидат медицинских наук. Работал преподавателем в медицинском институте, научным сотрудником в Ягеллонском университете в Кракове, сейчас – старший научный сотрудник в Институте физиологии академии наук Украины и, как стипендиат Словацкой академии наук, в Институте сердца в Братиславе. Фантастическую прозу начал писать с семи лет. Первая публикация состоялась в журнале «Октябрь» в 2005 году. В 2004 году входил в шорт-лист, в 2011 году – в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза».

проигрывать в воображении в десятый и сотый раз всевозможные варианты этой самой встречи. Я, кстати, до сих пор не знаю ни одного серьёзного научного труда, посвященного этому чувству. О том, что называется любовью зрелой, написано черт знает сколько всякого, а тут – тишина. Но согласитесь, что эта невесомость ничего общего не имеет ни с половым возбуждением, ни с самыми трепетными чувствами какого-нибудь мужа к какой-нибудь младшей сестре жены. Оно, во-первых, гораздо более самодостаточно, во-вторых, направлено внутрь, а не вовне, в-третьих, требует самых минимальных бытовых проявлений. Оно, как ни странно, очень физиологично, но при этом не безлично, и никогда не встречается у людей, вышедших из подросткового возраста. И мне, повторюсь, кажется странным то, что оно абсолютно не изучено. Или это только мне одному посчастливилось его испытать, или головы наших психологов да физиологов совсем забили вопросами кадровой политики в малом бизнесе.

Вы, вероятно, станете спорить, но звали её Катя. Сейчас покажу фотографию. Вот здесь виден кусочек нашего высотного, выложенного кофейной плиткой дома с застеклёнными балконами, сверху и справа кипят листья каштанов, а как раз на границе между их тенью и раскалённой полосой асфальта застыла в красивом широком шаге небольшая хрупкая девочка. Здесь ей лет двенадцать, не больше. Она блондинка с ювелирной работы личиком, тонкой, полупрозрачной шеей и загорелыми предплечьями. Светлые просторные брюки, уже выскочившие на солнечный свет, ослепительно блестят, а вязаную майку ещё не включили – она в каштановой тени. Глаза прищурены, губы в чуть растерянной полуулыбке. Мне нравилась она ужасно, причём к тому моменту, когда неуклюжий и полный отец её, пыхтя, приседал на корточки и делал эту фотографию, я успел пройти через большинство известных стадий сложных отношений мальчиков к девочкам, ибо познакомился я с Катей за много лет до этого при попытке разломать аккуратно воздвигнутые ею песчаные пасочки. Я был и остаюсь на пару годиков старше. В песочнице на то время меня больше интересовала возможность прорыть подземный ход, выгребая мокрый песок пальцами обеих рук, двигавшихся навстречу друг другу (в момент, когда ходы соединялись, шевелящиеся пальцы соприкасались, и казалось, что это не собственные руки, а какие-то чужие, непонятно откуда взявшиеся под песком). Осуществлению этих в высшей степени грандиозных архитекторских планов мешала маленькая девочка в каком-то пижамном костюме, которая, как плюшевый медвежонок, бесформенно возилась посреди песочницы. Я не берусь описать впечатление, которое она произвела на меня тогда. Всё, что удаётся отметить из сферы моих внутренних ощущений, носит на себе отпечаток моего теперешнего восприятия, но за описательную часть я ручаюсь. У неё было тогда пухлое личико, ничего общего не имевшее с тем точёным, которое я вижу на фотографии и последующих страницах моей растрепанной книги памяти (кстати, все дети в раннем возрасте с виду абсолютно одинаковые... Одинаковые, и не спорьте, мамаша). У неё были неуклюжие короткопалые руки какого-то водоплавающего, ничего общего не имевшие с тонкими и длинными холодными руками, которые я сжимал под прикрытием крыльца во время какой-то летней бурной грозы. И, наконец, у неё были тёмные глаза, которые стали впоследствии светло-бирюзово-серыми, чуть водянистыми, чуть плачущими, чуть надменными... Бывает в детстве, что получаешь удовольствие от того, что заставляешь плакать какого-нибудь более младшего ребёнка. Нечто подобное я и испытал в тот раз, когда изгонял Катю (знал бы я тогда – свою Катю!) с облюбованного ею для строительства места. На помощь подоспела её мама, я был заклеймён позором, и к чести своей должен сказать, что изрядно был мучаем впоследствии совестью, вспоминая этот инцидент. Этой странной смеси наслаждения, раздражения и угрызений совести я посвятил немалую часть своего детства. Благодаря последнему компоненту, я и заговорил с ней снова – это было что-то вроде принесения извинений – но она, кажется, уже забыла совершенно мучавшее меня происшествие и охотно поделилась со мной какой-то вафлей, и рассказала, что собирает ручки. И уж не знаю почему, но я тоже стал собирать ручки – ими до сих пор ещё полон мой письменный стол – слепые, засохшие... накупить, что ли, стержней.

Каждая мелочь в детстве наполнена смыслом, сокровенным значением, тайной. Всё, вплоть до листочка или камешка (хотя такой оборот, как «вплоть до...» здесь не совсем уместен, ибо и

листочек, и камешек, и всё остальное в детстве абсолютно уравнены в своих правах) создано и существует не просто так. Хочется за всем наблюдать, всё видеть. И от этого о многих вещах, о которых теперь и вспомнить тяжело, раньше, в далёкие те времена, известно было очень много. О пене, например. Пена бывает разная. Первая, которую я сознательно выделил из многообразия окружающих меня явлений, была мыльная. Эта пена особенна тем, что способна существовать очень долго, не падать и растворяться с игривым шипением, как многие другие, а пышно и мягко плавать на воде в ванной, например, куда тебя сейчас положат плескаться с игрушечной лодкой. Мне очень нравилось её осязать, густо загребать руками и сдавливать в проваливающихся объятиях. Её невесомая плотность и едва ощутимая упругость вызывали во мне какое-то желание отведать этой субстанции. Может, какой-нибудь физиолог объяснит мне такое взаимодействие между чувствами: возникновение аппетита от осязания, кремово-белое прикосновение? При ближайшем рассмотрении я, было, разочаровывался, ибо белизна пены оказывалась смешением всех цветов, миллион раз повторявшихся в каждом мельчайшем пузырьке, – если позволительно верить тому, что Ньютон открыл закон земного притяжения, лёжа под яблоней, то призму для разложения белого света на спектр он изобрёл, плещась в мыльной пене. Бывало, зачерпываю горсть пены, свисающей чуть оттенённым клоком седых волос с руки (видно, чья-то борода, но на этом не задерживается внимание), подношу к лицу – близко-близко – и смотрю. В этот момент я попадал в рай или, по крайней мере, в какое-то его преддверие, где я был погружён (ощущение тёплой воды, в которой я сидел, усиливало это чувство) в какое-то сложное сияние мириадов разноцветных пузырьков; я плавал в нём, я не видел ничего другого. И уж совсем в восторг повергало меня лёгкое потрескивающее шипение: рвётся старая паутина (идёт субботняя уборка, бабушка веником смахивает серебристые нити из-под умывальника), скрипо-хрустит под ногами притоптанный уже снег (утренняя прогулка с папой в ближайший магазин, зима, выходной день). Миры – сотни, тысячи миров – сокрыты в мыльной пене! Я думаю, что не стоит говорить о том, что диалектика мира проявляется даже здесь, о том, какое разочарование ожидало меня, когда я всё же решался лизнуть этот воздушный концентрат. Несколько позже я, однако, нашёл способ удовлетворить и эту вкусовую неполноту: горячее мороженое. Рецепт: берёте порцию мороженого (если оно в стаканчике или вафлях, то их необходимо снять; мороженое в шоколадной оболочке я лично не использовал – это на любителя), помещаете его в кастрюлю и нагреваете, лишь чуть-чуть не доводя до кипения (то есть до образования стойкой пены). Даёте немного остыть и пьёте большими глотками, ощущая предполагаемый вкус той далёкой мыльной пены из детства. Правда, пена от мороженого не такая крупная и стойкая, к тому же её не так приятно брать в руки, но вкусовая характеристика на высоте и восполняет недостаток иных свойств.

Она, бедняжка, часто простуживалась в детстве (я, впрочем, тоже), она не смогла принять мой первый подарок: скомканный и полурастаявший пломбир, купить который я специально для этого упросил отца – до сих пор конфужусь. Слышал потом, что её ругали за это, что её мама о чём-то с моей мамой долго хихикали, но всё это было уже потом, после того, как я плёлся через весь двор под взглядом тысячи окон с этим дурацким пломбиром в руке к ожидавшему меня у подъезда отцу (наврал ему, кажется, что пломбир я проспорил или задолжал). Впрочем, она отказалась безо всяких скрытых причин – просто у неё болело горло, и мороженое есть временно было запрещено. Он, подарок мой, был в итоге превращён вместе с моей порцией пломбира в эту самую пену, которую аккуратно пробовала внешней стороной губы мама, чтобы я, значится, не обжегся. Одновременно она мыла люстру, барахтая резные стекляшки в тазу с мыльным раствором, где сформировалась великолепная голубоватая пена. И я, угрюмо уставившись в эту крупнозернистую плёночную материю, под какие-то бытовые разговоры родителей никуда не мог скрыться от улыбающихся их взглядов.

И тут мы переходим к следующему этапу. Продолжая любоваться пеной мыльной и оставаясь неудовлетворённым её вкусовыми качествами, я вдруг стал замечать, что пенность свойственна не одному только мылу. Однажды... А в те незапамятные времена (хотя возможно было это не так уж и давно) меня будили летними утрами протяжные выкрики продавцов молока, знаете, так с

ударением сразу на всех слогах: «Мо-ло-коо». Было тогда принято, что каждое утро въезжала во двор машина (кабина от ЗИЛа голубого цвета, кузов, как у поливалки, оранжево-пыльный с белесоватой надписью «Молоко»), где рядом с водителем сидела полная женщина в идеально белом, пенном халате, которая, собственно, и оглашала двор старомодным этим криком. Пока водитель читал свежие газеты, облокотившись на приоткрытую дверь кабины, она разливала молоко по бидончикам и банкам, с которыми приходили к ней все окрестные старушки и домохозяйки. И видели бы вы, каким белым, каким, да простят меня физики, абсолютно белым было это молоко!

Примечание: всё те же физики утверждают, что абсолютно черного тела не бывает, а абсолютно белое, как показали мои личные наблюдения, существует, так что добра на свете больше!

Так вот, однажды вывели меня на прогулку каким-то особенно ранним утром, и я, копошась в песке возле лавочки, на которой восседал кто-то из родственников, вдруг увидел эту машину, лихо въезжавшую во двор, и кто-то из родственников заторопился и со словами «надо бы молочка купить» кинулся в дом, откуда явился с бидоном на три литра, алюминиевым и от этого полупрозрачно-полузеркальным, белесовато-серым. С этим самым бидоном, довольно много лет спустя, я стоял в очереди за разливным квасом в неуютном металлическом киоске, и вошла девочка, которая тогда жутко мне нравилась (угадайте, кто? Конечно же, Вуди Вудпеккер!), и войдя, оказалась за мной, и добрых минут пятнадцать, пока насыщались квасом бидоны каких-то стариков, я пребывал в счастливо-перепуганном стопоре, и как я клял себя потом, что не рискнул с ней заговорить. Да-да, было и такое. Бояться заговорить с девочкой, которую знаешь с трёх лет, которой в пять даришь мороженое, в семь поддаешься, играя на детской площадке в квача, а в девять просто восхищаешься за то, что она смело и даже с насмешкой глядя в глаза каким-то взрослым парням, сидящим на лавочке, дерзко отвечает им на их насмешки по поводу того, что мы с ней вдвоём катаемся на одной тесной качели. Сколько подобных мелких воспоминаний уже тогда мог нанизать я на тонкую, но прочную нить своего напряженного сознания! Она уже стала к тому времени стройной, бледной, строгой какой-то. Она научилась себя вести, проучивать невниманием, осчастливливать взглядом. И конечно же, она понимала тогда, что это, по меньшей мере, неприлично – молчать на протяжении пятнадцати минут, находясь рядом с хорошо знакомым человеком. А я всё ещё думал, что это оригинально...

Да, так значит, когда кто-то из родственников вернулся, помахивая этим самым бидоном («Мой литературный порок – многословие, – сказал как-то Достоевский»), я, как завороженный, забросив все на свете игры в песке, смотрел на то, как наливают из крана, приделанного сзади кузова молоковоза, молоко. Вот это пена! Вот это белизна! Жалкое подобие этого можно было позже увидеть в рекламе молочного шоколада «МИЛКИ-ВЭЙ» (я, помню, однажды им отравился, и меня целую ночь рвало зеленоватой горькой пеной). С тех пор я много раз просыпался рано утром специально для того, чтобы пораньше выйти из дому и наблюдать за разливом молока. Шипя, наливалось оно в бидоны слегка закрученной в спираль от неровности внутренней поверхности крана струёй и вот показывалось из-за краёв шапкой белой, крупнопузырчатой, мутноватой пены. Процедура эта вызывала во мне неподдельное и неослабевающее восхищение, но время шло, разливное молоко из грузовиков исчезло, и лишь жалкой компенсацией выступала мелкая, хотя и очень самоуверенная пена убегавшего, невзначай оставленного на плите, закипающего молока.

Всё ниже и ниже солнце, вот-вот его почти не станет видно из-за стен высотного нашего дома, лишь самые верхние листики на тополях ещё сохранили трепет вечернего света, а в остальном всё уже погасло, *отсерело*, померкло, став голубовато-синим, тревожно-вечерним... Я всё-таки поцеловал её. Осознанно, сдержанно, целенаправленно. Она руководила процессом, я боролся с обмороком, и память моя была чистым листом. Нам обоим было в первую очередь любопытно и волнительно, – даже я не думал о какой бы то ни было любви. Она, вернее взрослый её аналог, пришла позже, с сознанием того, что я целовал вот эту вот девушку, вот именно эту, понимаете, девушку, со всеми её чертами, особенностями и свойствами, которые все отмечают и истолковывают, девушку общепризнанно красивую, почти отличницу (ох, уж эта алгебра! Но она же всё-

таки девочка, может, не так уж и важно) и так далее – целая тысяча всяких характеристик. Тот май был, вероятно, апогеем этого дворового спектакля, за которым поистине весь двор и наблюдал, чего я не замечал, а если и замечал иногда, то не придавал особенного значения. Видимо зря. Потому что мать её приняла меры по отвлечению Кати от моего общества, ориентируясь именно на дворовые разговоры (нашла, бедная, ориентир; она сама теперь первый участник подобных разговоров, наверняка бы часами толклась возле машины с разливным молоком, продавай это молоко сейчас, чтобы переговорить обо всём со всей очередью). Что именно неладное? Я не знаю, честно. Вероятно что-то в высшей степени светское, как там Лев Николаевич писал, комильфотное. Ну, негоже ведь, чтобы её дочка гуляла с мальчиком, о котором весь двор судачит как о воре и хулигане, будь он хоть трижды тихим, вечно скучающим и причесанным. Была во времена оные такая забава, изредка перераставшая в мелкий бизнес, – снимать с иностранных автомобилей значки. Красивые иномарки тогда только стали появляться на бескрайних просторах нашей родины, и это увлечение многих подростков я бы связывал не с хулиганством и не с желанием нажиться хоть как-то на обладателях этого чуда, а с тягой к новому, блестящему и недоступному. Один из моих тогдашних приятелей – большой был профессионал в этом опасном деле – просто коллекционировал эти самые значки, как многие коллекционировали, скажем, баночки из-под пива и лимонада – кому бы сейчас пришла в голову такая забава! Коллекция пополнялась довольно регулярно – приятель этот шатался целыми днями по округе с отвёрткой в кармане и только и занят был тем, что высматривал иномарку посимпатичнее. Причём высшим счастьем было снять значки с переднего капота, багажника и, если таковые были, то ещё и с дисков колёс. Одним из самых ценных экземпляров коллекции стал однажды значок от дивной и редкой по меркам тех лет машины «Бьюик», серебристо-бежевой, необычайно длинной и приятно закруглённой спереди. Завидев это чудо (кто-то из первых богачей заехал по какому-то делу в наш двор), мой товарищ решительно направился к автомобилю и, убедившись на ходу в отсутствии водителя, быстро достал свою отвертку. Не раздумывая ни секунды, он поддел со сладостным хрустом хрупко закреплённый хромовый значок, отковырнул его и спрятал в карман. Спустя несколько дней, дивный автомобиль вновь появился в нашем дворе, плавно развернулся и остановился прямехонько возле скамейки, на которой я и Катя, склонившись и соприкасаясь головами, пытались выжигать что-то с помощью лупы и главной звезды нашей солнечной системы. Дружба наша в те дни до сих пор удивляет меня своей естественностью и отсутствием каких-то подлёдных течений, обогащённых подтекстом фраз и прочих надстроек на простеньком, но симпатичном здании. Она просила меня выжечь слово Апач (имя её пса, развесёлого черного спаниеля), а я собирался выжечь её имя, но никак не мог овладеть методом – не хватало терпения. Синхронно повернув голову к машине (наклонившиеся вперёд и соприкасавшиеся опущенными головами, мы, должно быть, представляли собой что-то в виде карточного сердца), мы увидели приятного вида очкарика, который очень вежливо спросил, не находили ли мы в этом дворе значка от его автомобиля, который, видимо, потерялся, и что если находили, то он охотно выкупит его у нас, заехав через два дня к полудню. Убедить заядлого коллекционера было не так-то просто, однако обещанная часть суммы взяла верх, и в условленный час я передал значок в руки его законного обладателя, который честно вложил в мою руку, протянутую внутрь машины, мятую и влажную купюру. На том бы всё и закончилось, но напоследок мужчина решил прочитать мне небольшую мораль, подозревая, вероятно, что значок потерялся и нашелся не случайно. Тем временем несколько соседских старушек, привлечённых моей беседой с неизвестным на шикарной машине, решили, видимо, спасти меня от богатого извращенца и подошли к нам. Водитель, не растерявшись, распространил свою речь и на них, объяснив им истинную причину нашего общения. В результате я принуждён был вернуть ему деньги (до сих пор жаль мне обманутого коллекционера) и извиниться, родители мои были подвергнуты многократному прослушиванию различных вариантов этой истории с самыми вольными вариациями на её тему, а сам мужчина был отпущен, хотя и объявлен в нашем дворе персоной нон грата. И если маму мне удалось убедить в своей полной невиновности и глупости, то никакие объяснения не могли искоренить из голов наших многочисленных соседок-присяжных мысль о

возможности мотивированных и целенаправленных действий по продаже украденного значка с моей стороны. На Катю, впрочем, эта история, не произвела никакого впечатления, и я до сих пор ещё сомневаюсь, что именно этим инцидентом были вызваны решительные действия со стороны её матери. Ведь вполне может оказаться (прошу вас, посмотрим внимательно повтор), что существовала масса других причин для того, чтобы познакомить Катю с новыми людьми, причём одной из этих причин вполне может оказаться случайность. Но, так или иначе, а было лето, море, пляж, новые друзья, старшие мальчики, солёные камушки, моя рассыпавшаяся во время уборки коллекция ручек, огромный паук, неизвестно как заползший к нам в туалет, отравление арбузом и снова море, но уже моё, а она в это время во дворе с кем-то из новых знакомых, приглашенных в гости. Какая-то некрасивая, бледно-серая пена была в тот год на каждой волне, совсем непохожая на ту радужную бурлящую пену, которая так нравилась мне в море раньше.

Взрослею, взрослею, взрослею неудержимо, безостановочно. И вот новая пена шапкой поднимается из-за краёв толстой, в квадратах мутного стекла, кружки. Узнаёте? Конечно, пиво. Пена у этого напитка не очень белая, скорее рыжеватая, но зато очень стойкая и плотная. Она, возможно, осталась бы мной незамеченной, если бы не ощущение счастья, лёгкого, преходящего счастья от бытия своего, от оставляемого мной незначительного шороха на этой планете, которое дарит это дивный бродящий (двусмысленность слова впечатляет: бродит органика мира, бродит по вечерним дорогам душа) настой. Сколько радости, бывало, посещало меня в студенчестве, когда я, оставив скучные пары, выбегал ранней, холодной ещё весной на улицу и в ближайшем киоске получал упругую кружку с белесоватой шапкой набекрень. Тогда отходишь в сторонку, становишься на краю едва зеленеющей клумбы и, медленно погружая губы в шипящую парную пену, пьёшь, пьёшь, и радость, и счастье мгновенной своей натурой мелькает где-то в разноцветных разводах пивной пены.

И бывает ещё нечто подобное зимой, когда в недорогом кафе с запотевшими окнами получаешь за гривну пятьдесят маленькую чашечку кофе с коричневатой тоненькой пенкой. Но до чего же дорога именно эта пенка, до чего же хочется её лизать, вдыхать, впиваться в неё губами. Всё это – отголоски *той* мыльной пены, все эти *пенные* вещи взаимосвязаны между собой тонкими, в мелких пузырьках, нитями.

(Анекдот: два уролога пьют после работы пиво:

– Какое *пенистое* пиво, – говорит один.

– Коллега, вы даже вечером не можете обойтись без терминов! – восклицает другой.)

Взаимосвязаны, мне многие не дадут соврать. Мы все из детства, но если бы хоть немного больше могли мы замечать в реалиях взрослых, хоть немного, то до чего богатые миры открывались бы нам. Вот в троллейбусе молодой человек с крашеными волосами открывает залихватским движением ключа пивную бутылку, и пиво почти фонтаном пены выплескивается наружу, а он, растерявшись, хватает бутылку губами и впитывает, всасывает пену, искрящуюся всеми цветами радуги в падающем из мчащегося за окошком города свете. А вот малыш, ковыляя в шерстяных колготах, выпрашивает у меховой, в кудрявой шапке, мамы «Кока-колу» в красном стаканчике и прямо на морозе булькает в неё через трубочку, заворожено наблюдая, как поднимается и оседает кофейная пена. А вот...

Я не склонен давиться слезами, вспоминая её чуть прищуренные глаза, смотрящие на меня, её красивый профиль. Мне не кажется, что безысходность и временность всего сущего сквозит из полуоткрытой двери её квартиры, где она в светло-голубом халате сушит феном волосы, готовясь к какой-то прогулке со мной. Я не вижу ни смысла, ни урока в том, что кто-то позволил себе принять участие в моей судьбе, направить её, что-то за меня решить. Высоченный очкарик, явившийся к Кате домой прямо с морских глубин, давно забыт бетонными опорами нашего крыльца – они помнят только мои дурацкие, мелом написанные признания и скучные летние часы, проведённые мной на железных перилах, отделявших пыльные ступеньки от не менее пыльной клумбы. Она давно замужем, она привозит в коляске какое-то маленькое живое существо, к которому, сломя голову, мчится, забросив дворовых котов – новую свою любовь, – её мама. Я здороваюсь с ней,

заговариваю, смеюсь чему-то, и на мгновение словно замирает картинка, где она взлохмаченная вся просвечивается ветреным, ярко-весенним днём.

Совсем уже село солнце. Двор затоплен бледно-синим воздухом, лениво ползёт ветерок. Мёд с окон смывают, и являются бесцветные шторы, набухающие в порыве ветра во двор. Кого-то зовут домой. Кто-то просит ещё пять минут, а я уже иду навстречу ежевечерней тоске и безысходности завтрашнего утра, но ждёт меня радужная... мыльная...

И если есть для меня абсолютное счастье на этой планете, так это, сидя за кружечкой пенного пива, смотреть из кружевной лиственной тени раннего утра, предвещающего жаркий летний день, как разливают искрящейся, залихватской струёй молоко. И если и стремлюсь я хоть к чему-нибудь в этой жизни, так это к способности замечать всё, видеть, осязать каждое мгновение во всей его неповторимости, во всей его искрящейся и пенной правде.

Такая вот она, пена, дисперсная система бытия, в каждом пузырьке которой отражается почти тёмный с серебрящимися лужами двор (был вчера дождь), куда давно не заезжают молоковозы.

Рассказ цвета сепии

I.

Деда своего не знал я совершенно. Так уж вышло: стоило мне появиться на этом свете, как дед стал собираться дальше, и собрался-таки довольно быстро – во всяком случае, воспоминания мои начинаются значительно позже. Мать не раз рассказывала мне полусмешные, полустрашные истории о том, как он наклонялся, бывало, над моей маленькой кроваткой и, усмехаясь в желтоватую возле рта и прозрачно-седую по краям бороду, щедро посыпая меня перхотью и табачным пеплом, пытался взять на руки. Это ему так, кажется, и не удалось, поскольку всё время настигал его встревоженный крик моей мамы и бабушки; настигал, ибо не знали они, что вот уже через месяц не на кого будет кричать. Однако, невзирая на свои неудачи, был он чрезвычайно счастлив и рад просто сидеть возле моей детской клетки из светлого дерева реек, предупреждавших вероятное выпадение обитателя, рассматривать мои неуклюжие движения и слюнявые забавы; а однажды-таки ухватил меня и побежал по коридору, играя мною в самолёт, который, впрочем, пробыл в полёте крайне недолго, и захваченный в заложники пилот вынужден был вернуть меня на аэродром под вопли возмущённых и перепуганных женщин. Такая вот обыкновеннейшая история из жизни каждой семьи (если, конечно, позволительна сравнительная степень по отношению к прилагательному «обыкновенный»), но я почему-то думаю, что она менее других обречена раствориться в переполненной прозрачной колбе моего дальнейшего опыта. И виной тому не столько моя привычка грустить и даже не смутная и зачастую тягостная тяга к писательству (никак дедовская жажда к завершенности воспоминаний подспудно тревожит меня), сколько попытка устоять на ногах в явно опережающем меня времени, попытка доказать ему, что даже то, чего я не помню достоверно – всё равно моё, подобно тому, как случилось мне однажды прыгнуть в бурлящую реку и потом хвататься там за обреченные водоросли в отчаянном желании поймать улетевшую кепку одной своей знакомой.

Дед мой был представителем той профессии, которая позволяет с известной долей пьянящей грусти видеть на старости лет лица людей, прошедших прозрачным холодом сквозь жизнь, изучать в деталях обстановку почти забытых комнат, рассматривать листья давно спиленных деревьев; служил, одним словом, Мнемозине и Радегасту одновременно. Выражаясь иначе, он всю жизнь фиксировал и оформлял мгновения, грабя, таким образом, время и сопротивляясь близоруким обобщениям человеческой памяти. И возможно именно потому, что он всю жизнь помогал другим запоминать, ему самому так и не удалось задержаться в моих наиболее ранних воспоминаниях, хотя монтажеры допустили всё-таки наложение последних кадров его плёнки на первые кадры моей. Или скорее наоборот: моей на его, ведь он-то меня наверняка запомнил и перенёс с собой за пределы земного бытия, так что образ мой появился там даже раньше, чем во

мне самом. А вот я его не запомнил абсолютно. В моём представлении дед стоит в одном ряду с героями сказок и известных книг, которых представляешь себе внутренним зрением по каким-то приблизительным описаниям, но которых никогда не видел. И это вся контрастность, позволенная временем человеку, который всю жизнь управлял этой характеристикой в нуждах других. Своего рода утонченная месть судьбы – всю жизнь изготовлять воспоминания, а самому наблюдать невозможность пробиться сквозь тонкую, почти что осязаемую плёнку сознания маленького ребёнка, сквозь которую я теперь стараюсь прорваться в обратном направлении.

Итак, он был фотографом, светописцем – вдохновением светохимической реакции окисления. Брал свет и бережно консервировал его алхимическими методами, сжимая пространство до размеров тоненькой бумажки, а время материализовал, переводя его в слой тонкого глянца. Существует и сейчас на углу двух пропыленных летом и неприветливо блестящих грязным льдом зимой улиц, одна из которых именно в этом месте, сойдя будто с ума, начинает бешено карабкаться на гору, неуклюжий такой домик довоенного образца со стенами светло-коричневого цвета. Тут на первом этаже расположен всеми забытый магазин фирменной одежды из Германии, а раньше жила большая семья порядочных советских служащих. Моя бабушка через каких-то тридесятых знакомых знала эту семью и как-то даже встретилась с ними за одним столом в гостях, правда очень уже давно. Куда-то они потом уехали, а в квартире, которую они занимали, устроили сначала ателье по пошиву и ремонту одежды (которое, видимо, и переросло, много лет спустя, в магазин этой самой одежды из Германии), а впоследствии недолго просуществовавший магазин мебели. Между этими двумя учреждениями ходил по комнатам мой дед. Это сейчас стоит смениться назначению дома, как в нём тут же делают ремонт, а тогда обклеенные домашними обоями стены и деревянный пол опомниться не успели, как стали полом и стенами общественного помещения. Эдакая реинкарнация наоборот: не душа переселяется из одного тела в другое, а тело принимает всё новые и новые души, отчаянно и безысходно их переживая. И вот в квартире, где бывало пил чай из фарфоровой чашки отец большого семейства, профессор университета, а жена его принимала старую подругу, а старшая их дочь в ситцевом платье собиралась на танцы, укоряя в чём-то своего младшего брата, дед мой устроил, по сути, первое своё фотоателье, которое называлось «Вираж» и поэтому у многих ассоциировалось с чем-то по-диссидентски авиационным. Тут была у него приёмная, собственно студия, даже две – большая и маленькая для фото на документы, лаборатория и кухня, про которую знал только он. После деда, а говорят, что на деньги, вырученные от продажи его аппаратуры, наша семья пережила не одни переходные времена, настала в квартире и очередь кухни: организовывалось небольшое кафе, да спальня (так словно в отсутствие хозяев все комнаты перессорились, и каждая из них по очереди подчиняла себе всю квартиру) со своим мебельным магазином взяла верх. А ведь есть, вероятно, ещё где-то люди, способные припомнить эти брошенные на произвол судьбы комнаты в том виде, которому они и должны были служить: с коврами, домашними обоями, книгами в глубоких тёмных полках. И вид из этих окон кто-то помнит ещё уютным и домашним, а не второстепенным видом из витрины скучного магазина... Хотя возможна и ошибка с моей стороны, ведь память человеческая любит сводить всё к общим чертам, обобщая что-то не увиденное и пользуясь при этом ограниченным набором выточенных по стандарту деталей. Бытовое фото спешит к ней на помощь, набор деталей расширяя, но в целом всё остаётся шаблонным – тяжело сфотографировать чувство.

Однако дед мой умудрялся, видимо, покручивая линзы своего субъектива, добиваться того, чтобы само чувство поляризовало каким-то образом свет. Я впервые убедился в этом лет в восемь, когда толком не представлял себе даже род занятий деда. Со скуки летних каникул, жарким и высушенным днём я залез в кладовую и начал перебирать там всякий хлам, которым были напичканы старые сумки и мешки. Эти вещи располагаются у нас в четыре этажа, и вот на втором нашлось целых три чемодана – черный кожаный гигант, похожий на кашалота, и два коричневых подростка, сыновья его вероятно от первого брака с белой сумкой с четвертого этажа. Все они были набиты фотографиями. Там сохранялось бесчисленное множество чьих-то перепутанных воспоминаний и давно ни кем не припоминаемых мгновений. Некоторые были разложены по

пакетам из-под фотобумаги с небрежными и неразборчивыми карандашными надписями, другие же были просто набросаны сверху и безнадежно запутаны. Были там мужчины выбритые с официально наклоненными головами паспортного формата, были мужчины с усами, были и бородатые и такие, что смотрели на зрителя, куда бы он не отводил изображение, и такие, которые даже не замечали рассматривающего их. Мужчины с женщинами, одни женщины, наконец, с удивленными лицами, глазами в полный рост, с размытым или же наоборот четким вторым планом, где угадывались новые и новые слои реального мира. Все они вызывали во мне сложно воспроизводимое чувство – смесь тревоги с протяжным запустением в животе и какого-то отстранения, отчуждения. Я заглядывал за края фотобумаги, словно смотрел в окно, и стеклом, не позволявшим за угол заглянуть, служил блестящий глянец, и там, за ним, на миг останавливалась на мне взглядом незнакомая женщина, или оглядывался вполоборота удивлённый мужчина, словно я окликнул его. И ещё дальше виднелись иногда автомобили и деревья, и дома, и порой даже мне известные памятники. А иногда этого всего не было, и человек словно проступал из серого фона, но даже тогда он не выглядел вневременным, а был очевидно и безвозвратно связан с одним единственным мгновением, которое сам уже давно забыл (пасмурный весенний день, необходимость сфотографироваться на удостоверение, не обменянное с самого Нового года, и вот – перепрыгнув серый, пропитанный водой снег у входа, сидит, чуть запыхавшись, возле серенькой шторки, и в лицо бьёт мощный софит).

После того случая я довольно часто навещал кладовую, где целенаправленно рассматривал старые фотографии, на радость бабушке и родителям. Наибольшего развития моё непонятное волнение достигало тогда, когда попадались мне такие особые фотографии, на которых всё было окрашено в какой-то коричневатый цвет, словно тонкий налёт ржавчины лежал на людях и целом мире. Значительно позже я узнал, что дедово фотоателье называлось по названию приёма для придания фотографии какого-либо оттенка, а сам этот дивный оттенок зовётся сепия в честь особенного рода морских каракатиц, из чернильного мешка которых краску именно такого цвета добывали ещё в восемнадцатом веке, когда фотографии не было. Но тогда я убеждён был, что это и вправду бывает такой цвет у вещей в определённые, пронзительно грустные минуты, и что дед мой именно таким всё и видел. И даже знание того, что на современных фотокамерах простым нажатием кнопки или выбором соответствующей закладки в меню можно вызвать у любого изображенного предмета внезапное изменение настроения и цвета кожи, не разубедило меня. Так что ничего, наверное, нет удивительного в том, что с тех пор я начал учиться сквозь все краски видеть этот еле уловимый, но всегда присутствующий оттенок угрюмого смирения, и совсем уж ничего удивительного в том, что именно такой я впервые увидел Ольгу.

Была это неприметная, маленькая девушка, щупленькая, как говорят, с запущенной мальчишеской прической и резкими движениями, немного как бы нервная. И говорить с ней было невообразимо тяжело, ибо я, во-первых, не успевал за её мыслями, а во-вторых, она оказалась средневековой колдуньей, что заставляло её всё время говорить непонятные и мне совершенно неизвестные вещи. Я жил тогда странно: поздно просыпался, ленился умываться и чистить одежду, упразднил институт бритья, несмотря на обилие юношеских волос, ничего не имевших общего с бородой и усами, и, истощая и изводя себя плаксивыми истериками Вакарчука, только и знал, что шлялся в рамках прогуливания института и небольшой, отцом мне устроенной подработки между Подолом и Оболонью. Было мне физически скучно тогда, и противно подташнивало и знобило во мне дух, и даже хитроумно придуманный мною маршрут от одного пивного завода к другому, лежащий через минимум три гастронома, объединённых тем свойством, что в них разливали в пластиковые мелко граненные поперёк, словно в издёвку над их стеклянными предшественниками, стаканы самую что ни на есть дешевую и отвратительную водку, не избавлял меня от этого беспричинного и мучительного состояния. Борьба с ним, а вернее трусливое и заранее обречённое на безуспешность бегство от него (так старается догнать уже закрывающий двери автобус пенсионер с палочкой в дрожащей руке, просто по привычке зная, что отъезжающие автобусы надлежит догонять), заводила меня в разнообразные места к разнообразным, но

всегда пьяным людям, и от общения с ними оставался у меня неприятный привкус и раздражение. Спутанный бред их житейских неудач, которым они охотно меня потчевали, был мне слишком неинтересен, и само то, что вот у них есть причина для подобного состояния, а у меня её нет и близко, пугало, но в тоже время немного возвышало меня. В подобном состоянии рассказ про особенности жизни средневековой ведьмочки лишь немного меня позабавил, но, тем не менее, с Ольгой общаясь, я чувствовал какой-то тревожный и дико беспомощный трепет высохшей травинки, торчащей из мокрого сугроба на темнеющем ветре – и что-либо сделать уже невозможно, и так не скоро весна.

Из того, что мне удалось выяснить в первую нашу встречу, – а было это на кухне у неизвестных мне товарищей одного моего знакомого, где, собственно, происходило празднование дня рождения его сестры и куда я попал практически случайно, – я запомнил только то, что у неё есть кинжал и специальная одежда из сукна шестнадцатого века с поясами и собственноручной вышивкой, и что родной язык (какой страны я так и не смог произнести) она забыла, но учит заново. Не придав всему этому никакого значения, я про неё честно забыл и не вспоминал до тех пор, когда ранней весной, хлюпая по скользкой грязи в какую-то слякоть, я не встретил другого своего знакомого. Тот предложил мне сходить посмотреть на встречу толкиенистов или, как он выразился, толкиенутых, намекая на не совсем, по его мнению, нормальный склад их ума. Пришли мы с ним на небольшую полянку, где прошлогодняя трава вместе с грязью теперешней весны создавали точно такой сепийный фон, как на фотографиях моего деда. В нём возилась кучка весёлых энтузиастов, одетых по образцу средневековых крестьян. Полянка располагалась у подножия небольшого холма, с которого семенил камнями вымощенный спуск. Ближе к поляне он начинал позволять себе вольности и являлся на полянку в виде двух-трёхметрового обрывчика, подпертого бетонной стеной, на которой, собственно, мы с товарищем и уселись. Только увидев это место, я буквально вздрогнул от какой-то странной ассоциации с той самой травинкой и заснеженным полем – своего рода ощущение уже виденного, сморщивающееся и дающее тонкие складки, как переводная картинка, вынутая из тарелки с горячей водой и расправляемая на стене неумелыми детскими пальцами. Впечатление было такое, будто переводят на стену необычайно большую дедову фотографию с темным задним планом и рамкой, выполненной в виде серой бетонной стены. И вся эта дрожь, отрешение, чувство какого-то смещения мира под пальцами – всё, что я испытывал в последние месяцы, – сложилось, как только я узнал её среди участников представления, в какой-то один довольно маленький и горячий узелок в области, которую врачи иногда называют «под ложечкой». Я обошел их импровизированное поле битвы по спуску и с другой стороны углубился в дедову фотографию. Ольга обрадовалась необычайно, поскольку людей всё равно собралось мало, запрыгала передо мной, красуясь в своём платье с поясом и небольшим инкрустированным ножом только из тех времён, когда не научились ещё добывать мой любимый цвет из ужасных каракатиц (вот подходящее занятие для колдуньи), и говорила в сто раз быстрее, чем в прошлый раз, и уже скоро мы пошли, покинув моего приятеля, сначала в одну кофейню, потом в другую, и она не хотела переодеваться и так и ходила в какой-то мешковине черно-коричневого цвета; учила меня выговаривать название её исторической родины... Я проводил её домой, а был он где-то очень глубоко во дворах и рядом с номером носил букву чуть ли не из конца алфавита, и мы всё шли по редчайших размеров лужам через туннели арок, которые раскрывались одна за другой, словно в компьютерной игре, и так как фонарей не было, то сходство со средневековьем было полное.

И любовь с ней каждый раз выходила какая-то средневековая: утомлённый хозяин допивает из огромной кружки мутную брагу, отирается рукавом тканой сорочки и поспешно переходит к делу следующему, прямо возле грубого деревянного стола резкими движениями ловя в грязном балахоне жену. Всё точно так, только хозяином оказывалась она, а я всё время рассеянно смотрел в окно или на лампадку в углу, или на корзину с мясом в сенях за массивными и почему-то не закрытыми дверями.

2.

На самом дне чемодана с фотографиями был большой, укрывавший почти всё чемоданное дно, обитое красным шелком, пакет со снимками соответствующего размера. На них изображено было одно и то же женское лицо – остроносое, с проворными вороньими глазами, тонкими бровями и в обрамлении черных распущенных длинных волос. Дед сумел сделать эти снимки так, что, не смотря на напряженность, свойственную редко фотографирующимся людям, видна была эмоциональность и непоседливость этой женщины, её способность легко увлекаться всем подряд и так же легко увлечения забрасывать. Был у неё высокий, трапециевидный лоб и похожий на него, только меньший подбородок, к которому длинными линиями сходились от острых скул худые щеки – очертания этого, довольно, впрочем, симпатичного, лица напоминали шестиугольную химическую формулу циклогексана или бензола с кружочком тонко очерченного рта, по неряшливости вписанного ниже, чем надо. Впервые докопавшись до них, я был удивлён лишь их размером, но, спросив однажды бабушку, почему эти фотографии дед сделал такими большими, получил удивительный ответ. Получил не сразу – помню, что с самого детства пытался добиться разъяснений по этому поводу, но какая-то (сейчас я уверен, что чувствовал это и раньше) моралистического свойства стеснительность, что ли, заставляла мою бабушку до недавнего времени отвечать мне, что просто так, мол, такие потребовались. И лишь недавно удалось мне узнать, что женщина эта ни много, ни мало чуть не разрушила бабушкину с дедушкой семью – слова «любовница» бабушка старательно избегала, но всячески подразумевала его, так что оно маячило с разных сторон её короткого и сбивчивого рассказа, как флаги на праздничном бульваре. Во всей истории меня больше всего поражало то, что она совершенно на эту худую подвижную женщину не сердилась. Могу применить здесь только такое немного детское выражение потому, что более серьёзные штампы вроде «не таила зла» или «поражала отсутствием ненависти» кажутся мне совершенно не уместными при попытке передать бабушкины интонации и выражения правдиво. К Ирине Арсеньевне она относилась с легкой долей иронии, с печальноватой (причём печаль, вполне возможно, вызвана была просто процессом воспоминания) улыбкой, но не более того. Оказалось, что после войны (сколь, казалось бы, размыта эта датировка, но как в тоже время точна и прочно закреплена она в нашей литературе) дед – вернувшийся с передовой молодой корреспондент фронтовой газеты с трофейной «Лейкой» наперевес – жил вместе с бабушкой в небольшом общежитии на окраине города, где по соседству обитала эта самая Ирина Арсеньевна. Бабушка, вспоминая её, говорила, что лучше передать черты её характера, чем переданы они на больших снимках, сделанных дедом значительно позже, в ателье «Вираж», невозможно, и что любые о ней воспоминания неизбежно приводят к этим фотографиям. Воспоминаний накопилось немало, ибо она официально оставалась другом семьи на протяжении многих лет. Коэволюция нашего рода с Ириной Арсеньевной начинается под крик большой стаи ворон, летящей зимовать на городские помойки, снежным вечером, когда моя бабушка выносила мусор на двор общежития и увидела деда, беседующего с сутуловатой, но по-красивому худой женщиной в пуховом платке. Та не отказалась от чая и вскоре без спроса входила в комнату, занимаемую моим дедом с семьей, по тем или иным делам. Она переехала из общежития первой, но, стоило деду получить отдельную квартиру, как Ирина Арсеньевна появилась снова, принеся с собой какие-то немыслимые конфеты и два елочных шарика (дело, понятно, опять происходит зимой), один из которых до сих пор цел и ежегодно вывешивается у нас дома. К весне бабушка часто заставала её у нас дома наедине с дедом, но с появлением ателье «Вираж» эти уединения стали чуть ли не ежедневными. В тоже время Ирина Арсеньевна вышла замуж за железнодорожного инженера, с которым через какое-то время переехала во Львов, где, согласно последним бабушкиным проверкам, и жила до сих пор. Спустя несколько зим, она вместе с мужем приезжала к деду с бабушкой на Новый год (подарки оказались менее долговечны, а может и более съедобны), после чего пропала ровно на три года и явилась вновь с аналогичного возраста сыном – будущим бородачом и геологом. Его моей бабушке довелось встречать всего несколько раз, причем все разы приходились на его детский возраст. А потом он терялся: уезжал на полгода не то в Монголию, не то в Карелию, и диким холодным

ветром веяло от его писем, которые Ирина Арсеньевна получала с пустых полустанков да из наполовину заброшенных деревень и пересказывала нам по телефону и в своих собственных письмах. В периоды, свободные от путешествий, он успел перебраться из Львова в Киев и даже обзавестись своей семьёй, с появлением которой Ирина Арсеньевна вновь стала частым гостем в Киеве, а следовательно и в доме моего деда. Этот период ознаменовался формированием фактически товарищеских отношений между ней и моей бабушкой, и теперь уже дед мог, пожалуй, удивляться тому, что заставал их вместе за веселым обсуждением последних сплетен или за исполнением в четыре руки произведений кулинарного искусства из книги о вкусной и здоровой пище. Молодежь, однако, совершенно между собой не общалась, и мои праздные родители-горожане ровным счетом ничего не знали о семье закаленного геолога, а Ирина Арсеньевна воспринималась исключительно как бабушкина подружка.

Но, тем не менее, сама манера, с которой бабушка рассказывала всё это мне по прошествии целой уймы лет, говорила о том, что этими малозначительными эпизодами история не исчерпывалась. В нуждах своего слаборазвитого писательского инстинкта я настойчиво и методично расспрашивал её о других подробностях, и случалось, неожиданно добивался успеха. Словно из-за поворота улицы на меня налетал внезапно факт того, что сразу же после переезда из общежития в отдельную квартиру дед собирался подавать на развод и переезжать. И что неоднократно он уходил из дома и по целым неделям неизвестно где ночевал, причем причиной этого служили заурядные, бытовые мелочи, вплоть до сбежавшего молока или плохо отстиравшейся рубашки. Тираном, впрочем, я думаю, дед не становился, просто хватался за первый попавшийся повод, чтобы оправдать свой поступок и скрыть его истинную причину. С другой же стороны, стоило деду подолгу жить дома, никуда не сбегая, как, спустя несколько недель, в доме появлялась Ирина Арсеньевна, зашедшая проведать старых приятелей, потому что как раз проходила мимо, или в связи с тем, что ей удалось достать большой отрезок невероятно редкой и прекрасной материи. Словом во многом всё держалось лишь на спокойствии и терпении моей бабушки. Её чувства я с большим трудом пытаюсь вообразить себе, думая про эпизоды, когда она, вернувшись с работы, заставала деда с Ириной Арсеньевной за чаем, а то и выходящими из спальни, где, впрочем, хранилась дедова коллекция старых фотографий дореволюционного Киева, которая и служила оправданием (продана нами в 1991 году старому еврею-фотографу, приятелю и коллеге деда, сразу после этого уехавшему в Израиль). А были ещё частые поездки на дачу к какому-то Бореку, знакомому Ирины Арсеньевны, куда бабушка приглашена была один-единственный раз (запомнились ей старые фруктовые деревья и сосед с казацкими усами в кресле-качалке на веранде, утверждавший через декоративный забор между участками, будто Сталин был инопланетянином). Были походы за какими-то грибами в пригородный лесок, выезды в другие города за новыми фотографиями, куда дед часто брал с собой Ирину Арсеньевну, бабушкины отъезды по тем или иным делам, после которых в шкафу обнаруживалась ранее не существовавшая в природе шаль и, вероятно, еще целое море невосстановимых мелочей. И кажется мне, глядя сквозь цвéта днепровской воды бабушкин рассказ, что, на все эти факты не смотря, она так ни разу и не поверила до конца в возможность отношений между ставшей какой-то привычной Ириной Арсеньевной и столь давно любимым дедом. И благодаря этой неуверенности смогла выждать необходимый срок. Срок истек опять же зимой, когда сначала моё рождение и дедова смерть положили конец дружеским отношениям между ней и моей бабушкой, а потом и прекращение всевозможных геологических экспедиций в далекие просторы необъятной родины освободило Ирину Арсеньевну от необходимости находиться в Киеве. Были ещё осциллирующие письма и редкие звонки, но и они затухали с всё удлиняющимися паузами, подобно зарницам удаляющейся грозы, той, что мы с Ольгой наблюдали с днепровской смотровой площадки, спустя несколько дней после второй нашей встречи.

Я позвал её побродить по городу. Дело было весной – голубели остатки льда, с крыш лились ослепительные ручьи. И даже в голову мне тогда не приходило, что наша весенняя встреча – это своего рода новый виток дедовой зимней спирали. Ольгино средневековье вернуло меня в реальность. Наши утра начинались трелями мобильных телефонов. Я вдруг открыл в себе способность

рано просыпаться. Не вставая из постели, я писал пару-тройку СМС о погоде и предполагаемых планах на день. Она предпочитала целенаправленные прогулки: посещения пустынных музеев, всяких несуразных выставок постмодернистского искусства, поэтических сборищ, концертов. Я же уговаривал её на бесцельное шатание по городу, праздные прогулки малоизвестными улицами малоизвестных районов с непременным захождением в попутные кафе. В итоге договаривались встретиться где-то на нейтральной территории и обсудить дальнейшие планы на месте. Случалось, что сутра я ехал к ней, чтобы воспользоваться отсутствием её родителей (забавно, что за всё время наших встреч я так ни разу этих родителей и не видел, и она ни разу не встретилась с кем-то из моей родни). Ответные визиты были исключены из-за многочисленности населявших мой дом родственников и их знакомых. Но даже в таком случае рано или поздно мы выбирались из дома, чтобы куда-нибудь сходить. Большая часть наших отношений мне представляется сейчас в виде постоянных брожений по городу, причем далеко не всегда это наматывание километров происходило в центре или в музейных залах. Часто нас заносило в даже мне не известные промышленные кварталы, где тянулись бесконечные бетонные заборы и злые собаки лаяли на нас из-под закрытых, исписанных непонятными аббревиатурами ворот. Мне, впрочем, было совершенно всё равно, где ходить, и своеобразное удовольствие доставляло мне Ольгино раздражение, вызванное длительным пребыванием в незнакомых и безлюдных местах. Но, несмотря на эти мелкие разногласия, утра наших отношений, вне зависимости от того, где они проходили, – среди пустынных разъездов и ржавых рельс с лопухами, росшими между шпал, или же в ее небольшой комнате, – были миролюбивыми и радостно-спокойными. Ближе к обеду это состояние как-то терялось, она делалась всё более раздражительной, я всё более замкнутым, и не раз именно в это время суток, между 14-ю и 16-ю часами, мне доводилось узнавать, что ей, оказывается, совсем не весело со мной и не приятно бессмысленно наматывать ежедневно километры по городу. Наконец, к вечеру она созревала для серьезных разговоров, происходящих, как правило, где-то в людных кафе. В один из таких вечерних разговоров она сообщила мне, что не знает, как быть со мной в дальнейшем, что ей со мной тяжело, и она предлагает нечто вроде карантина – мы с ней расстаемся сроком на пару месяцев в тестовом режиме, и если что – потом опять живем как раньше. Я сделал вид, что сильно обиделся. В тот момент, когда я уходил из кафе, оставив нетронутую порцию мороженого, я и действительно чувствовал себя обиженным и возмущенным до предела. Вдогонку я получил смс, в котором она сообщала, что мой уход был принят как согласие. Я чуть было не разбил телефон о мокрый асфальт с прилипшими грязными каштановыми листьями. Но уже тем же вечером дома я вдруг поймал себя на обыкновенном спокойствии с известной долей грусти, всегда мне свойственном. И в течение всего ее двухмесячного молчания я хоть и думал о ней постоянно и часто выходил из себя от самых обычных вопросов своих родителей о ней, ни разу ей не писал и не звонил, не столько потому, что не хотел все выяснить, сколько потому, что не хотел развеивать эту бездейственную унылость, ставшую с тех пор выраженной чертой моего характера и склада жизни.

3.

В итоге без семи месяцев два года наших отношений представляются мне как один большой день, слегка пасмурный, ветреный, с белым небом и изредка проглядывающей голубизной; осадков нет, голые почти черные деревья торчат из пестро-коричневой сухой травы. Прожив этот день, я оказался оглушенным и ошарашенным посреди мира, который не вызывал у меня ленивой паники, как раньше, но был мне совершенно не интересным. И это моё равнодушие к настоящему, с которым теперь я собирался жить, вновь привело меня к прошлому, а вместе с ним и к дедовым фотографиям. Я ужесточил расспросы бабушки. Как раз в это время небольшая компания моих знакомых собиралась отметить окончание университета поездкой во Львов. Узнав об этом, я решил примкнуть к ним и осуществить небольшой эксперимент. Глухо ощущаемая мною тяга побывать у Ирины Арсеньевны или хотя бы просто повидать ее была у меня давно. Меня очень слабо сносило в сторону этой мысли, но течение было слишком медленным. Теперь шлюзы были

открыты, и осознание этой тяги пришло ко мне во всей полноте, поэтому упускать такой случай я не хотел. В старой записной книжке, с трудом найденной бабушкой, обнаружился львовский адрес и телефон Ирины Арсеньевны, но на мой звонок вначале долго не брали трубку, а вечером, придя с работы, видимо, объяснили, наконец, что номера поменялись давно и на какие – неизвестно. Тут же в этой книжке был киевский телефон, по которому теперь должна была жить семья её сына. Однако там мне сказали, что хозяева переехали куда-то несколько лет назад, и что эти новые хозяева со старыми связи не поддерживают и координат их не знают. Удивленная такими переменами бабушка, до этого отговаривавшая меня от визита к Ирине Арсеньевне, теперь даже сама стала на нем настаивать, так что, оказавшись очень теплым, почти уже жарким весенним вечером в зеленом вагоне львовского поезда, я, несмотря на веселый разговор с сокурсниками и другими попутчиками, ощущал волнение перед встречей с этим необъяснимым образом волновавшим меня человеком. Мне казалось, будто фотографии, которые я столько разглядывал и часть которых вез теперь их обладательнице, могут ожить. Нечто подобное, наверное, испытывают поклонники известных артистов перед реальной встречей со своими кумирами.

Во Львове было прохладно и пасмурно. Город похож был почему-то на маленький прибрежный курортный городок, когда сезон купаний еще закрыт, и мне всё казалось, что вот-вот за поворотом улицы я увижу большие ленивые волны и затуманенную линию горизонта, но каменные улицы всё уводили меня от моря вдоль темных стен, в которых зияли телескопические арки и мерещились духи древних христиан, скрывавшихся в пещерах. Всё здесь с самого первого шага напоминало мне Ольгу. Вернее, конкретных ассоциаций не было, но возникали те же самые, что и во времена моих с ней встреч чувства, и я даже не сразу понял, что именно их вызывает. Средневековье было здесь какой-то приевшейся нормой. Его прятали в глубокие дворы, где переплетались лестницы с решетчатыми перилами и открытые галереи, в беспорядке нависшие одна над другой, но оно выскакивало в двери подъездов, превращая их в целые замковые ворота. И порой можно было оказаться в таком месте, где, кроме своей собственной одежды, просто невозможно было найти хоть какой-то повод считать, что сейчас двадцать первый век. Я не вспоминал сознательно Ольгу, но всё время чувствовал её связь с этим городом (и местами), всё здесь ассоциировалось у меня с ее самодельным платьем и теми по-средневековому опять же ленивыми чувствами, которые она во мне пробуждала. Было еще ранее утро, но я решил, что это как раз удобное время, чтобы застать старушку дома, к тому же я хотел немного успокоиться перед встречей и побыть некоторое время один. Поэтому я оставил своих товарищей гулять по городу, договорившись встретиться с ними вечером в одном известном кафе, и пошел разыскивать адрес.

Дом мне удалось найти сразу, а вот с поиском квартиры возникли проблемы, потому что в доме оказалось три входа, каждый из которых вел на разные галереи. Справившись с этой задачей, я несколько минут простоял у двери, оббитой деревянными рейками, прежде чем решился позвонить. Возня за дверью дала мне понять, что дома кто-то есть, потом острый лучик белого света, который пробивался из дверного глазка, прервался, словно задвинули заслонку. «Кто это? – глухо спросили из-за двери».

– Я приехал из Киева, – неуверенно ответил я. – Вы, может быть, помните семью (я назвал свою фамилию), я привез вам привет от своей бабушки. Вы же Ирина Арсеньевна?

Пока я объяснялся, свет в глазке мелькнул и снова пропал, и я догадался, что старушка дома не одна.

– Как вы говорите ваша фамилия?

Я повторил. После небольшой паузы стал поворачиваться замок, закрытый на три оборота, и дверь открыли. На меня пахнуло теплом и запахом домашней еды, острой аджики и кота. В дверях стояли две старушки. Одна была худая, низенькая, с длинными, до плеч, седыми волосами. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы узнать ее. Вторая, высокая и полная, носила химией завитую короткую прическу и красилась в какой-то сиреневатый оттенок.

– Вы Ирина Арсеньевна, – с какой-то полуидиотской улыбкой, по моим, во всяком случае, ощущениям, сказал я, кланяясь.

– Да, – тоже улыбнувшись, ответила она. – Так вы из Киева приехали? Я бы вам ни за что не открыла, если бы вот не Елена Ивановна, ну, заходите, не стойте там.

Меня впустили в квартиру. Серые с синими прожилками ковровые дорожки устилали все ее пространство, и только на кухне, куда меня и пригласили, был желто-коричневый линолеум с многочисленными черными пятнами вокруг газовой плиты. Ирина Арсеньевна принялась сбивчиво рассказывать мне истории о временах дружбы с моей бабушкой, а ее подруга тщательно кивала головой и периодически невпопад рассказывала что-то из новейшей истории Львовского драматического театра, в котором, как выяснилось, она служила гримером. Когда я достал свернутые в рулон большие фотографии, сделанные моим дедом, Ирина Арсеньевна разрыдалась, а ее знакомая в ужасе побежала заваривать крепкий чай, утверждая, что ничего лучшего от «слез старости» еще не изобретено. Потом они вместе кормили меня печеньем и поили кофе, и после всего этого принялись расспрашивать меня, чем я занимаюсь и чего хочу. Ирина Арсеньевна достала откуда-то из зеркального серванта пачку фотографий и принялась рассказывать мне о своей внучке, которая живет в Киеве, папа у нее бывший геолог. Она увлекается средневековой историей и даже участвует в каких-то спектаклях, ну не совсем спектаклях, а как-то это по-современному называется. Я дрожал, но не понимал до последнего, пока не увидел фото. Была она хрупкая маленькая брюнеточка. С короткой челкой. С большими внимательными глазами в самодельном платье с вышивкой только что из четырнадцатого века...

Старушки как будто готовились к тому, что я заплачу. Мгновенно принесли мне платок и чай, принялись гладить по спине и искренне недоумевать, что со мной. К их чести надо сказать, что версии о том, что я попросту пьян, не было в их арсенале. Зато были диковинные объяснения, как например проигрыш киевского Динамо в одном из последних матчей.

– Вот, как твоя Ольга понравилась молодому человеку, – с полуулыбкой говорила подруга Ирины Арсеньевны, пока я пробивался обратно через непроницаемый глянец моего сознания и понимал, что думал мой дед, понимал, зачем он делал такими большими снимки этой женщины, понимал, зачем он вообще делал фотографии.

Привыкаю теперь жить мгновеньями. Ощущение такое, как будто вы чихнули, а в этот момент отключили электричество, и стало темно. Но ведь и тут есть оправдание. Ибо нет процесса, но есть состояние, и нет явления, а есть только память о нем.

Илья ВИШНЕВСКИЙ

Катарсис

Рассказ

В середине восьмидесятых, в прекрасное время больших надежд и пустых прилавков, я подрабатывал внештатником в городском экскурсионном бюро.

Работа была прибыльная – один час позора стоил рубль, а поскольку туристов с путевками от профсоюза больше интересовали магазины с винно-водочным ассортиментом, чем памятники архитектуры, они разбредались гораздо раньше положенных трех часов пешеходной экскурсии, и строгий «академический» час усыхал до двадцати минут, а то и меньше. Можно было опять бежать на пристань, к другому теплоходу, и брать еще группу, увеличивая таким способом свой заработок в геометрической прогрессии.

Настоящим виртуозом был один наш коллега – школьный физрук, кудрявый и веселый балагур. Часто мы наблюдали такую сцену: он брал группу, отводил в сторону, с минуту о чем-то рассказывал, улыбаясь и широко разводя руками. После первых же слов у туристов светлели лица, они улыбались в ответ и быстро расходились по сторонам. А находчивый педагог тут же возвращался к организатору за следующими жертвами.

– Ну смотри, Николаша! – выговаривала ему наша боевая командирша Лариса, – до первой жалобы! Если что, вылетишь как пуля!

– Да все нормально, Ларочка,– отвечал он, посмеиваясь, – проблем не будет, ты меня знаешь.

Лариса, конечно, знала – Николаша калымил в бюро уже несколько лет и проблем действительно не возникало. Не знала она, как и все мы, только одного – каким образом он так ловко убалтывал своих клиентов.

На все расспросы Николаша загадочно улыбался и отшучивался, а попытки перенять ценный опыт решительно пресекал.

– Ребята, даже не пытайтесь, это авторская методика,– говорил он ласково, но твердо, и на уговоры не поддавался.

Были, впрочем, и другие примеры для подражания.

***

Алексей Петрович носил звание лучшего внештатника гордо, как правительственный орден, и искренне считал свою деятельность важным государственным делом. Новички обязаны были пройти обучение у этого мастера, и я помню до сих пор те два часа мучений на жаре вместе с жиденькой стайкой таких же несчастных.

Алексей Петрович обладал дикцией и осанкой настоящего актера. Но это было не главное. Главным было безукоризненное идейное содержание его повествования. Важнейшим качеством советского экскурсовода, по его мнению, было умение связать рассказ об архитектурных достопримечательностях с пропагандой решений последнего съезда партии.

Илья Вишневский родился в 1957 году в Казахстане. С 1970 года живет в Ярославле. Закончил исторический факультет Ярославского государственного университета им. Демидова, учился в Нижегородском институте иностранных языков, аспирантуре МГУ. Работал учителем в школе, экскурсоводом, научным сотрудником в музее, преподавателем в институте. С 1990 года по настоящее время – предприниматель. Публиковался в сетевых журналах («Новая литература», «Темы и лица» и др.).

– Как найти связь между рассказом о церкви семнадцатого века и целями пятилетки? – спрашивал он с интонацией Щепкина, исполняющего трагическую роль в Малом театре. – На первый взгляд, связи тут никакой, не так ли?

Выдержав паузу, он пафосно продолжал:

– Дилетантское заблуждение! Связь есть, и прямая! Реставрацию памятников проводить нужно? Кто на это дает деньги? Наша Партия! Кто их зарабатывает? Могучая Советская промышленность! Если бы в нашем городе не было таких заводов, как... (тут следовало длинное перечисление), в каком бы состоянии находились все эти величественные храмы? То-то!!! Ну и, товарищи, об атеистической пропаганде на экскурсии тоже не следует забывать!

Особенно он любил вспоминать об одном случае из своей практики.

– Водил я однажды группу шведов по скверу, где стоит памятник красным бойцам, погибшим при подавлении белогвардейского мятежа в 1918 году. Подвожу их к монументу, рассказываю, переводчик переводит. Вот здесь, говорю, похоронены герои, отдавшие свои жизни за революцию. Слушают с каменными лицами – ну, понятно, туристы из капстраны. Вдруг один руку тянет. Скажите, спрашивает, а где похоронены мятежники? Белогвардейцы, то есть. Сами понимаете, товарищи – вопрос с подтекстом. С подковыркой, так сказать. Но я недолго раздумывал. Спокойно так отвечаю: там же, говорю, где солдаты Наполеона и гитлеровские захватчики. Так-то! Тот иностранец потом рта не раскрывал. Вот таким образом надо отвечать на провокации, товарищи.

Товарищи записывали и вежливо благодарили.

***

В один из жарких июльских дней у пристани оказались сразу несколько теплоходов. Кроме плановых «Федора Шаляпина» и «Клима Ворошилова», прибыли опоздавшие трехпалубный «Александр Суворов» и новенький, сверкающий голубым бассейном на корме «Академик Курчатов».

Лариса спешно мобилизовала все наличные силы.

– Алло, музей! – кричала она в телефонную трубку свирепым тоном сталинского наркома. – К двенадцати тридцати у вас пятнадцать групп, все оплачено, принимайте. Что?! Да хоть уборщиц назначайте! Я же сказала – обязаны обслужить по договору! Ну, меняйте отдел природы на звонницу, собирайте всех сотрудников, сокращайтесь, действуйте!

Музей что-то неуверенно гукал в ответ, пытаясь возражать, но Лариса уже швырнула трубку на рычаг.

– Так, орел! – заметила она меня. – Ты-то мне и нужен!

Я щелкнул каблуками и взял под козырек.

– К пустой голове руку не прикладывай! Как там Толстой писал: краткость – сестра таланта? Ну, или Чехов, какая разница. Хоть Чехов, хоть Тургенев, берешь сразу две группы у Шаляпина.

Я почесал затылок:

– Лариса, да ты что? Там одни москвичи – скандал же будет.

– Какие на фиг москвичи – не с дурой разговариваешь. Сибиряки они, я точно знаю. Объяснишь, что ситуация такая с опоздавшими. Да можешь вообще ничего не говорить, если не спросят, они люди скромные, возбухать не будут. А тебе лишние часы запишем, как полагается.

Я уже повернулся к выходу, но она продолжала:

– И через сорок минут – назад. Еще две группы с «Академика». Бегом успеешь.

И наполеоновским жестом отправила меня в бой.

***

Группа оказалась собранием скромно одетых старушек в беретиках и толстоватых пенсионеров в клетчатых рубашках под галстук. Я поздоровался, поздравил их с прибытием в наш «древний, но вечно юный» город и затрещал заученным текстом, краем глаза наблюдая за соседями.

Туристы неспешно забирались на верхний ярус набережной, где начиналась пешеходная экскурсия по историческому центру. Расходиться никто и не думал – даже Николаша возглавлял

группу из нескольких десятков человек, бодро шагая по ступеням лестницы, да и все остальные мобилизованные, не умолкая, громко возносили здравицы родному городу.

Маршрут начинался у памятника Некрасову. Бронзовый поэт, картинно сложив руки на груди, обращал свой взор на Волгу, по которой приплыли сюда мои слушатели. Я продекламировал подобающее месту стихотворение и повел группу дальше, мимо довольно обшарпанных, но все еще красивых особнячков прошлого века, где когда-то жили в свое удовольствие дворяне и купцы, прежде чем бывшие слуги не отправили их в компанию к Наполеону.

Текст экскурсии я знал назубок и решил, что возьму туристов измором, – после десяти минут перечисления дат, названий, имен они устанут и сами захотят побыстрее попасть в городской музей – конечный пункт моей миссии, откуда я рвану обратно к Ларисе.

Для этого надо было говорить медленно, нудно, приводить много цифр – тогда старички быстро предпочтут лавочки соседнего сквера моей лекции на солнцепеке.

– Город делится на шесть районов – Кировский, Ленинский, Дзержинский, Фрунзенский... Наш город – крупный промышленный центр. Здесь располагаются такие известные в стране предприятия, как... В нашем городе шесть высших учебных заведений, такие как университет, педагогический и политехнический институты...

Через пятнадцать минут мои слушатели начали открыто зевать.

Добить их я запланировал у дома, который местные краеведы выдавали за жилище основателя русского театра. Сам герой повествования умер лет за сто пятьдесят до его постройки, но рассказ полагалось вести так, чтобы создавалась полная уверенность, что тело первого русского актера всего лишь пять минут назад вынесли из парадного подъезда.

Я, как предписывала инструкция, вытащил из сумки картонный портрет виновника торжества и стал излагать официальную версию создания русского театра.

В этот момент меня, что называется, «понесло». Поскольку старичков осталось всего трое, и победа была близка, я напоследок решил немного приукрасить свою экскурсию.

– Посмотрите на нижний этаж постройки, – я сопроводил свои слова плавным жестом левой руки, продолжая правой держать портрет.

– Именно здесь, в полуподвальном помещении купеческого особняка, прошли юные годы основателя русского театра. Трудна была жизнь рано осиротевшего Федора Григорьевича. Усыновивший его после смерти родителей дальний родственник купец Полушкин обращал мало внимания на своего пасынка. Можно сказать, будущий актер был предоставлен самому себе. С ранних лет он любил устраивать представления для слуг и домочадцев. Он пел, декламировал стихи, играл на балалайке народные мелодии, такие как «Ой вы сени, мои сени» или «Когда я на почте служил ямщиком»...

После этого яркого финала я обернулся и остолбенел – передо мной стоял строй хорошо одетых экскурсантов, по виду никак не похожих на моих пенсионеров. Они внимательно слушали мои байки, а пара человек даже что-то записывала в небольших блокнотиках.

– Скажите, пожалуйста, а кто был автором романса о ямщике? – с подозрением спросил кто-то из заднего ряда.

Я сердито отозвался:

– А вы тоже с теплохода? «Федор Шаляпин»?

Стоящий впереди всех осанистый мужчина в модной рубашке с отложным воротником ответил величавым оперным баритоном:

– Нам просто ваш рассказ понравился. Мы, знаете ли, из Москвы – путешествуем с познавательными целями. Вы хорошо так все излагаете, а ваши коллеги метут все скороговоркой, так что смысл не понятен. Вот мы и решили к вам перейти. А вы что, против?

Я пожал плечами и обреченно кивнул в ответ, хотя от досады был готов рвать себе на голове волосы.

Сделав приглашающий жест свободной рукой, я двинулся дальше, заметив краем глаза, как мимо нас на всех парах промчался по направлению к пристани радостный Николаша. Наверняка мои москвичи числились за ним.

***

С тремя рублями за дополнительную группу можно было попрощаться навсегда – мои новые подопечные явно никуда не торопились.

Они шагали медленной вальяжной походкой, как и полагается столичным гостям в провинции, свысока поглядывая на выщербленные стены и покосившиеся скамеечки у подъездов.

– Денег на ремонт по-прежнему мало дают? – лениво поинтересовался тот же баритон.

Я что-то утвердительно промычал в ответ и получил следующий вопрос:

– А почему крыши у церквей зеленые?

Поскольку с романсом о ямщике у меня вышла явная промашка, надо было набирать очки.

– Интересный вопрос! – льстиво ответил я.– Вообще-то редко его задают...

Стараясь идти в ногу со слушателями, я начал объяснять сакральный смысл зеленого цвета, в который почему-то были вымазаны все городские купола.

Сверху, словно в ответ на мое наглое вранье, громыхнуло.

Все, как по команде, посмотрели на небо. Черная туча быстро плыла в нашу сторону, готовясь устроить хороший душ истомленному жарой крупному промышленному и научному центру Поволжья с богатой и славной историей.

Мы стояли в центре площади. В церковь было не попасть – там было полно туристов. Открытая галерея вокруг основного здания была забита так, что яблоку негде упасть.

– А в собор мы разве не пойдем? – спросила какая-то разодетая дама, указывая пальцем на золотые кресты.

– Товарищи! – бодро воззвал я.– Вы же видите, какая тут толпа. Предлагаю посетить этот замечательный памятник на обратном пути. Тогда здесь никого не будет, и вы познакомитесь с ним не спеша и без помех. А сейчас мы с вами пройдем в музей. Там у вас по плану обзорная экскурсия.

Группа зароптала.

– В музее вы увидите иконы семнадцатого века, изделия из золота и серебра, коллекцию старинных рукописных книг и многое другое. По секрету вам скажу, что в этой церкви, кроме настенных росписей, ничего нет. Она закрыта полвека назад.

Недовольный гул продолжился, но авторитетный баритон неожиданно меня поддержал:

– Да что вы, в самом деле! Действительно, пойдем в музей, по крайней мере, не спеша там все посмотрим...

Я готов был его расцеловать.

Быстрым шагом мы вошли в сквер. По моим расчетам, до музея было минут десять ходу. Но остановиться пришлось дважды – у приснопамятного обелиска красным бойцам и напротив входа в монастырь, который заметил-таки зорким взором все тот же баритон.

И когда мы уже почти дошагали до выхода из сквера, началась гроза. Ливень обрушился внезапно и свирепо, желая смыть с лица земли все бестолковое человечество.

Ветер метался между деревьев, как загнанный зверь, гром грохотал, усиливая панику. О зонтиках можно было и не вспоминать – все вымокли за пару секунд. Под деревьями укрыться было невозможно – тяжелые капли пробивали листву насквозь, как пуля – лист бумаги.

Вода лилась с небес с такой силой, словно Господь Бог, когда-то отделивший ее от земли, неожиданно передумал.

Несчастные туристы пытались прикрыться сумочками, пакетами, ладонями, но неудержимый радостный поток выливался из огромного небесного ведра так щедро и весело, что все моментально вымокли до ниток.

О том, чтобы добежать до ближайшего дома и укрыться в подъезде, нечего было и думать. Единственное строение, которое находилось поблизости, была маленькая круглая одноэтажная пагода с двумя входами, на которых белой масляной краской были написаны две буквы. На одной двери – буква «М», а на другой...

***

Мы влетели в туалет мокрые и мало что соображающие от неожиданности. Снаружи свирепо ревела разбушевавшаяся стихия.

Помещение состояло из крошечного предбанника и главного зала, выложенного голубоватой плиткой с ржавыми разводами. Плитка заканчивалась на уровне глаз, выше на пожелтевшей штукатурке углем был намалеван чей-то жизнерадостный призыв:

«Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира!»

Рядом с лозунгом сорняковой порослью размножились соответствующие отклики.

Мои подопечные сгрудились вокруг меня, как перепуганные утята.

– Все живы?– зачем-то спросил я, обращаясь в пахнущее продуктами человеческой жизнедеятельности пространство.

В ответ кто-то жалобно простонал.

– Не расстраивайтесь, – продолжил я, пытаясь наполнить вином утешения мехи горя и отчаяния, – дождик сейчас кончится, и мы пойдем дальше.

– Поплывем, хотели вы сказать, – сердито отозвалась невысокая старушка, стоявшая рядом со мной у входной двери.

Стараясь быть вежливым, я спросил у нее:

– Простите, гражданочка, а вы ничего не перепутали?

Старушка огляделась и с визгом бросилась наружу.

Несколько минут все молча глядели в дверной проем, пока чей-то грустный голос прозвучал из полутьмы:

– Вот ведь как – кто-то сейчас фрески в соборе рассматривает, а мы тут дерьмо нюхаем...

Кто-то, такой же невидимый, ответил:

– Есть и плюсы. В соборе туалета точно нет. А настенных росписей и здесь хватает.

***

Дождь прекратился неожиданно и быстро, как любовь второклассника. С ветвей падали опоздавшие капли, вдоль дорожек торопились уплыть в стекающих ручейках сбитые с деревьев листья.

Туристы покидали свое убежище, перепрыгивая через лужи. Я первым вышел на дорожку и обреченно поджидал остальных.

Помятые и обескураженные экскурсанты сбились в стайку и молча зашагали вслед за мной.

Сразу за сквером нас ждал монумент героям Великой Отечественной войны. Две стелы из белого камня, одна из которых изображала воина с автоматом, а другая – труженицу тыла в кокетливом платочке, разделялись вымощенной черным мрамором площадкой.

Я остановился, повернувшись спиной к памятнику и, дождавшись пока все туристы соберутся вокруг меня, с подобающей торжественностью начал говорить:

– Перед вами памятник боевым и трудовым подвигам жителей нашего города во время Великой Отечественной войны. Его автор – известный советский скульптор народный художник СССР Лев Ефимович Кербель. Перед монументом вы видите Вечный огонь, доставленный сюда на бронетранспортере из города-героя Москвы, он является частицей того самого огня, что неугасимо горит около монумента Неизвестному солдату у Кремлевской стены...

– А где огонь-то? – спросил вдруг кто-то из туристов.

Я оглянулся и остолбенел.

Круглое отверстие, обрамленное позолоченным венком, зияло пустотой, из которой слышалось предательское шипение вытекающего газа.

Дождь, этот чертов дождь и чертов ветер погасили пламя, подписав окончательный приговор моей разнесчастной экскурсии.

– Ну что, командир, – услышал я за спиной чей-то насмешливый голос, – бронетранспортер вызывать будем?

Группа зашлась в неудержимом хохоте.

Когда все немного успокоились, я промямлил:

– Ну, вот видите, тут из-за дождя маленькая техническая неисправность...

От группы отделился обладатель царственного баритона. Он подошел к Вечному огню, заглянул внутрь, зачем-то потрогал ногой край отверстия и, обернувшись к нам, медленно произнес:

– Поверьте мне, от всего этого я испытываю настоящий катарсис...

Воцарилось молчание.

Помолчав несколько секунд, баритон продолжил речь:

– Я доцент университета, кандидат наук. Объехал все города Золотого кольца. Был в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Посетил все столицы союзных республик. Ездил в Венгрию и Чехословакию. Но нигде (на этих словах его голос зазвучал вечевым колоколом) – НИГДЕ меня не водили на экскурсию в нужник и не гасили Вечный огонь!!!

Пока я судорожно соображал, что сказать, из примолкнувшей группы раздался крик:

– ВСПОМНИЛ, ВСПОМНИЛ!!! Я вспомнил, кто автор «Ямщика»! Трефолев!!! А он жил в прошлом веке. Не мог Волков его песни петь! НЕ МОГ!!!

У меня похолодело в груди.

Группа, не сговариваясь, двинулась в мою сторону.

Не теряя времени, я бросился наутек, слыша за спиной улюлюканье, свист и идеологически невыдержанные выкрики.

***

Всю следующую неделю я отсиживался дома.

– Ладно, не расстраивайся,– утешала меня жена.– У всех артистов, даже великих, случались провалы. Ничего страшного.

Я вздыхал и виновато мыл посуду.

Ночью мне приснился приказ о моем увольнении – он был напечатан на бланке с профилями Ленина и Сталина и содержал длинный перечень всех моих прегрешений, заканчиваясь словами: «Порочил политику КПСС. Лил воду на мельницу идеологического врага. Недостоин быть в рядах советских экскурсоводов». Вслед за приказом играл гимн, и невесть откуда взявшийся бронетранспортер увозил меня в кромешную тьму.

***

В субботу, когда еще не было и восьми утра, меня поднял из постели телефонный звонок.

– Алло, привет, прогульщик! – приветствовала меня Лариса. – Ты где пропал? Работать некому! Давай-ка подтягивайся на пристань – у нас опять завал.

У меня отлегло от сердца.

– Докатились, лентяи, – продолжала ворчать Лариса,– денег никому не надо, приходится всех обзванивать.

И в ответ на мои радостные восклицания сердито добавила:

– И поаккуратнее на маршруте. Ведем строго по плану. А то уволю, как Николашу. Ты не слышал, что ли? Допрыгался со своими фокусами. Его москвичи такую жалобу накатали, хоть в газету посылай. Пятнадцать подписей. Он, конечно, не признается, но я-то знаю, чья это группа. В общем, поосторожнее. Давай, жду.

В трубке послышались короткие гудки.

Я оделся и вышел на улицу.

Меня снова ждали советские граждане, прибывающие в наш древний, но вечно юный город в составе организованных туристических групп.

Канат ОМАР

***

И.П.

Жизнь гремит кубиками льда
в наших бокалах,
костями прохожих, срезаемых витражами буржуазных кафе,
а мы выдрали батарейки из часов,
разбили мобильные
и только похохатываем –
так,
будто полночь не наступит никогда,
поезда не отойдут от залитого сценическим дождём перрона,
а самолёты никогда не проколют тугой окоём...

– Малшык, воды!

***

поклонники гуськом на полусогнутых
мелькают преодолевая
как силовое поле всей
от самых от окраин
до самых ледовитых

а ей по-прежнему всё как-то невдомёк
куранты уже дребезжат
кумачовый петух над сараем
и семнадцать солдат
в сахарной пудре бисквитной крошке

под пулями не дёргаться не ёрзать
зарыться в тень и выспаться за шкапом
как величавый мойдодыр
из ванной ледокол-перипатетик
оттаивают берега

она плывёт хотя свистка не слышит
захлёбывается а плывёт

Канат Омар родился в Павлодарской области в 1971 году. В 1996 году закончил Санкт-Петербургскую государственную академию культуры по специальности «режиссер киновидеостудии». С 2001 года живет в Астане. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Новая Юность», «Простор», «Аполлинарий» и др. Участник антологий «Явь и сны: Новая поэзия Казахстана» (2001), «Освобождённый Улисс: Современная русская поэзия за пределами России» (2004) и «Солнце без объяснений» (2009), а также ряда коллективных сборников. Автор книг «К еще более бледным» (1997), «Сукно» (1999), «Замерзает вода» (2002), «Каблограмма» (2008).

как будто злые позывные
толчками бьющиеся в нёбо
ей раздирают рот

разбить арбуз на воющем базаре
просыпать сахар на песок
сгорающий на солнце
здравствуй мама
она со мной не знаю почему

3 января 2012

базилевс

редкоземельный дар
отыскивать в себе
невероятных мар
и ветреных гостей

отрывисто произносит
и снова садится на самое дальнее место
по щиколотки в шелухе из семечек
под самым лучом
стрекочущего аппарата
пялясь на нейлон и орлиные перья
забывая о симпозиуме венерологов
у самого синего моря
бесстыдно посапывая
как раз как
загорается свет
катится лай собак
неудержимый
а там уже только
хлопок
и пробка шуршит за раму
немецкой зимней картинки

не выкурить себя
из хрупкой табакерки
глоток сухого терпкий
введёт тебя в собрание

***

стоит беспомощный
не стоит ничего
и чист электрозвук
как лезвие и очень

и вот по капле вниз
невероятный кто
в смертельный тет-а-тет
с шипучим отраженьем

***

вагон качнулся и заскрипел
сквозняк глубоко вздохнул
и присел на корточки
дерево деревенская девушка
залопотало в замасленной раме

и воздух вдруг засвистел затенькал
сотворив из ничего
даже не дудочку в равнодушных пальцах
легчайший комочек
с сердцем булькающим в горле

она не пела
просто висела на проводах
трясла хвостом
играла оттенками изумрудного профиля

но и это пиликанье
которое выдувал из неё ветер
никуда не спешащий
никого не слышащий

и эти шутовские поклоны

так напомнили
другие часы полустанки озёра

что

тронулся поезд замелькали пробелы
а она всё плывёт и плывёт
в сумерках на проводах

свободная без усилий

***

уральск затопленный апрель
по крышам скачет и беснуясь
сергеич почечный отель
на дачах порет блядь босую

за документами войти
как в курск и баренцево море
в дом и теперь у бабы тик
а у детей во рту цикорий

висеть над окнами глядеть
на твист утопленников голых
на игрища хвостатых дев
удить головоногих с лодок

и как бы где-то *тятя тятя*

***

оторван ото всех
и всеми вырван с мясом
не ведая забот
как та ещё форель

летит себе летит
не жмурится не плачет
а там ещё весна
и голоса гурьбою

Марина ПАЛЕЙ

БРАЧНЫЕ ЗАПЛАЧКИ КОЧЕВНИКОВ

А. К.

Ночь битвы

Днепр – вышел – из берегов,
солнце – пало – как часовой
на этом лугу, посреди врагов,
ты бьёшься во мне, как язь золотой

мне оберегом – твоя рука,
я головой за тебя плачу
как? – а вот так: сердце в пращу –
сердце само разыщет врага

в этой чёрной отраве-траве густой
я никому тебя не прощу
язь золотой, мой князь золотой,
в крови икру золотую мечу

ты бьёшься во мне, мой ослепший шмель,
ты жалишь меня, мой шершень, мой сон,
но жалость нутра к тебе – целься, не цель,
мощнее стократ, чем его же стон

сердце – вышло – из берегов
солнце! повремени свой разлив!
ты изранил щекой мой девичий покров,
словно звёзд осколки мне в сердце зашив

...бинтами тумана весь берег белёс,
а понизу – кровью залит округ...
чуть позже пришедшие на покос,
скажут: маками заткан луг

Марина Палей родилась в Петербурге, с 1995 года живет в Нидерландах. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Двенадцать книг прозы издано в России и восемь – за рубежом. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Финалист премий «Букер», «Большая книга», им. И.П. Белкина (дважды). Лауреат «Русской премии»-2011 (роман-притча «Хор»).

Огнестрел

1.
вот этот мальчишка – серсо, самокат –
вот этот живучий гад,
хан влажных стрекоз, повелитель мух,
муштрует хазарке слух

раввины! как вороны, хриплы вы
пред болью мы все равны
царица соседней сестры-страны
его целовала штаны

нет разницы – тысяча, тысячи лет:
он достаёт пистолет
ласкает курок, за косы берёт,
вставляет ей дуло в рот

...горяч, как враз отвердевший воск, –
пехаль выносит ей мозг

2.
раввины! заткните вы свой Талмуд –
не место ветоши тут
тут место тому, кто молод и груб,
кто люб, потому что люб

да: око – за око, да: зуб – за зуб,
да: миг – за тысячу лет

бессмертье тебе, пацан, – за свинец,
за то, что прокляли мать и отец,
за то, что не будет кастрюль, колец,
за твой самокат в небесах, малец,

и жизнь – за твой пистолет

Умай-ана*

1.
...она говорила: жизни-то всей осталось – алтын да полушка...
он мне – кислородная, вроде того, подушка

этот парень – мой воздух чистейший, коль так повезло,
пока гиппократова маска стягивает мне чело

пока агония гасит во мне – мой же огонь чумовой – прямою наводкой,
он, оксиген госпитальный, баюкает меня колыбелью-лодкой

* *«Мать Волчица», богиня любви и плодородия древних тюрков.*

и пусть маринисты мира, глядя на эту марину,
сохнут от зависти: не по зубам им скопировать ту картину,
где ручьистая боттичеллиева Афродита
спиною встала к мёртвой воде из расколотого корыта –
а передом – она же, то есть Venus Marina, –
из планетарных околоплодных вод
выталкивает изумлённый свой глаз, изумлённый рот
– кислород – кислород! ты – мой кислород! –

из околоплодных подлунных вод
выныривает – розова – видите? – возродима!

2.
аж Торричеллиева пустота – в том боттичеллиевом запале –
зачала от хакера-ветра – и понесла – ну ёлы же палы!

ох, забрюхатела – ваааауууу! – зелёным раскатистым эхом,
раскидистой речкой, черёмухой, мячиком, детским смехом,
огородом, верандой, роялем, качелями, розой, вьюнком,
запотевшим окошком бани, яблоком, целованием, грибами да мхом,
всеми вельветами инея, густоснежным – по горло – мехом
(белым зельем-бинтом земле, её чёрным порезам, ранам-прорехам)

тишиной у зимней беседки... чуть поскрипывающей... как мачта...
корабля.... откомандированного.... куда-то... где Время... ещё не начато...

и наконец – призраком Белого Волка,
того, что, как метеорит,
нарастая, летит,
нарастая, летит,
нарастая, летит –
и падает где-то – со взрывом беззвучным – в леса

кислород отключают

меняют

на небеса

Завоеватель
(кочевье занебесное)

1.
прощевай, моя радость,
береги мальчуковые нервы,
вот видишь, зря ты боялся,
что отплывёшь туда первым

это я отбуду туда – целинником-квартирьером,
точнее, конкистадором,
я возьму херувимов – боем, осадой, обманом, атакой, измором,

с тайным заданьем внедрюсь – иммигрантом, курьером,
а, в сущности, вором –
там, где постные свои спевки проводят ангелы-олигофрены хором

я, флибустьер чернопарусный, ворвусь к ним колумбовым пионером,
мамлюком оттоманским, ганнибаловым легионером,
я возьму их, ангелов, злым троянским манером –
нет, не манёвром Елены – но как Велизарий! Тигран! Тамерлан! Аттила!
ведь я – коняга-кентавриха, полная пороха, тестостерона, тротила,
коняга, пропахшая потом, – не феромоном,
на плечах моих – место не дланям твоим, но солдатским погонам

2.
я прошагаю длинным-предлинным, длиннющим клинком-тоннелем,
без света в конце,
как ушко игольное, тесным,
где снуёт, тем не менее, ангельский сброд занебесный,
каждый – с учёными щёчками, с раздутым портфелем,
с халвою в словах, с рахат-лукумом в лице

я решительно двинусь тем безвыборным коридором,
с концом перспективы в конце,
тем коридором, крылышкующие менеджеры в котором
будут со мной стандартно-приветливы: даже
не подозревая о краже,
то есть – о спёртом для камуфляжа
нимбе-венце

я ворвусь к ответственным ангельским лицам,
к архангельским VIP'ам,
к херувимским пончикам-пупсам,

я, ударом чон-гвон, вышибу двери в духоподъёмники-лифты, во все кабинеты,
где даже клозеты
просторнее, чем половецкие юрты для многочадного клана
и мне будет странно – горько и странно –
что там, на земле, ты
не зришь моей силы, ихнего поражения-срама

3.
я повыдёргиваю из ангелов их эксклюзивные перья,
похерю политкорректную занебесную резолюцию
хочешь – подвесь перья над своим ложем, как советуют суеверья,
пусть ангелы мечутся голыми, как павлины в половецкую революцию

хочешь – раздари эти перья девочкам-балеринам –
на шляпки и пачки, боа, веера, пелерины,
а лучше – на просто так,
хочешь – задастым матронам: начинкой в страшные их перины,
хочешь – закинь эти перья в свой драный гамак,

хочешь – набей их в подушку – толстую сваргань, как бигмак,
хочешь – ими нафаршируй куртку-шубейку на рыбьем меху –
выйдет тебе рыбка-фиш в собственном тёплом соку

а хочешь – пусти их на ветер! – на половецкую то бишь словесность!
(но это – худшее из назначений пера, sorry за честность)

лучше всего – на лошажий плюмаж

4.
а я – я возьму архангелов на абордаж,
буду заваливать самых крупных, – таких вот, как птица Рух,
буду выщипывать-собирать их целительный пух –
самый нежный пушок, самый мягкий пушок подбрюшья,
передушу, как кур, пускай покашляют, как у Чака Паланика, от удушья
но это ведь пух-волшебство, сто пудов, не по слухам

я выстелю тебе гнёздышко им, этим пухом,
чтоб
отдохнул
твой
дух

5.
вспоминай меня иногда, о'кей? – хоть первый денёк в феврале
Стикс, мой дружок, не страшнее, чем Па-де-Кале

уплыва... уплываю... утло у лодки донышко
вот ты всё меньше, всё меньше,
сердечко, яичко, кровное моё зёрнышко...

я устрою, устрою тебе в небесах *райское* гнёздышко –
раз не смогла на земле

Земля и Небо

Почитание Тенгри – Голубого Неба – общая языческая религия для всей степной Евразии...

Лев Гумилёв

1.
«Мой тигр прикаспийский, супруг мой, Тенгри!
Я – каломель и глина.
Тело – на тяжеловозах везу,
ты видишь сверху? – смотри, смотри! –
мой Тигр Голубой, супруг мой, Тенгри,
я – про́клятая роженица Йер-су,

я – неприкаянная Йер-су,
земля, влага, вагина.

Йер-су: солончак со слюдой вместо глаз,
Йер-су: жижица, лужица, грязь.
Что же в начинке? – болотный газ:
он чавкает пузырясь.

Я – шарик навозный, я вся – навоз,
в этом навозном мире
Йер-су – лишь плацента для яблок и роз...
Ох! Гравитационные гири!
Йер-су расползлась, вся разбухла от слёз...
Уже – поперёк себя шире!
Но любит она лишь тебя, Тенгри!
Глаза-небеса отвори, отопри!..»

2.
«Я – Тенгри Голубой, я – Тенгри Голубой,
ты слышишь Йер-су, старуха?
Я с тобою, с тобою – и я не с тобой! –
твоё – тяжёлое брюхо.

Бестелесны подлинные цари
надмирные.
В равновеликого бога
вольюсь – в такого, как я, Тенгри, –
впаду в него, словно в Пурус – Акри...
От чёрной зари – до белой зари,
от белой зари – до чёрной зари
пари, моя грёза-пирога!..

Пусть я один – я единый, как встарь! —
но только Себя-Другого,
приму я – как бог, и как червь, и как царь —
Бескрайнего, Никакого...»

Князь

мой князь, отпусти, раз не хочешь беречь,
пусти, прогони взашей,
но, чтоб не смогла я далёко убечь,
мне щетину в пятки зашей

прочь – ведьма-золовка, волглая речь,
прочь – деверь, дервиш лесной,
прочь – свёкор чёрный, который лечь
рвётся хоть в гроб со мной

заместо сына он входит в мой сон,
зовёт в свой тёмный амбар
и ты, мой князь, к топору обречён,
в печи подбавляешь жар

мне дик ваш суд, мне дик ваш закон,
распутье – ни бечь, ни прилечь
свекровь пугает меня зрачком,
серым, как мёртвая печь

погоня, погоня! и топот, и зык –
ордою – твоя семья
но вот разверзлась, как есть, напрямик,
добрая мама-земля

я быстро сбегаю в подземный сад,
сердце колотит щеглом,
и рук твоих мускулистый ад
змеиным взбухает кублом

ах, князь мой, ты там – наверху, на коне –
не слушай, как я кричу
и вот что: не бойся! – ведь это во сне,
и снег заполняет провалы век –
йодистый госпитальный снег
– и кровь неподвластна мечу

***

ко мне во сне пришёл не тот,
не тот, которого ждала,
и, нервно скашивая рот,
осведомлялся про дела

и долго шляпу он искал –
не ту, которую носил,
и, замыкая рта оскал,
стеклянный глаз его косил

и в бесконечном сером дне,
в молочной предвенчальной мгле,
я плакала: зачем он мне,
раз ты – стареешь на земле

***

он отломил себе хлеба кусок –
ведь она его хлебом была

отломил – и в путь неблизкий потёк:
обыденные дела

он жевал хлеб дорогой, вертел головой,
глядел на леса и жнивьё
и как-то забыл в дороге кривой,
что ломоть этот – часть от неё

и вот он в Город Большой пришёл,
в месторожденье огней
едал шоколад, одевался в шёлк,
и вовсе забыл о ней

она превратилась в белёсый сухарь,
без смысла погибла краса
но ветер ей приносил, как встарь:
«Ты хлеб мой!..» – его словеса

...на пёстром бульваре однажды весной
он крошки птицам кидал
терзал, раздражал его майский зной –
а он вспоминал, вспоминал

и он устремился в обратный путь,
чтоб сбросить года, как пальто
и видели птицы: он лег отдохнуть...
а больше не видел никто

Валерий БОЧКОВ

Счастье с доставкой

Рассказ

Выбор был жалок, выбора, считай, не было: Армадилло, Джо-Банан и Горилла. Мещерский провёл пальцем по пыльному ядовито-жёлтому пластику Банана, стукнул костяшками в панцирь Армадилло – тот отозвался пустой бочкой.

– Никого нет дома, – хохотнул хозяин, отхлебнув из банки. – Не тяни резину, Ник, кого берёшь? Не невесту ж, честное слово!

Мещерский смутился:

– Можно примата?

Сказал и отчего-то покраснел, словно стянул мелочь с прилавка. В лавке было душно, он вытер мокрый лоб.

– Примата? – хозяин, выщедив остатки пива, заученным жестом ловко смял жестянку. – Можно примата.

1.

Костюм состоял из мохнатого комбинезона с молнией от горла до промежности и большой головы, внутри которой по непонятной причине разило рыбой. Потом Ник догадался, что это, скорее всего, из-за клея – он читал где-то, что клей иногда варят из костей. Этот явно сварили из рыбьих. В глазах маски были проделаны две дыры, но видимость оставляла желать лучшего. Мещерский поправил голову, приблизился к зеркалу, поднял руки и зарычал. Стало смешно и жутко. Он пожалел, что отец его не видит. Мещерский-старший – потомок худосочных краковских баронов, голубоглазый крепыш с гусарскими пшеничными усами и бритой головой, смуглой и гладкой, словно отшлифованной солнцем, обожал при гостях вдаваться в мрачные средневековые подробности своего рода. Над камином в гостиной висела массивная дубовая рама с генеалогическим древом Мещерских. Пергамент под стеклом сохранился неважно, пожелтел, а левый край обгорел, так что часть родни по женской линии навсегда канула в Лету. Будучи мужчиной невысокого роста, отец, выпячивая грудь, покачивался с каблука на носок и говорил нарочито низким голосом, слова произносил не спеша и с достоинством. От польского акцента он так и не отделался. Из-за гулкой акустики гостиной Нику всегда казалось, что отец сердится и гудит, как шмель, в одну ноту: бу-у-у. Аристократизм не помешал отцу стать хватким дельцом: он мастерски спекулировал на Нью-Йоркской бирже, по большей части на зерне, и успешно играл на скачках. «Азарт у Мещерских в крови, – сжимая крепкие кулаки, пылко заявлял он, – лошади – наша фамильная страсть!»

Ник, очевидно, пошёл в мать, тихую религиозную латышку, – лошади ему были до лампочки. Он вообще не был азартен, толстую книгу без картинок предпочитал поездке на ипподром. С чисто польским упрямством Мещерский таскал сына на ненавистные скачки, водил в конюшни, заставлял пить пиво с краснолицыми приятелями. Поздней Ник узнал, что отец на бегах беззастенчиво жульничал: подкупал палёных жокеев, платил букмекерам за имена фаворитов, иногда

Валерий Бочков родился в 1956 году в Латвии. Закончил художественно-графический факультет МГПИ в Москве. Профессиональный художник, основатель и креативный директор «The Val Bochkov Studio». Писать прозу начал в 2005 году. Рассказы публиковались в журналах «Знамя», «Волга». С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США.

сам заряжал заезды. Когда Ник объявил, что хочет изучать философию, отец молча и пристально взглянул на него. Это был странный взгляд, так обычно смотрят на калек и неизлечимо больных – с сожалением и гадливостью. В кабинете на втором этаже часы пробили половину какого-то часа, металлический отзвук долго бродил по пыльным комнатам, покрасневшим от заходящего солнца. Нику вдруг стало тоскливо и пусто. Через неделю он уехал в Германию, в Хайдельберг. Отучился на философском три семестра, немецкая рациональность, поначалу боготворимая им, постепенно осточертела и стала напоминать тупость и ограниченность. На второй год Нику даже показалось, что германский Ordnung заразен: поймав себя за сортировкой носков по цветам спектра, он спешно перебрался в Милан. В Италии увлёкся историей искусств, сначала Ренессансом, потом античностью. После культурно девственной Америки, наивно полагающей, что история началась триста лет назад, Италия поразила Мещерского: он, как зачарованный, шагал по щербатым ступеням Форума, бродил по аллеям виллы Боргезе и внутри гулкого мрака Пантеона, ночевал тайком в Колизее, в каникулы безуспешно пытался устроиться гидом в Ватикан, в результате подрядился на раскопки в Монте-Мильори. Там же, в апельсиновых рощах, среди дорических капителей и безносых статуй, безнадёжно влюбился в Харпер, взрослую тусклую англичанку в стальных очках. Худел, томился и страдал до сентября.

2.

Вернувшись в Нью-Йорк в начале мая, Мещерский удивлённо обнаружил, что ни его диплом, ни его знания здесь никому не нужны. Помыкавшись, он нашёл унизительное место внештатного консультанта в «Еврейском вестнике», скорее напоминавшем богадельню, чем издательство. Платили там оскорбительные гроши, о том, чтобы снять свой угол, не могло быть и речи. И он продолжал жить с родителями.

Отец, пыхтя контрабандной «гаваной», ехидно подкручивал сивый ус и приговаривал:

– Выждэ як Заблонски на мылэ...

Ник не знал, что там у пана Заблонского вышло с мылом, но чувствовал, что отец только и ждёт, когда сын, наконец, признает свои заблуждения, повинится и попросит о помощи. Мещерский-старший наверняка простит и, конечно же, поможет, с воодушевлением обзвонит всех и в конце концов найдёт ему – сыну и наследнику – подобающее место, с достойным жалованьем и благозвучным титулом. Надо лишь попросить. Отцветал жасмин, над парком висел птичий гомон, Ник вырвался из подвальных лабиринтов «Вестника» и, растянувшись на тёплой траве, глядел на облака. Рукопись некоего Гр. Казовского о влиянии иудаизма на городскую поэзию прошлого века он сложил пополам и сунул под голову.

За пригорком упруго били в мяч, иногда он взмывал в небо и, мгновенье повисев, словно разглядывая окрестность, стремительно падал вниз. День выдался такой же свежий и звонкий, как этот бодрый мяч. Именно в такие дни хочется принимать важные решения и отправляться в дальние путешествия. Подбежал пудель, чёрный, с мягкими шарами шерсти на ногах, восторженно тыкаясь мокрым носом в лицо и шею, предложил дружить. Ник засмеялся от щекотки, приподнялся, погладил горячий собачий бок. Сзади кто-то свистнул, и пудель исчез. Ник, продолжая улыбаться, перевернулся на живот. Пахло влажной землёй, вдруг, в густой зелени травы, прямо перед собой он увидел птенца. Птенец, беззвучно разевая клюв с жёлтой каймой, глядел на Ника большим, полным ужаса, глазом.

Ник растерянно осмотрелся, ища гнездо. В пятнистых от полуденного солнца клёнах галдели скворцы. Мещерский встал, беспомощно озираясь и пытаясь что-нибудь придумать. Птенец испуганно встрепенулся, запищал и, взволнованно суча кургузыми крыльями, бросился вприпрыжку от Ника.

– Глупый, глупый, куда ты? Там дорога! Я сейчас... погоди, куда же ты! – Ник подхватил рукопись. – Вот чёрт, коробку бы...

Отчего-то дотронуться до птенца руками он не мог, брезгливость и страх боролись в нём с желанием спасти птицу. Он наклонился, сложил рукопись совком, птенец, путаясь в траве, пустился наутёк и выскочил на дорожку.

Загорелая мамаша в чёрных рейтузах, стягивающих сильные ляжки, коротконогая и крепкая, как гриб-боровик, бесшумно и стремительно катила широкую коляску на дутых пупырчатых шинах. Внутри коляски, в тени брезентового тента сидела пара близнецов, серьёзных и щекастых, таких же загорелых, здоровых боровичков, как и мамаша. Ник крикнул «Осторожно!» когда птенец уже оказался под колесом. Мамаша, не сбавляя темпа, прокатила мимо и вошла в рябую тень. Солнечные зайчики шустро запрыгали по её плечам и брезенту коляски. Ник, стараясь не смотреть на дорожку, поплёлся к воротам. Стая разноцветных велосипедистов плавно обтекла его. На выходе Мещерский остановился у урны, опустил туда рукопись и, выйдя в толчею города, медленно побрёл к метро.

3.

Почему именно Вермонт, Ник и сам толком не знал. Ему казалось, что это наиболее подходящее место, чтобы отрастить бороду и стать плотником. Когда он ехал из аэропорта, уже заходило солнце, по зелёным, пустым холмам гуляли пятнистые чёрно-белые коровы и отбрасывали тонконогие, фиолетовые тени. На горизонте смутно проступали невысокие горы, закат выкрасил их несерьёзным розовым цветом, и Мещерскому казалось, что они сделаны из фруктовой пастилы. Вермонт напомнил ему север Италии, и он, уткнув лоб в тёплое окно автобуса, чуть не заплакал от вдруг накативших переживаний. Он снял комнату в двухэтажной развалюхе на окраине Мидлберри у двух студентов местного университета, которые по непонятной причине решили не ехать домой на летние каникулы. В запущенном саду, среди разлапистых, умирающих от старости яблонь, эти два оболтуса часами перебрасывались бейсбольным мячом или пили пиво, лежа напротив друг друга в детских надувных бассейнах. Мещерскому, который был всего на несколько лет старше, они казались непонятными, как инопланетяне.

Сразу подвернулась работа. Строили то ли ферму, то ли ранчо, Ник так и не узнал – дальше фундамента проект не двинулся. Денег ему не заплатили. Мещерский не унывал и через пару дней устроился курьером. В тесной лавке, похожей на огромную кладовку, торговали сувенирами, напитками, цветами и мелкой всячиной. Хозяин по имени Майк, большой, грубый и краснолицый – вылитый разбойник или скупщик краденого из американского фильма, был вспыльчивым мужиком, на компромиссы не шёл из принципа, любые возражения воспринимал как личный вызов. Свои кулачища любовно называл «мои колотушечки». Жирные руки Майка покрывала вязь разноцветной татуировки – там цвёл волшебный сад: из кельтских узоров выплывали грудастые русалки с мечами и окровавленными топорами, из затейливых орнаментов торчали клыкастые морды упырей, выползали змеи с острыми раздвоенными языками. На груди и частично на упругом брюхе красовался орёл с хищным клювом, под ним было выколото готическими буквами «Не забудем 11-ое сентября!». В молодые годы Майк играл в какой-то металлической группе, с тех времён остались линялые плакаты и потрёпанный «Стилетто-бас», похожий на чудом уцелевшую жертву автокатастрофы. Покрытый шрамами ветеран висел на стене душной каморки без окон, именуемой хозяином «директорский офис».

В обязанности Мещерского входила доставка цветов, воздушных шаров и прочей ерунды. Заказы принимала Джилл, глуповатая тётка за тридцать с недоуменным выражением только что выловленного сазана. Она жила с Майком, их отношения Нику казались странными. Бывший рокер мрачно говорил:

– Тухло-дело, парень. Смотрю я вечером на эту камбалу, а про себя думаю – то ли в койку её тащить, то ли зажарить с паприкой и сметаной.

Джилл обладала единственным, но бесполезным талантом – принимая заказы, она безошибочно определяла национальность клиента по телефону.

– Так! Жёлтый. Вьетнамец, – медленно опустив трубку, голосом жрицы вещала она. Выдержав паузу, добавляла, пуча глаза: – Норд-Вест, провинция Сон-Ла.

Мещерский развозил заказы на дряхлом магазинном пикапе. Судя по облезлым черепам, набитым по трафарету на дверях и крыльях, автомобиль относился к славным рок-н-рольным го-

дам. На пониженных оборотах движок кашлял и глох, завести его можно было лишь разогнав с горы. Поэтому Ник, стараясь не сбавлять обороты, носился как угорелый по пустым сельским дорогам, чуть опустив окна и вдыхая запах тёплой, сохнущей на солнце травы. До упора открывать окна было нельзя, машина был забита надутыми шарами, которые скакали по салону, как зайцы, и только ждали подходящего момента, чтобы улизнуть на волю.

4.

Мещерский быстро загорел, похудел и будто даже подрос. Из бороды, правда, ничего не вышло – на скулах и подбородке проросли какие-то пушистые клочья, Майк сказал, что это не солидно и сказывается на репутации фирмы. Побрившись, Ник внимательно разглядывал своё огрубевшее от солнца лицо, белые морщинки у глаз, острые славянские скулы, впервые до конца осознавая, что детство кончилось и началась настоящая жизнь. Ещё он с неприязнью обнаружил сходство с отцом, хотя черты Мещерского-старшего и проступали лишь намёком, этот факт здорово расстроил Ника. Он строго взглянул в зеркало, пальцами зачесал назад выгоревшие русые волосы, нахмурил брови и вышел из ванной.

В конце июня Майк нанял Миранду. Она окончила первый курс где-то в Фениксе, штат Аризона, и приехала домой на каникулы. Длинноногая, с ангельскими кудряшками Ботичелли и по-детски пухлыми, розовыми, будто мокрыми, губами, она появлялась в лавке не раньше десяти. Каждое утро, страдая от похмелья, Миранда слонялась по магазину с бутылью ледяной колы, постоянно прикладываясь к ней и звучно, по-мужицки рыгая.

– Тухло-дело, кудря? – сочувственно заглядывал в карие девичьи глаза сердобольный Майк. – Ну, лечись, лечись.

Бескорыстный родительский рефлекс бездетного Майка его сожительница-рыба толковала по-своему, она грозно пучила глаза и ворчала что-то про малолетних засранок без стыда и совести, у которых ещё и сиськи-то не выросли, а они, паскуды, уж норовят взрослым мужикам в штаны залезть. Может, Джилл и была права, ревнуя хозяина, Мещерскому новенькая тоже нравилась. Миранда раскопала в подсобке миниатюрную гавайскую гитарку-юкалеле, настроила её и, подражая Мерилин, запела сладким, воркующим голосом. Пританцовывая, она прохаживалась меж полок с чипсами, крутила ладным джинсовым задом, улыбалась и строила глазки. Она пела про то, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, поскольку на верность мужчин надеяться смешно. Мещерский с кротким лицом любовался ей, вспоминая солнечные коридоры Уффици и златокудрых ангелов божественного Сандро, понимая, что такие девушки не про него. А Майку, откровенно глазевшему на её бёдра, в голову вдруг пришла гениальная идея – он так и заявил: «гениальная!» – и тут же потащил Ника в кладовку выбирать костюм.

– Чудно-дело, старик! Горилла – это вещь! Всё правильно – так и назовём: «Красавица и Чудовище»! Хотя нет, это фуфляк, надо позаористей, типа... э-э-э, «Счастье с доставкой», – воодушевлённый Майк, алчно откупоривая новое пиво, уже звонил на местное радио, требовал разместить рекламу со скидкой, угрожал и ругался.

Тут же, по телефону, был составлен текст, где «праздник» рифмовался со словом «проказник» (имелся в виду, очевидно, Мещерский-Горилла), выбрана музыкальная подложка. Майк настаивал на каких-то гитарных запилах, но его удалось отговорить, ссылаясь на неподготовленность целевой аудитории. Мучительно морща бандитское лицо, он согласился на Вивальди.

5.

Так наступил июль, самый чудесный июль в жизни Мещерского. В воздухе висел запах цветущего клевера, хотя клевер уже и отцвёл, дороги плавно разбегались по ярко-зелёным холмам, игрушечные амбары и силосные башни под красными крышами казались милыми декорациями, нарисованными специально для оживления пейзажа. Утро начиналось с жаворонков и пронзительной синевы, а после полудня выплывали мохнатые летние облака. Их ленивые тени ползли по кукурузным полям и лугам с добродушными коровами. Каким-то образом каждый день скла-

дывался ловко и удачно, словно кто-то толковый отмерял и взвешивал все его ингредиенты: смех Миранды, её рука с полоской солнца, ледяной колючий лимонад, медовый запах нагретых роз, ртутный блеск реки в мареве горизонта. Заказов было много, дурацкую рекламу про «Счастье с доставкой», от которой Мещерскому становилось стыдно, и он сразу начинал покашливать и тереть глаза, крутили несколько раз в день. Чаще всего они обслуживали детские дни рождения и праздники. Привозили подарки и цветы, разноцветные воздушные шары. Они бывали на простых фермах и ранчо, где пахло конюшней, компостом и копчёной корейкой, их приглашали в богатые усадьбы с коваными воротами и каменными львами. Полосатые шатры, белые худосочные стулья на лужайках, галдящая детвора сливались в голове Мещерского в бесконечный пёстрый праздник, перетекающий изо дня в день. Обычно за милю до цели они съезжали на обочину, Ник влезал в мохнатый костюм, Миранда хохотала, держа обезъянью голову на коленях – её Ник надевал в последний момент. Горилла за рулём неизменно вызывала неистовый восторг: горилла давила на сигнал, после вылезала из машины, потешно приседая, подпрыгивала и размахивала лапами. Начиналась раздача подарков. Дети висли на волосатых ногах, карабкались, пытаясь забраться на плечи, били по большой, гулкой голове, страшно орали, визжали, короче, вели себя как дети.

Закончив с тортами, цветами, шарами и прочей чепухой, Миранда открывала обещанный в рекламе концерт. Мелюзгу эта часть программы интересовала не очень, доорав дикими голосами «Happy Birthday», они кидались врассыпную, а вот папаши в белых рубашках и с пивом тут же вальяжно подтягивались, замыкали круг и, добродушно щурясь на солнце, слушали и оценивающе разглядывали исполнительницу. Там было на что посмотреть: гибкая и длинноногая, в ковбойских сапогах и коротких шортах, вернее сказать, это были оборванные по кромку задних карманов тугие линялые джинсы, плоский загорелый живот, затянутая узлом под грудью рубаха, под которой ничего не было, – папаши цокали языком и подмигивали друг другу со значением.

Мещерский вполне разделял их восторги, но он был на службе, он плясал в меру сил, отчаянно потея и задыхаясь от темноты и душной рыбной вони. Сквозь дырки глаз, словно рваный кинофильм, ему показывали чехарду голубого и зелёного, макушки яблонь, жирную руку с перстнем, сжимавшую потный «Будвайзер», иногда туда попадало медовое плечо или ангельский завиток на потной, румяной щеке. Иногда голова съезжала набок, и тогда наступала ночь. Приглушённо, как через подушку, доносилось треньканье юкалеле и обрывки песенных фраз. Под занавес Миранда исполняла «Michelle» – верный хит, припев с непонятными французскими словами подхватывали и папаши. Растрогавшись, лезли за портмоне и бумажниками, совали чаевые. Изнемогая от жары, Ник забирался за руль, гудел на прощанье. Всё тело чесалось, словно по коже сновали мелкие пауки. Миранда с неспешной грацией тоже усаживалась в машину. Жеманно улыбаясь, она посылала папашам воздушные поцелуи. Ник давил на газ. За первым же поворотом, съехав с дороги, он вываливался из кабины и, охая и чертыхаясь, сдирал с себя гориллью шкуру. В контору он приезжал в трусах и майке.

Иногда им удавалось урвать час-полтора и заскочить на озеро или речку: Миранда выросла под Мидлберри и чудесно ориентировалась в хитросплетении сельских дорог и, похоже, знала все пляжи на местных озёрах. Их было четыре. Речка Оттер-Крик, не широкая, но стремительная и чистая, брала начало в местных горах и делила городок пополам. У мельницы – заброшенного кирпичного дома, похожего на острог, река взрывалась шумным водопадом и, ворча, проносилась под мостом, пузырясь и играя бурунами. Если перегнуться через перила и глядеть прямо в воду, то начинало казаться, что летишь, – у Ника тут же начинала кружиться голова, а когда Миранда, раскинув руки, бесстрашно ложилась на перила, он в испуге хватал её сзади за пояс, прикасаясь костяшками кулака к гладкой и тёплой коже. Обессилев от купания, они падали на облезлые лежаки, молча глядели на серебристую рябь воды, призрачные блики на белых бортах лодок и яхт, на марево акварельных холмов, утекающих к сизым, словно полинявшим, горам на горизонте. Миранда слизывала языком капельки воды с верхней губы, её загорелый локоть был словно покрыт оранжевым лаком, от пупка едва приметная золотистая дорожка спускалась и исчезала под резинкой. У Мещерского перехватывало дыханье, во рту становилось сухо, и он плёлся

за лимонадом в полосатый ларёк под каштаном. Пили газировку, после считали доход, делили чаевые. Хозяин на чаевые не претендовал, и у них в день выходило по сорок-пятьдесят на каждого. В выходные получалось вдвое, а то и втрое больше. Мещерский складывал деньги в жестянку из-под бельгийского шоколада, к середине августа там уже было под две тысячи.

6.

Лето казалось бесконечным, но август промчался безжалостно быстро, по утрам от реки уже тянуло свежим холодом, а закаты, незатейливые, всего в две гуашевых краски, наступали сразу после обеда. Миранда уволилась. Двадцать седьмого августа она улетела обратно в Феникс, штат Аризона. Так кончилось лето.

Наступил скучный сентябрь. Майк хотел найти замену Миранде, но быстро остыл, плюнул и забыл. Теперь одинокая горилла развозила цветы и подарки, уныло раздавала шары и фальшивым голосом пела «Happy Birthday» для родившихся под знаками Девы, а после и Весов.

Заказов было мало – два-три в неделю, остальное время Мещерский помогал Майку по магазину, таская коробки и расставляя товар на полках. Или сидел в подсобке, уткнувшись в книгу и по несколько раз перечитывая один и тот же абзац. Иногда он доставал сложенный пополам листок, расправлял его и, шевеля губами, шептал телефонный номер. Он знал эти цифры наизусть, ему просто хотелось ещё раз увидеть эту пузатую восьмёрку и эту двойку с забавным, как у терьера, хвостом, потрогать их пальцем. Он чуть было не позвонил в Феникс сразу же после её отъезда, но отчего-то решил, что надо выждать хотя бы пару дней. Прошла тоскливая неделя, началась другая. Чем больше дней громоздилось между ними, тем безнадёжнее он смотрел на телефон, прикрученный к грязной стене в подсобке, тем очевидней ему становилось, что он уже не позвонит Миранде никогда. Ник впал в какое-то оцепенение, бродя по магазину, он бесцельно переставлял на стеллажах пыльных гномов, резных медведей и прочий сувенирный хлам. Мещерский смотрел на забытую в углу юкалеле, трогал струны – гитара жалобно и нестройно тренькала в ответ. Начались дожди, уныло потянулись серые беспросветные дни. «Никакого лета не было, – зло говорил себе Ник. – Забудь!» Не было и того последнего дня, когда они с Мирандой, отработав утренник в Вудбридж, летели сквозь пятнистую берёзовую рощу. Полосатые тени скакали по дороге, Миранда вдруг горячей ладонью накрыла его руку. От неожиданности он дёрнул руль, и пикап пьяно завилял из стороны в сторону.

– Остановись, – вполголоса сказала она.

Ник заглушил мотор и сразу стало невероятно тихо, словно их накрыло толстым ватным одеялом. И лишь потом, постепенно, словно на полароидном снимке, звуки проступили сперва тонким звоном мошкары, после пересвистом щеглов и мерным стуком дятла в соседнем лесу. Под конец, где-то на другом конце света, печально и едва различимо протрубил локомотив. По клетчатому воротнику Миранды, ловко семеня лапками, ползла божья коровка с четырьмя точками. «Четыре года, – пришло в голову Нику, – для них это, наверное, глубокая старость». Букашка перебралась через шов, остановилась на краю. Чуть помедлив, раскрыла крылья и вылетела в окно. Миранда вздрогнула, улыбнулась. Она хотела что-то сказать, но передумав, придвинулась и поцеловала его в губы.

– Эй! Проснись! – Ник вскинул голову. Над ним стояла Джилл, она перекрасила волосы в сиреневый цвет, а он это заметил только сейчас.

– День рождения, торт заказали, – сказала она. – Кегельбан у старой бойни знаешь? За ярмаркой?

Мещерский устало кивнул. Встал, пошёл надувать шары.

– Пьянь какая-то, – добавила вслед сиреневая Джилл. – Поаккуратней там.

Ник, не оборачиваясь, кивнул.

7.

Моросил дождь, один дворник заело, другой, занудно скрипя, размазывал грязь по стеклу. Мещерский почти наугад съехал с шоссе, с размаху влетел в лужу, дал по тормозам. Скинул ско-

рость и медленно покатил по ухабам, раскачиваясь, как на волнах. Воздушные шары весело запрыгали по кабине, гориллья башка, жутко зыркнув дырками глаз, скатилась с сиденья на пол.

Вот навесы пустой ярмарки, заколоченная карусель. Потянулась высокая кирпичная стена. За поворотом сквозь серую штриховку дождя проступил тёмный силуэт кегельбана, похожий на военный ангар. У входа мокли два грузовика, к заднему стеклу одного был приклеен флаг Конфедерации, на бампере другого Мещерский прочёл: «Добро пожаловать в Америку! Теперь – говори по-английски». Рядом со входом стояла ржавая бочка, в неё колотил дождь, а по поверхности плавали раскисшие окурки.

Джилл оказалась права. Компания из пяти парней добивала уже вторую коробку «Миллера»: смятые банки валялись повсюду, на полу стояла ополовиненная бутыль бурбона. Компания заняла две центральних дорожки, больше в кегельбане никого не было. Мещерский зашёл и остановился. Воняло потом, спортивной обувью и машинной смазкой. Из-за мутного стекла конторки на него оторопело глядел хозяин, мясистый усач, похожий на тоскливого Бисмарка, как если бы, не став канцлером Германии, Бисмарк ограничился кегельбаном. Мещерский разглядел в стекле и своё отражение – белый торт, связка воздушных шаров, горилла. Они заорали все разом, кто-то с грохотом уронил шар, кто-то заржал – гулкое эхо запрыгало по пустому залу. Мещерскому захотелось бросить торт и убежать, но вместо этого он, медленно переступая плоскими мохнатыми ступнями, побрёл к ним.

Гогоча и толкаясь, они обступили Ника, рыжий именинник в картонной короне выхватил торт, кто-то окурком ткнул в шар, Ник вздрогнул, все хором заржали.

– Дать макаке выпить! – густым говяжьим басом проорал кто-то сбоку.

В дырки глаз Ник видел, как чьи-то руки наливают в пластиковый стакан бурбон. Видел чей-то оскаленный рот с пеньками зубов и мокрой розовостью дёсен. Чьи-то выпученные бесцветные глаза.

– Пусть споёт сперва! – приказал говяжий бас.

Все подхватили:

– Пусть споёт! Давай, мужики! Раз-два – взяли!

Ник почувствовал, как его подхватили под мышки, поволокли, сквозь рыбную вонь разило пивом. Всё происходило с банальной предсказуемостью кошмара, словно он уже видел этот сон. Его приподняли, поставили на шаткий стол.

– Пой, макака! Не выдрючивайся, по-хорошему пой. Давай, ну! С днём рождения, Бадди, с днём... Ну!

Парни пели, а рыжий, ухмыляющийся Бадди в картонной короне, обклеенной золотистой фольгой, жрал торт прямо из коробки, запуская толстые пальцы в белые кремовые розы.

Ника замутило, он смотрел на них сверху. Задыхаясь, бормотал:

– Отвяжитесь, отстаньте от меня. Что я вам сделал? Умоляю, оставьте меня в покое.

Присев на корточки, он нащупал край стола, неуклюже спрыгнул и, шатаясь, пошёл к выходу.

Песня оборвалась.

– А ну назад, падла! – заорал тот же бас.

В дырки глаз Ник видел дверь, приближалась она невероятно медленно, словно он шагал сквозь тягучий прозрачный сироп.

– Су-ука! – завизжал кто-то сзади. – Не уважает, мартын! Глуши макакаку!

Мещерский был уже рядом с дверью, когда услышал топот. Он видел этот сон, он знал, что будет дальше.

Кто-то прыгнул Нику на спину, обхватив ногами вокруг пояса. Ник упал вперёд, маска сбилась на бок, ободрав ему бровь. Он уже ничего не видел. Его перевернули, кто-то сел на грудь, кто-то лил сверху пиво, кто-то бил по рёбрам. Потом кто-то, очевидно Бисмарк, зло проорал:

– А ну, выблядки, кончай бардак! В полицию звоню!

Мещерский не помнил, как он добрался назад. Прошмыгнув в магазин и, прикрывая рукой саднящую бровь, он прокрался в подсобку. Майк, распаковывающий коробку со стаканами, крикнул ему в спину:

– Как там? Джилл гнала мандраж, что тухляк там.

Ник захлопнул дверь, прижался к ней спиной и пробормотал:

– Нормально... – и повторил, крикнув в щель: – Всё нормально, Майк.

– А то я уж сам туда собрался, гляжу – тебя долго нет, думаю – расклад не тот, – забубнил хозяин, – надо выручать...

В магазине что-то грохнулось и рассыпалось со стеклянным звоном. Майк зычно выматерился. Ник провёл языком по губам, слёзы и кровь оказались похожими на вкус. Снаружи, кряхтя и ругаясь, Майк собирал что-то с пола.

– Да! – вспомнив, буркнул он. – Твоя Миранда звонила, номер свой оставила... Чёрт, куда я записал-то... вот ведь... Погоди, сейчас найду!

В подсобке рассвело. Мещерский, глупо улыбаясь, сполз на пол и хотел крикнуть, но сумел лишь сипло прошептать:

– Майк, милый, не ищи, у меня есть, есть, есть.

Татьяна ГРАУЗ

солнечное

а душа моя
будто на цыпочки встала и тянется
тянется к тоненькой свечке
медовой и солнечной
лёгким и тающим – «благодарю»

***

спускаясь по лестнице
вдыхаю свежесть побелки
(как в детстве когда-то)
и радуюсь
выйду на улицу пятилетней

***

в воздухе будто осколки цветного стекла
спорят о чём-то
мужчина и женщина

***

волосы
скрутила тугой зелёной резинкой
и будто забыла о счастье
когда распущу
может – вспомню

Сияет

мне кажется в окне сияет что-то
и тополь старенький как будто ожил
и дальний свет опять как будто ближе
и будто плачет что-то
в лёгком смертном сердце

Татьяна Грауз – поэт, эссеист. Родилась в Челябинске. Окончила Первый московский медицинский институт и театроведческий факультет ГИТИСа. Живёт в Москве. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Воздух», «Дети РА», «Комментарии», «Интерпоэзия», сетевом журнале «Окно» и др. Автор книг «Пространство Иного» (2004), «Они прозрачнее неба» (2005), «Лес-Озеро-Сад» (2007).

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

БОЛЬ ГЛУБИНЫ

ласточка

Ласточка перламутровая
кружится над Вердоном
над каньоном зеленым
над Вердоном бездонным

Кружится
из воздуха выхватывает то
что не видит никто
не слышит никто

Тени форели
тени мечты
боль глубины
боязнь высоты

Сколько кувыркаться ей
сколько виться
над купинами
спеющей шелковицы

Ласточка перламутровая
чиркает как звезда
ищет гнездо
не находит гнезда

Свежая из полета
падает в Стикс
ласточка окстись
хотя бы простись

Где-то на севере
ледяная Рона
спрыгивает
с ледникового трона

Рафаэль Шустерович родился под Москвой в 1954 году. Окончил Саратовский государственный университет, в настоящее время живет в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). Публикации в журналах «Волга», «Иерусалимский журнал», «Крещатик», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Северная Аврора», «Зинзивер» и др.

Перескакивает
через порог
мост закатывает
в железный клубок

Дождь над ущельем
идет привычный
липовый маковый
шелковичный

Звёзды паломников
гончаров и прях
между склонами
распятые на цепях

Шествие с охапками
медового дрока
от срока до срока
пока одиноко

XI. 2009

***

Бог, оставивший эти места,
Ничего ему больше не надо.
На ладони лежит темнота
Тяжелее, чем кисть винограда.

Эта тяжесть не в меру черна,
И не в меру уместна бравада.
На ладони лежит тишина
Тяжелее, чем кисть винограда.

III.2012

карта

I

Тяжелая карта уходит на дно,
ей там неуютно, темно,
за нею, будто пытаясь спасти,
с обрывком снастей в горсти
команда спешит в бирюзовый ад.
Стремителен листопад
меди и олова. Сломан крен.
Жгучи ласки мурен.

II

Сгинуть, чтобы никто не узнал,
откуда берутся янтарь, металл,
гнутые бивни, стекло, вино, –
на дно, туда, где темно.
Слитки в форме воловьих кож
вымостят вход, который похож
на раскаленный закатный грот –
только наоборот.

III

Кожа, отматывай ремешок,
ночью дорог каждый вершок,
проволокой теплой, еще живой,
холм оплетай, конвой.
Здесь будет гавань, а здесь – совет,
юной волчице испортят обед,
вот арсенал, хранилище книг, –
новый город возник.

IV

Дабы заняться пшеницей, скотом,
всяк да продаст городской свой дом
и не оглянется на огонь –
так поучал Магон.
Пришлые скажут: очаг, остынь,
и отщипнет боевая латынь
только от этого пирога
сломленного врага.

VIII. 2007

пробуждение

Нет, то не соловей, не дрозд, не жаворонок,
не иволга и не щегол, не славка.
На ветке сна небрежная булавка.

Пока внизу по доблести тоскуют,
в обжитом воздухе своё толкуют
пернатые комочки. Между тем,
пометом отмечаемы и гамом,
подонки Ромула к сабинянам упрямым
иль тускам циминийскими лесами
сплоченно движутся, не зная языка.

И музыкой наклеванные сферы,
не годные ни для какой карьеры,
кружатся за окном перед рассветом,
и ты уже прислушиваешься.

V. 2010

эвклидово

Владимиру Потапову

При помощи циркуля и линейки
Построим парки, аллеи, скамейки,
Проложим сизые рельсы трамвая,
О шпалах замызганных не забывая,

Начертим проспект с перспективой взвоза,
Строение бывшего совнархоза,
Красильню Ляминой и партшколу,
Кирпичный барак, где учат глаголу,

Начертим брусчатку, фасады, заборы,
Багровые фуксии, хмурые шторы,
Наметим авоську за переплётом –
Желёзку, прилипшую к пепельным сотам,

Проявим закрашенные веками
Ворота с чугунными завитками,
Решим заковыристую задачу,
Покроем заветную недостачу.

Но главное – тени, чтоб тени не смели
Скрываться за пятнами акварели,
Чтоб кто-нибудь их обращаться заставил
По правилам всех начертательных правил.

Огнём и мечом. Свищите, ищейки.
Приёмы циркуля и линейки.
Штриховка, отмывка и растушёвка...
Ты всё упустила, память, дешёвка.

VIII.2011

игры

Штандер,
разумеется, штандер,
вот что из снов,
не смущаясь, берёшь.
Штабель,
разумеется, штабель
досок пахучих,
где скрывается ёж.

Тополь,
разумеется, тополь,

тополь на сердце,
ветла у ручья.
Тонем,
разумеется, тонем,
ты в своей лодке,
и в лодке я.

Воля,
разумеется, воля.
Предположения
безвозвратно верны.
Волга,
разумеется, Волга,
опалесцентная
вена весны.

V.2012

перформанс

Йозефу Бойсу

этот лётчик падал с неба
прямо в крымскую пургу
рана лютая краснела
на лавандовом лугу

войлок сало сало войлок
бред тевтонских октябрят
первобытный мёрзлый творог
из которого творят

так пикируют икары
молодёжных мелодрам
и бэкграунд вечной свары
вырывается из рам

степь огонь лепёшка камень
камень войлок степь огонь
кто прикован кто прикаян
кто пылает только тронь

снись юнцу снежок уютный
спесь спасённого гонца
снег уютный свет попутный
пепла жидкая грязца

X.2012

Сергей РЫЖЕНКОВ

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ +

*Записки о том, что было самым важным, и оттого, что безвозвратно ушло, важности не потеряло**

КОННЫЙ БОЙ, СЛОН, КОЗЕЛ И ЧЕХАРДА

Однажды ехал он, весной, на богомолье
В рыдване золотом — и по пути, на всполье,
Заметил мальчиков, игравших в чехарду...

И, видя в первый раз, как смерды забавлялись,
Дивился мальчик-царь: и он играл в саду
С детьми боярскими, но те не так смеялись.
Петр Бутурлин

На песке. – Конный бой: кони и всадники, схватка. – Слон: сцепка, запрыгивание, 10 шагов. – Козел: стойка, прыжки (от Здорово, козел до шпор), забивание козла. – Чехарда: искрящийся дракон.

Во дворе в начале склона год за годом нарастает песочная площадка. Свежая куча песка постепенно уменьшается, растекаясь вокруг себя. Появляется новая – и тоже постепенно расползается. Зато вокруг образуется мягкая подложка под прыжки и падения. В какой-то момент она занимает почти полсклона. Это место так и называется: «на песке». Тут можно рисковать в сто раз больше, чем на твердой земле, и в сиксильон раз больше, чем на асфальте, когда прыгаешь и падаешь. Прыгаешь через здоровенного козла, запрыгиваешь на настоящего слона, падаешь с коня, вышибленный противником из седла.

Конный бой

Маленький, то есть тот, что полегче, и поэтому его проще на себе возить, запрыгивает на спину *большого*, который руками поддерживает маленького за ноги. Руки, если их хватает, большому лучше замкнуть замком. Две таких пары сходятся. Надо вышибить всадника из седла или свалить его вместе с конем. Проигрывает пара, всадник которой первым касается земли. Если собирается много народу, то устраивается турнир с выбыванием проигравших. Пробовали и командой на команду. Но после выбывания одной пары из команды сражение можно считать законченным: одна пара против двух, атакующих сразу спереди и сзади, бессильна.

Главным в паре может быть и всадник, и конь. Слабому всаднику помогает побеждать конь, который может кружиться вокруг противника, уклоняться от нападений, устраивать ложные наскоки, а при захвате его всадником чужого – просто держаться ногами за землю или, напротив, так крутануться на месте или нажать на противника, что тот не выдержит. Может и ловкий всадник на слабеньком коне запросто справиться с врагом. Для этого нужны быстрые цепкие руки, чтобы дерганьем и толчками расшатать соперника, а потом решающим движением уронить его. Пусть и сам свалишься, но – секундой позже.

* *(Окончание. Начало см. «Волга, 2012, №11-12)*

Идеальный вариант – это мощный подвижный конь и юркий всадник. Когда сходятся такие пары, то все может решать выносливость. Кто меньше выматывается в долгой и тяжелой схватке, тот и побеждает. Слон на Го́ре, Дудик на Лобане – это как раз то. Кульку и мне приходится бывать и конями – для Тетёни, младшего Багаева, и всадниками – на больших пацанах.

Хватать чужого коня нельзя – цепляться можно только за руки, шею, плечи, грудь и ноги всадника-соперника, можно его и толкать. Захватывать одежду тоже нельзя: рвется на раз, проверено. Еще всаднику запрещается дрыгать ногами и лягаться, выпрямлять их, чтобы таранить.

Всадник и конь постоянно переговариваются, чаще всего это простые команды и предупреждения: направо, налево, пошел, сзади и т.п.

Высший класс – выпрямиться после разрыва взаимного захвата, когда кони оказываются спиной друг к другу, а всадники, сцепившись руками, висят параллельно земле. И вот после разрыва одному удается выпрямиться и снова оказаться в седле, а другой беспомощно тыкается руками в песок. Ценится и умение закружить противника так, чтобы схватить всадника сзади или закружить уже захваченного противника до того, что ноги у коня заплетутся, и он потеряет равновесие. Здорово и просто с короткого разбега боком врезаться в другую пару с такой силой, что конь не устоит – заковыляет и повалится. Или наоборот – уклониться от такого нападения и еще успеть подтолкнуть, чтоб точно свалились.

Правда, обычно все проще: налетаем друг на друга как придется, а дальше – кому повезет.

Слон

В *слона* получается играть не часто. Трое на трое не так интересно, как четыре на четыре, а тем более пять на пять. А собрать 8–10 человек трудно, потому что большие пацаны в слона с нами играть не могут, так как они тяжелее, и выйдет нечестно. А если договариваешься, кто на кого прыгает, то это скучно. Малышня и девчонки тоже не подходят для слона, потому что их как-то жалеть нужно – и тоже фигня выходит. В общем, должны почти все пацаны примерно нашего возраста выйти. При этом Рябчик дальше второго не прыгнет, а Тетёню, да и Кузю с Васильевым Лобан запросто сломает, если на них сиганет.

Загадываются, как и во многое другое, Го́ра с Лобаном, примерно одинаковые по весу, самые тяжелые (не считая, конечно, Рябчика), я с Кульком или Дудиком. Ковалю, который между первой парой и нами по весу, приходится загадываться то с Васьком, который ростом ему по плечо, и зачисляется вместе с Рябчиком и Лёнчиком в три толстяка, то со Стасиком, который редко выходит, то с Тёплым, который старше всех, хотя вместе с Го́рой, Лобаном и Ковалем в одном классе учится.

Загадываются так (не только в слона, но и во всё, где команда на команду). Самые авторитетные игроки образуют главную пару, называются они *матками*. Остальные тоже по парам расходятся в разные стороны и придумывают, кем они будут. Например: «Ты – серебро, я – золото». Загадав, подходят к *маткам* и спрашивают:

– Матки, матки, чей допрос?

Кому золото, а кому серебро?

Потом одна из команд выстраивается слоном. Первый игрок встает раком, второй, приняв такое же положение, крепко обхватывает его живот руками, прижимая голову к его боку. Третий и четвертый, пятый, если есть, сцепляются таким же манером. На кону возникает слон: четыре-пять переходящих одна в другую спины. Стандартный прикол: первый вытягивает вперед руку – это хобот, последний рукой изображает хвост – чтоб со стороны все могли убедиться, что это настоящий слон.

Наездники из другой команды должны поочередно прыгать на слона и удерживаться на нем, когда он пойдет. Пройти нужно, после того, как все запрыгивают, не разгибаясь, не расцепляясь и не падая, 10 шагов. Обычно все громко считают: «Ра-а-з! Два-а-а! Три-и-и!»... Если это получается, то команды меняются местами. Впрочем, неудачный прыжок одного из наездников приводит

к тому же. Первый прыгнувший запросто может пролететь всего слона и оказаться на песке или кто-то неудачно сядет на спину слона и сползет или свалиться на землю. Часто, когда все уже оказываются на спине, возникает крен, и слон начинает заваливаться, но прежде, чем он упадет, кто-нибудь из наездников касается земли. Кроме того, бывает, что после первого неудачного прыжка тем, кто прыгает за ним, остается всего полторы спины, и если двое нижних выдерживают троих, а то и четверых верхних, последнему прыгать некуда. Правда, иногда специально прыгают вдвоем на одного: нужно, чтобы прямо на тебя, прижавшегося к спине слона, распластавшегося на ней, прыгнул следующий, чтобы вдвоем сесть на одного, рассчитывая, что он не выдержит.

Иногда договариваемся, что слону разрешается трясти, то есть раскачиваться во время движения, пытаясь сбросить с себя седоков. Но чаще играем без этого.

Прыгнувшему нельзя перемещаться по слону – он имеет право только на крепкий захват любой части: груди, головы, шеи (но не горла), живота. Охватывать ногами не разрешается – ноги можно только поджимать. Прыгнувший может сидеть на слоне, но когда тот пойдет, ему всё равно придется лечь и ухватиться за него. Поэтому обычно, оказавшись после прыжка на месте, распластываешься и пытаешься покрепче ухватиться. Когда слон плотно сцеплен, это не так просто сделать. Если кто-то из слона на любом из этапов – будь то после первого прыжка, будь то на девятом шаге – падает, отцепляется или выпрямляется, упирается руками в песок, то снова *мается* та же команда.

Прочность сцепления слона позволяет даже слабенькому выдержать двоих – только крепко держись за сильного и чтоб поддерживал игрок сзади. Важно выстоять и дойти, но не только: надо еще уши беречь, потому что подошвами кед и сандалий поджавшие ноги наездники по ушам иногда ездят, не специально, а просто так получается. Бывает, когда ты в слоне, кажется, и ногу поднять не можешь, чтобы сделать первый шаг. Но вот первый двинулся, и каким-то чудом переступаешь и ты. Ноги начинают дрожать, в натуре, и хочется сбросить груз, но все еще идешь. Не знай, что обидней, когда из-за тебя слон сломается или если кто-то другой не выдержит. В первом случае понятно: хоть и ты виноват, но это из-за непосильного груза. А во втором, если тот, кому полегче, падает, злишься, но и радуешься, конечно, что не ты подвел (а заодно, что дальше нести неподъемную тяжесть не надо).

Если Го́ра или Лобан начинают высоко прыгать на самого слабого в слоне, то слон сразу ломается. Но это всем и им самим быстро надоедало, потому что хочется не просто маять, а прокатиться, особенно все десять шагов, даже если потом самим вставать в слона. Поэтому и такой вариант, и двое на одного, хотя и приносят победу, но редко используются – для понта, скорее. И без того всем правильно прыгнуть, сделать прочный захват, а слону не рассыпаться и пройти весь путь редко удается. Да и игра никогда сама по себе не заканчивается. Всегда что-то случается, после чего все понимают, что лучше стопорнуться: кому-то по уху или коленкой по тыкве лихо заедут, кто-то с прыжка вбок уйдет и шмякнется не поймешь как, так что ногу подвернет, или рука отклеится, как у Слона, который, чуть ли не в первый раз играя, так руку вывернул, что она у него повисла, как плеть, после чего он в игру-тезку – все над этим подкалывали – больше никогда не играл.

Козел

Козел – главная игра на песке. Редко, когда в нее народу мало. И с третьего, и с желтого дома пацаны приходят.

Козла – мающегося – и очередность прыгающих определяют чаще всего коном простой *чехарды*: первый, кто ошибается, становится козлом, а потом идет розыгрыш очередности. Другой способ – просто прыгнуть в длину с места двумя ногами: кто ближе всех – мается. А если козел шел сплошняком, день за днем, то маялся тот, кто вчера оставался козлом, когда игру заканчивали.

Для игры хватает четырех-шести человек, но лучше, чтобы с десяток хоть. Козел становится на кон раком и через него поочередно прыгают. Не сумеешь перепрыгнуть и застрянешь на спине козла, ошибешься в порядке действий или в самом действии, нарушишь очередность – становишься козлом сам, и начинается новый кон.

Последовательность прыжков год от года, а иногда и от игры к игре менялась, но две вещи были обязательными. Козел встает на кон, прыгающие выстраиваются в очередь шагах в семи-десяти от него. И начинают с двух простых, с опорой на обе руки, прыжков, во время которых надо сказать: «Здорово, Козел!» и «До свидания, Козел!» Первый прыжок делается по ходу движения, второй – с головы козла.

Затем идет серия прыжков, в которых руки превращаются в пыточные орудия:

вилочки – во время прыжка опираешься на спину козла пальцами, растопырив пятерню;

ножички – прямые ладони должны впиться кончиками пальцев, как ножи, в спину козла во время прыжка;

ложечки – ладони складываются лодочками, громкий хлопок – признак класса;

кулачки – опора во время прыжка на два кулака, можно с вращеньем, но не бить;

грабельки – царапающее движение против хода кошачьими лапами;

трактора – руки складываются замком, и получившиеся гусеницы во время прыжка проезжают по позвоночнику;

капусту ***рубить*** – ребрами ладоней надо трижды ударить по спине.

Каждый прыжок (кроме, само собой, тракторов) можно исполнять, как *капусту рубить*, то есть на три счета, но это не у всех получается. При этом особый шик в том, чтобы первый удар приходился по жопе, а уже потом два шли по спине.

Последняя часть включает три прыжка, два из которых самые сложные. Сначала повторяются в измененном виде два первых прыжка (*Здорово, Козел!* и *До свиданья, Козел!*). Первый: надо просто перепрыгнуть козла, с опорой на руки или, что классней, без, выкрикнув в полете: «В Америку за золотом!» Второй: прыгаешь через козла с головы так, чтобы хоть чиркнуть своей жопой по его, а лучше – сесть на поясницу и съехать с нее по жопе козла как с горки. Козел при этом почти неминуемо заваливается назад. Почему именно так? Объясняется просто. Прыгая ты кричишь: «Из Америки с золотом!»

И наконец, *шпоры*. Не всегда обязательно прыгать, для слабых игроков допускается просто дать козлу поджопник (естественно, не сильный, потому что попробуй Тетёня или Рябчик даже кого-то из нас, не говоря уже о пацанах постарше, приложить). Но для опытных это западло. Правильные шпоры делаются так: во время обычного прыжка ступней пришпориваешь козла. Если пролетаешь, даже не чиркнув, или, напротив, во время удара тебя разворачивает и ты валишь козла, то сам становишься на кон. После этого, если никто так и не ошибется, что бывает не часто, начинается новый кон с тем же козлом.

Но существует и более суровый вариант окончания кона: козла забивают. Вчетвером за руки за ноги берут одного из игроков. Разумеется, те, кто забивают, должны быть покрепче, а тот, кем забивают, наоборот. Его раскачивают жопой вперед и ею же ударяют в жопу козла. Если тот устоит на месте – выбирается новый козел, если падает, делает хотя бы шаг вперед (впрочем, часто один-другой шаг считается, что устоял) или выпрямляется, то остается маяться.

Стоять козлом надо уметь: так, чтобы тебя не слишком помяли и в то же время не нарушая правил, а главное – чтобы помогать прыгающим ошибиться. Правильная стойка: голова максимально пригнута вниз (если забудешь, напомнят: «Голову в карман!»), ноги прямые – через высокого козла труднее прыгать, особенно маленьким, спину лучше держать округло, выгнутой, упор в колени ладонями, но при этом локти не выставлять. Когда стоят с согнутыми коленями, опираясь локтями на середину бедер, то маяться намного дольше. Прыгающие следят за тем, чтобы козел во время прыжков не приседал, это самое опасное, потому что можно лихо пролететь, а если при этом еще зацепишься, то тыквой можно воткнуться в землю. Когда козел внезапно подраспрямляется, это не так опасно – просто воткнешься в него, но маяться он продолжит.

Козел может упасть под тяжестью прыгающего, но это считается в пользу прыгающего; однако если прыгающий козла сбивает, сильно зацепив, то это уже в пользу козла. Поэтому, маясь, надо всегда быть готовым грохнуться при зацепе.

Совсем строгий подход к правилам предполагает, что прыгающий после прыжка должен остаться на ногах, то есть не упасть и даже не коснуться земли рукой. Но на песке такое правило

не применяется, потому что если запретить падать, то все не так быстро будет, все будут долго готовиться к прыжку. А когда падать можно, все без остановки и пауз прыгают, падают, откатываясь в сторону, тут же встают, бегут, снова прыгают, часто почти без разбега.

Прыгающий всегда помнит, что сам в любой момент может стать козлом и на нем отыграется тот, кому он слишком сильные трактора сделал. Правда, одновременно хочется и рисануться – теми же жестокими тракторами или особо бравыми шпорами. Но вообще, при нормальной игре, если не начинают сводить друг с другом счеты, жестокость не приветствуется. Лихость – другое дело.

Прыгающие, естественно, разного класса. Асы над козлом буквально издеваются – и морально, и физически. Для начинающих главное хоть как-то перемахнуть, и если крутится все быстро, как мельница, и расстояние разбега сокращается, им становится очень трудно.

Морально прыгающие давят на козла, придумывая всякие обидные реплики, обыгрывающие его униженное положение. Забивания козла вообще стремятся избежать, и все серьезные козлы стараются отмаяться с помощью разных хитростей до того как. На тех, кто подходит, чтоб ими забивали, тоже надо давить. Только Тетёня, кажется, считал, что ничего в этом обидного нет, а только смешно. За других решают большие пацаны – только когда они играют с нами, козла всегда забивают, без них – очень редко.

В козла легко замаять, и часто, видя, что игра пошла серьезная, и подолгу мают середнячков, те, кто мало уверен в своих силах, выходят из игры, так как им, вдруг оказывается нужно обязательно домой или обнаруживается какая-то болячка – в этом случае можно было остаться и в безопасности смотреть, как мучают замаемого.

Самые неудобные игроки, не считая больших пацанов – Го́ра и Лобан. Прыгая, они буквально продавливают спину козла, а становясь козлами, что иногда случается, потому что любят понтануться, отмаиваются почти сразу, так как стойка высокая, и для многих просто перемахнуть трудно, а уж капусту порубить – вообще непосильно.

Именно в козла однажды получается помаять большого пацана – Серебрякова, с какой-то радости свирепствовавшего по ходу игры. Когда он встает маяться, мы все, кто остается к этому моменту в игре, не сговариваясь, стали жутко стараться. Играли без забивания козла, поэтому отмаяться можно только из-за ошибки прыгающих. Серебряков орет на нас, сбивая ногу, откровенно подсаживается при прыжке, но мы справляемся. Даже начинает жилить, пытаясь чуть ли не в полный рост встать. Страшно, конечно: он запросто может разобраться с каждым из нас, а может и со всеми сразу. И весело: совершается что-то необычное, мы переглядываемся, подбадриваем друг друга, зрители за нас болеют. Встать и выйти из игры просто так или надавав нам поджопников он не может, потому что позорно для него выйдет. Ну и мы понимаем, что скоро позорнее для него станет продолжать маяться. Харе́, надо завязывать, и только начинает темнеть, быстро все один за другим выходим из игры, на чем все и заканчивается.

Потом какое-то время Витёк мстит всем, кто его маял: поджопниками ни с того ни с сего, особо сильными *саечками*, ужасным бортованием в футболе, так что почти все оставшееся лето держимся от него подальше.

Кстати, это за ним всегда водилось. Он явно был сильней всех, даже, наверно, многих стариков, и среди больших пацанов пользовался авторитетом, а еще если к нему в команду в футбол попасть, то обязательно выиграешь, потому что отлично сам играл и всем подсказывал, что делать (орал, правда, но все слушались). Но он никому никогда не спускал, если его как-то задевали. Между собой мы его за понты стали звать Сериберико́в, а потом и вообще Се́ри-Бе́ри. (Это, кто не знает, из игры в *съедобное-несъедобное*, когда мяч тебе бросают и надо ловить, если что-то съедобное называют, и не ловить, если несъедобное; а что делать, если кричат «конфета сериберико́вка»?) Кто-то ему стукнул. И он как-то раз психовано совершенно нам сказал:

– Услышу, кто меня *так* зовет, голову оторву! – Как *так*, уточнять не стал. Ситуация, конечно, дурацкая, потому что никто не спросил: как *так*? Все молчат просто. Всем всё понятно, и ему это понятно. Кажется, первый раз я видел, как у человека рожа кровью наливается: не щеки краснеют, а вся морда от шеи багровыми пятнами идет.

Чехарда

В чехарду играем тоже на песке, прыгая по кругу по диаметру расползшейся песчаной кучи. В этом простом поочередном прыгании всех через всех (прыгнувший через три шага после прыжка сам встает в позу козла и, когда через него перемахивает последний из прыгающих, снова прыгает подряд через всех) есть свой кейф, хотя никто не выигрывает и не проигрывает. Клёво, просто когда всё четко и быстро получается, и прыгаем пока не устанем. А и промедлишь, споткнешься, свалишься – тоже ничего: получается отличная куча-мала. Ее даже иногда кто-нибудь специально организует. Когда, изредка случается, по всему двору прыгаем, то куча-мала как бы случайно всегда приходится на песок.

Пару раз прыгаем вокруг дома, по асфальту, без кучи-малы, само собой. А однажды кто-то предлагает зачехардить, когда уже стемнело. Мы всем двором сидим на скамейке и ящиках. Почти все большие пацаны, и мы тоже выстраиваемся от четвертого подъезда до первого – и понеслась! Стою, через меня прыгают, потом прыгаю я. Уже за угол, уже за дом сворачиваем. Шумно вообще, кто-то что-то вопит, кто-то свистит. И вдруг сразу раз в десять громче и вопёж, и свист. Выпрямляюсь, бегу, прыгаю и вижу: впереди всё в искрах у нас. Что за дела? Понятно только, что именно из-за этих искр кричат и свистят так громко. Тоже ору.

Прогуливающиеся парочки и просто прохожие в сторону шарахаются, ошалело смотрят на нашего искрящегося орущего дракона. Дом заканчивается, но не сворачиваем, а дальше, мимо шестого, к овощному прыгаем. Вглядываюсь: искры от ног летят, не ото всех пацанов, а от некоторых. За домом, где овощной, тротуар у́же, деревьев больше, а фонарей меньше – искры ещё ярче! До овощного допрыгиваем, останавливаемся. Булавин в асфальт копытом бьет – показывает, как искры делаются. Оказывается, к каблуку у него и у всех больших пацанов специальные подковки прибиты, титановые, говорят, они-то и искрят, когда ими об асфальт чиркаешь.

МАЙСКИЕ ЖУКИ

...И майских жуков наважденье.
Владимир Алейников

На второй полянке: бегаем и ловим, держим в банках. – У Волги: портовые против. – На третьей полянке: трясем деревья и собираем.

Майские вечера, где-то после десятого, недели две, мы проводим в парке у завода – на *второй полянке*, ловя майских жуков. На место приходим заранее – только через час, наверно, появляются первые жуки. Кто вперед всех увидит? Кто раньше всех поймает? Надо присесть и смотреть. Летают бабочки, прыгают кузнечики. И вот – ни с чем не спутаешь – прямо над травой, иногда выше, неторопливый полет, если близко – слышно гудение. Сам жук – размером со шмеля, но крылья у него жесткие, коричневые, брюшко светлее спинки и лохматое. Молодые – посветлее, старые – темные.

За жуком бежишь и, настигнув, сбиваешь его на землю и оглушенного подбираешь или сразу прижимаешь к земле. Можно и на лету поймать, но это трудней всего. Впрочем, в первом случае все тоже не очень просто: жук может упасть в густую траву, и пока его ищешь, он очухивается и улетает, а очухивается он, если не сильно задеть, быстро. Сразу прижать к земле только совсем низко летящего жука получается.

За первым жуком бросаются все вместе, хотя все-таки правильнее тому, кто его увидел, дать возможность его поймать, а остальным – дожидаться появления следующего. Как только начинает чуть смеркаться – следующих появляется сразу много. Тут начинается уже, кто меньше упустит. Своего жука – так часто и кричим, показывая на него: «Это мой!» – упустить можно запросто: жуки, почуяв преследование, ускоряются, резко сворачивают, меняют высоту – высоко поднимаются и прячутся в ветках деревьев или наоборот – в траве.

Иногда бегать за жуками не надо – они сидят прямо на листьях травы или даже на тропинках. По мере того, как темнеет, жуков видно все хуже. Но зато их теперь больше, и можно ловить буквально не сходя места: просто ждать, когда в тебя ударится жук или, услышав гудение, махнуть рукой.

Пойманных жуков собираем в спичечные коробки. К концу ловли смотрим, у кого больше, кто поймал самого здорового или, наоборот, самого маленького и светлого жука. Жуков приносишь домой, где уже в литровой банке с землей и травой копошатся пара-тройка десятков. С каждым днем они становятся медленнее, потом цепенеют, несмотря на траву и хлебные крошки, которые им подсыпаешь. У живых жуков, когда их много, пластмассово-резиновый запах. Иногда его можно почувствовать, особенно после небольшого дождя просто в некоторых местах на *полянке*. Мертвые жуки пахнут так же, только не пахнут, а воняют.

Жуков ловим вместе – пацаны и девчонки. Иногда полдвора собирается, но чаще – кучкой в пять-шесть человек.

Помимо полянки жуки ловятся еще *у Волги* – так называется вся дорога от нашего поселка до Волги, вдоль оврага, между ним и аэродромом. Там деревьев почти совсем нет, а жуков больше, чем на полянке. Но там почти неизбежно встретят пацаны с соседнего микрорайона, с которым наш поселок всегда враждует, или пацаны с порта, которые вообще на всех всегда выступают. Какое-то время я этого не знал, но одному мне туда совсем категорически было нельзя. И вот мать с кем-то из соседок стали туда ходить дышать свежим воздухом, и мы с Васьком, а пару раз еще с Ковалем там вместе с ними бывали – как раз на майских жуков. Один сезон все нормально. А на следующий год нам пришлось почти убегать под защиту наших взрослых, столкнувшись с кучкой портовых, потому что они почти сразу, даже особенно не выступая, перешли к толчкам и тычкам.

Есть вечера, когда жуков немного и фактически нечего ловить: за час-другой – один-два, и мы возвращаемся во двор. Но бывает, что жуки как сдурели – летают целыми роями. Сначала это интересно, но быстро наскучивает. И однажды вдруг оказывается, что существует место, где жуков всегда сразу очень много. Пацаны с жилучастка, который за заводом, ловят их на *третьей полянке*, ближней к ним. Там вдоль заводского забора идет аллейка невысоких вязов, еще прямых, со стволами в обхват детских рук, с лиственной шапкой, невысоко еще вознесшейся над землей. В этих шапках как раз и обитают жуки. Они там собираются, когда солнце уже начинает садится, и есть довольно короткий период, пока что-то еще видно, за который можно натрясти жуков столько, что они усеивают всю землю. Некоторые просто снуло валятся на нее, а некоторые лениво вспархивают и вяло летают вокруг кроны. Для них мы ломаем ветки и сбиваем их ими.

После открытия этого способа становится неинтересно ловить жуков, бегая за ними. Это открытие происходит в конце мая, и май следующего года оказывается последним сезоном ловли майских жуков. Мы уже не бегаем, а трясем деревья, сбиваем и собираем по стольку, что никаких банок не хватает. Что с ними делать? Набрав банку, отпускаешь. Кто-то пробует давить подошвами, но никакого кейфа в этом нет, а даже наоборот. Кто-то предлагает наливать в банку с жуками керосин и поджигать их – но где его возьмешь?

А ведь как до того ждали сезона! Уже в начале мая кто-то обязательно врал, что поймал. А однажды мы додумались покопать под деревьями в апреле. Там обнаружилось множество противно жирных лиловатых личинок, а несколько уже почти совсем превратились в жуков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И БАСКЕТБОЛ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО

Белый шарик скок-скок
Михаил Ромм

...Ты высоко подпрыгиваешь и, не опускаясь, бросаешь мяч в корзину, и когда из жадной твоей руки мяч, не касаясь ободка, пролетит через сетку, вот тогда ты почувствуешь удовлетворение.

Василий Аксенов

Пинг-понг на бетоне. – Теннис большим мячом, или вокруг стола: воображаемая сетка, крученые подачи, сопля, невыняемые, финалы. – Пожарная лестница: баскетбол, броски и броски с загадыванием. – Синие столбы: от установки до спиливания.

В обычный теннис, в смысле пинг-понг, играем тоже – но именно тоже. Когда появляется стол (напротив второго подъезда, за клумбой), сначала, хотя и с большим трудом, удается в ЖЭКе брать сетку, а ракетки кой у кого есть. Но, во-первых, сетку дают только большим пацанам – паспорт в залог, а какая им радость брать ее на всех? возьмут, сами поиграют, совсем немного нам дадут и возвращают. Во-вторых, надо, чтобы кто-то ответственный за выдачу инвентаря находился на месте в ЖЭКе, что случается редко.

Потом, когда на сетке появится грязь и она вообще пообтрепется, давать ее практически перестанут. Играть без сетки не очень интересно. Тем более что стол для игры в нормальный теннис не подходит: он явно выше нормы чуть ли не на четверть, так что при нашем росте край стола находится на уровне груди. И стол железный: уголочная арматура поддерживает залитую бетоном металлическую столешницу. Просто удариться о такой стол, а тем паче напороться на угол – почти смертельный номер.

Теннис большим мячом, или вокруг стола

Из-за нехватки инвентаря и нестандартности стола как-то само собой получается, что начинаем играть мячом по правилам настольного тенниса. Появляется название *теннис мячом.* Мяч большой, сетка воображаемая. То она туго натянута, то совсем обвисает, но отсутствие реальной сетки не значит, что мяч можно хоть катить по столу. Все эту сетку видят.

Подают, закручивая мяч вперед. С такой подачи – в угол и резко – легко выигрывается очко, или мяч возвращается удобно под глушение. Можно закрутить и на, а не от себя, и тогда, если все получается, мяч ударяется на твоей половине, по инерции перелетает через воображаемую сетку и, ударившись о стол на чужой стороне, вдруг никуда дальше не летит, а то и возвращается назад. Отбивать можно двумя руками, а глушить – только одной. Четко глушануть, повесить *соплю,* достать *невыняемый,* бросившись за мячом, после того же глушения пролетевшим над головой, и кулаком через себя возвращая на стол, или успев почти с земли поднять соплю, – важнее, чем выиграть, тем более что без этого и выиграть чаще всего нельзя.

Обычно играем не вдвоем, а больше, и не двое на двое, а каждый за себя, причем и всемером и даже больше. Как? Бегая вокруг стола. Так и стали говорить: «Давайте *вокруг стола!*» Подав с угла, бежишь на другую сторону. Принимающий отбивает и тоже бежит на другую сторону. Следующий принимающий, отбив, также устремляется дальше. Ты после подачи уже на другой стороне, и либо дожидаешься своей очереди – при игре всемером и больше, либо должен успеть сразу отбить при игре втроем-вчетвером. Не успевший отбить или успевший, но промазавший, выбывает.

Самое трудное – втроем. Если игроки подбираются серьезные, то розыгрыш идет долго. Поэтому из-за быстрого бега по кругу иногда и закруживаешься – почти как при кружении волчком. Наконец, остаются двое и, уже не бегая, разбираются между собой по полной программе: до 21-го. Победитель начинает новый кон и получает дополнительную *жизнь.*

Чаще всего в финал попадают Лобан, Го́ра, Курган, Коваль или Дудик, но иногда Кулёк или я, правда, выиграть финал ему или мне удается редко.

Если же в игре участвуют большие пацаны и старики, всё совсем по-другому. Они разбираются в финале друг с другом. Впрочем, даже мне удавалось выходить в финал аж против Буланова. И, разумеется, я проиграл почти с «баранкой». Можно было бы и получше сыграть. Но, с одной стороны, все уже заранее ясно, а с другой, попасть в финал, когда играют большие пацаны и старики, – это уже как победа, и в финале больше смотришь на пацанов, как завидуют, чем играешь. Поэтому и мяч летит не туда и отбивается как придется. В самом проигрыше ничего обидного нет, а вот на себя я тогда, после игры, обиделся. И когда следующий раз попал на Булавина в финале,

то, поняв, что тот совсем меня за противника не считает, собрался и даже сначала повел. Тут он вынужден был перестать пытаться делать меня одной левой, поднапрягся и, конечно, выиграл – но всего пару очков. И все же видели, как ему пришлось отыгрываться, как всё на полном серьезе пошло!

Со временем у нас появляются конкуренты. Вечерами за стол встают лотошницы (за столом у березы мужики режутся в карточного козла или забивают козла доминошного). Бывает и так, что на одном конце лотошницы, а на другом мужики-доминошники. Это значит «поиграйте во что-нибудь другое». Самое смешное, что их можно под это дело на край стола сместить так, чтобы торец, который на клумбу смотрит, стал футбольными воротами. И ничего, никто из них особо не дергается, приговаривают лишь: «Только колотите потише».

Мяч + пожарная лестница = баскетбол

Играем на площадке у пятого подъезда, кольцо – нижний пролет пожарной лестницы, на высоте поднятой руки взрослого, ну, может, чуть подпрыгнуть. То есть кольцо прямоугольное и располагается в вертикальной, а не в горизонтальной плоскости. По вышине мяч проходит почти впритык, ширина – мяча в полтора. Ближайшее окно – больничное, и нас гоняют только Доценки из следующего окна, но это случается редко.

Играем, разумеется, в одно кольцо, но для того, чтобы очки засчитывались, нужно, защитившись, отвести мяч и забивать уже в своей атаке. Никакой разметки на асфальте нет: ни границ поля, ни трехсекундной зоны. Водимся безо всяких границ (кроме стен дома), хотя иногда договариваемся, что за *колонкой* (канализационным люком) не играем. Штрафные пробиваются с семи обычных или с пяти больших шагов. Впрочем, штрафные пробиваются редко. Как ни странно, играем совсем не грубо, наоборот, потому что считается, что владеющий мячом – неприкасаемый, его нельзя трогать, и не трогаем. Штрафные чаще всего за удар по рукам при попытке отнять мяч на ведении.

При двойном ведении, при попадании в стену за «кольцом» или в боковую стену, при пробежке мяч передается другой команде. Выводим его обязательно от стены или от дерева, то есть коснувшись их мячом. Играем резиновым или надувным волейбольным мячом (тут к неровностям асфальта при ведении прибавляется еще шнуровка). Двое на двое или трое на трое, без судьи, естественно. Случается, и полными командами. Бывает, один на один.

Дудик ходит в баскетбольную секцию, водится и бросает, будто нас никого и нет. Когда загадываемся, он и Лобан, который выше его на полторы головы и выше всех на голову, – *матки*. Против Лобана под «кольцом» ничего сделать нельзя. Коваль точнее всех бросает издалека и пасует. Команда, в которой два *основных,* всегда выигрывает. Из больших пацанов играет только Генка Косой, реже Никон. Может, потому что оба из пятого подъезда? Другим не то чтобы западло, но неинтересно – они просто здорово выше ростом, даже немного выше Лобана. Но Косой – он на то и Косой, что косой. Он, конечно, лучше играет, чем его младший брат Тетёня, но всё равно по «кольцу» не попадает. Васёк, Рябчик, Тёплый, Стасик, как и Тетёня, только для численности. Их легко обвести, у них легко отобрать, попадают редко. Го́ра, Кулёк, Слон (который играет нечасто) и я реально чем-то можем помочь основным. Из девчонок играет только старшая Палашенко, она с Коваля ростом и какой-то гимнастикой занимается. Либо Кулёк, либо я иногда загадываемся с ней.

Отдельный номер – просто бросать по кольцу. Это значит бросать по очереди с какого-нибудь расстояния, или под определенным углом, или комбинацию из разных бросков, всё – до двадцати одного: прямо и с боков издалека – по три очка, то же со среднего расстояния – по два, сблизи – по одному и сблизи один раз через голову спиной к кольцу – три очка. Могли договариваться, что сгорают, если не проходишь всю серию. Не попал – отдаешь мяч следующему. Попал – бей снова.

Но можно бросать *с загадыванием* – это чтоб твой бросок повторил следующий за тобой. Не сумеет – следующий. Если никто не сумеет – ты должен повторить сам. Тот, кто повторит, вклю-

чая загадавшего, загадывает сам. И снова по кругу. А если три круга никто не может повторить, загадывается новый бросок. Обычно загадываются простые издалека; сблизи или со среднего через голову спиной к кольцу – чаще глядя, то есть запрокинув голову так, чтобы видно кольцо, реже не глядя; сблизи лицом к кольцу, но не глядя, то есть зажмурившись; крюком; из-за спины; с острого угла; козлом – встав козлом жопой к кольцу, мяч бросаешь между ног; лежа – ногами в сторону «кольца» или наоборот; с ведения, иногда необычного – с поворотами, с пропусканием мяча между ног; с левой руки; с прыжком; от стены с обратной стороны; в прыжке с толчком ногой от стены; во вторую, третью, четвертую «дырку» – пролет лестницы.

У каждого свой коронный бросок. Дудик водится так, что никто повторить не может. Лобан в прыжке сбоку или выпрыгивая из-под лестницы вкладывает мяч прямо в «кольцо». Коваль бросает дальние и с угла. Я – назад через голову. Были попытки, чтоб повторялось буквально всё, что до броска, не только ведение, а и рожи и подпрыгивания, но по-настоящему загадываем только сами броски и ведение. Правда, и тут случаются извраты. Тёплый однажды засунул мяч под рубашку, разбежался, оттолкнулся от стены ногой, зацепился за нижнюю перекладинку, подтянулся, долез до пятой перекладины, пропустил в третий пролет ноги и, отпустив руки, повис вниз головой, после чего достал мяч из-под рубашки и вложил его за головой в ячейку. Никто повторять и не пробовал.

Как-то утром, посмотрев в окно перед тем, как выйти во двор, вижу, что двое рабочих в окружении пацанов роют лопатой яму в том месте, где ставятся кирпичи, обозначающие футбольные ворота. Рядом столб и что-то вроде крыши. Всё – синее-синее и блестит. Первая мысль: ставят очередной грибок, беседку или песочницу, крадя у нас несколько метров от футбола. Но пацаны не ругаются, а даже вроде готовы помочь. На другом конце, у клумбы, яма уже есть, и столб тоже лежит рядом с ней. То, что мне сначала показалось крышей, прибито к столбу, и арматурное кольцо в центре, над ним красный квадрат нарисован. Я и сам допираю, но тут же, когда выхожу, и объясняют.

Яма вырыта. Глубокая, по пояс, но узкая, в две лопаты. Теперь мужики втыкают столб. Рулеткой мерят высоту – до щита. Стали было закапывать. Один держит столб, другой засыпает. Стоп! Надо камнями уплотнить. Бежим собирать по двору камни – половинки кирпичей, выламывать опоку из фундамента когда-то стоявшего тут барака. Камней – земли – опять камней. А еще нужно следить, чтобы прямо стоял. Поставили один, второй. Мужики ушли, а мы стали осваивать настоящий баскетбол.

Неделю играем без остановки, с утра до ночи. Потом начинаем и просто бросать – теперь уже по настоящему кольцу, и бросать с загадыванием. Сетку должны выдавать в ЖКО, и сначала дают, но потом, как и теннисную, – фиг выпросишь. Кажется, так всё лето и играем только в баскетбол. Сбросились и купили за пятерку настоящий баскетбольный мяч. Приходят пацаны из третьего, из шестого, из желтого домов.

Когда в шестом классе стали играть в баскетбол в школе, в классе лучше меня никто не играл, но проигрываем «гэшкам» много, там Дудик капитан, и немного «ашкам», где длинный Пимен из желтого дома и Андрюха с того конца поселка из баскетбольной секции. Зато «бэшек», «дэшек» и «жешек» делаем по полной. На следующий год тоже иду в секцию. Выясняется, что я не знаю элементарных вещей: как, например, правильно бросать в корзину с двух шагов, как правильно вообще бросать. Осваиваю. Но дворовая манера как приклеилась – все немного не так: и эта полубоком стойка при броске, и движение правильное при нем же – будто помесь страуса с коброй изображаешь, и ведение, чтоб мяч к руке прилипал, никак мне не даются. Но и так, по-своему и забиваю, и обвожу, и распасовываю.

За мной еще двое пацанов из класса пошли – с того конца поселка, и в седьмом мы «ашек» делаем. В восьмом меня к ним за плохое поведение переводят на исправление, и я, даром что секцию уже бросил, организовал у нас защиту. Фактически у «гэшек» мы выиграли – одно очко. Но судья был за них и не свистел конец игры, пока «гэшки» не забросили. Как попали – сразу свистнул.

Взяли меня и за школу играть (среди восьмых классов) – но сидел в запасных. Выйду – и никак ничего: привык уже быть основным, а на подхвате – туго. Проиграли все игры, хоть Дудик был, были длинный Пимен и Андрюха, шустрый и хитрый Пономарь из «Е» и длинный новенький из «Д».

Спустя год после установки столбы исчезают. Обнаруживаются они – со спилом понизу – в подвале нашего шестого подъезда. Ясно, что это их дворничиха Колосова спилила и спрятала. Не сама, конечно, не одна. Помогли ей. Никто не видел – значит ночью. Мы сначала дергаемся, ругаемся с Колосовой, идем в ЖКО – никто ставить заново столбы не собирается. Произойди это сразу после установки, когда еще не наигрались, мы бы всех на уши поставили. А так... Изредка снова в пожарную лестницу бросали. А в основном в школе играли все, кто хотел.

НА СКАМЕЙКЕ И В КРУГУ: САДОВНИК, СЫЩИК–ИЩИ–ВОРА И ДР.

полузабытая игра
в садовника, где только и осталось,
что – ах! и – что с тобой? и – влюблена...
Гали-Дана Зингер

Всевышний сыщик в небесах
И чье-то воровство.
Иосиф Бродский

Садовник: цветы, фанты, кукареку. – «Колечко-колечко, выйди на крылечко!» – Испорченный телефончик. – Жучок. – Сыщик–ищи–вора: холодные, горячие и горячие со смазкой.

Садовник

Это игра с трудом выползла во двор. Она была большая и малоподвижная. Таилась до времени по квартирам, в том числе в нашей.

Собирается компания друзей и подруг старшей сестры. Сидят, треплются, Лёха попоет под гитару. И не всё же освободившуюся бутылочку крутить – вот и начинают в *садовника*. Иногда меня позовут. Дома со старшими – все эти незабудки с васильками, «влюблен», «фанты» быстро перестают казаться совершенно девчачьими. Тем более что не в словах дело, а в том, какие потом желания будут загаданы и как они будут выполнены.

Наверно, не только у нас старшие в садовника играли. Однако на улицу он как-то не вытаскивается. Представить себе, что сидим во дворе и этими словами разговариваем, трудно. Но все-таки однажды на столе у березы не очень уверенно начинаем. Может, то что вместе с девчонками, которые, как выясняется, эту игру знают, помогает не идти гусиной кожей, как бывает, когда стишок в школе с выражением кто-нибудь читает.

Подходят Лещинин и Никон. Сразу сбиваемся: что они про нас подумают? Но все нормально: оказываются, знают. Садятся тоже. И на полдня! Народу уже – нормальных цветов не хватает. Пацаны же не могут быть анютиными глазками или лилией, в крайнем случае – мак или ландыш. Признаем, что репейник и кактус – это цветы, потому что хоть и колючки, но ведь цветут. Го́ра, весь такой спортивный, с рожей, как у Гойко Митича и копируемыми у него повадками, говорит: «Я буду...» – и начинает ржать, остановиться не может, и ржет он тонким голосом, как будто его щекотят – он жутко щекотки боится, все это знают и иногда неожиданно щекотят, он тогда начинает вот также ржать и при этом орет, что убьет, если не перестанут, но орет одновременно со смехом, пискляво, и даже оттолкнуть того, кто его щекотит, не в состоянии. Наконец, с трудом договаривает:

– ...Фикус!

Я не знаю, и, наверно, не только я, как фикус выглядит, но это смешной цветок, а то, что именно Го́ра – фикус, еще смешнее.

– Я садовником родился,
Не на шутку рассердился,
Все цветы мне надоели,
Кроме ...

Затем следует название цветка. Роза, георгин или мать-и-мачеха отзывается:

– Ой!

– Что с тобой? – интересуется Садовник.

– Влюблен(а).

– В кого?

– В фикус.

– Ой! – отзывается Фикус

Так продолжается, пока кто-нибудь не ошибется. Ошибся – выбываешь и отдавай свой *фант* – предмет, который заменит тебя в следующей стадии игры. Садовник тоже может ошибиться и за это отдает фант, но из игры выбывает частично: в обмене репликами больше не участвует, а только произносит зачин. Ошибки такие: назвать цветок, которого в игре вообще нет или который уже выбыл, запнуться надолго, не ответить *«ой!»*, когда обращаются к тебе, перепутать или пропустить реплику. Побеждает тот, кто не ошибется.

Победитель садится спиной к остальной публике, а главное, к Садовнику, который берет по очереди фанты, в том числе свой и победителя, и спрашивает: «Что сделать этому фанту?» Народ видит, какой именно фант держит Садовник, но должен сдерживаться и не выдавать своей реакцией, какому фанту что придется делать.

Обычные пожелания: прокукарекать, залезть под стол (и прокукарекать), встать на одну ногу, ухватить себя правой рукой за левое ухо (и прокукарекать), спеть что-нибудь (без кукарекания), попрыгать на одной ножке (и пропеть что-нибудь или прокукарекать). На месте прокукарекать часто оказывается покудахтать, помычать, поблеять, поржать (в смысле по-лошадиному), поухать (как сова), поквакать, помяукать, погавкать.

Менее стандартные пожелания: перепрыгнуть через какую-нибудь преграду (кукарекая или крича *я дурак*, три раза), проползти под чем-нибудь (столом, скамейкой), просто прокричать что-нибудь (типа *я дурак*, три-пять-десять раз), гладить себя по голове приговаривая *какой я хороший*, рассказать анекдот, признаться кому-нибудь из играющих в любви, состроить рожу. Нельзя загадывать поцеловать кого-нибудь или сделать что-нибудь неприличное. И все равно кто-нибудь загадывает, вроде хохмит:

– Этому фанту показать жопу!

– Это нельзя! – кричим.

– Всем нельзя, а этому фанту можно!

Нельзя также загадывать ударить кого-то или сделать что-нибудь невыполнимое. Здесь в отличие от *бросков по кольцу с загадыванием,* что выполнимо, а что нет, определяется общим решением, а не тем, может или нет загадавший сам выполнить загаданное. Например, Лещинин, Генка Косой и Дудик могут стоять на руках и даже немного ходить, но загадывать они это не могут, потому что для других это невыполнимо.

Более редкие пожелания: позвонить кому-нибудь в дверь и убежать или дождаться, когда откроют, и спросить что-нибудь вроде «Федя дома?», хотя никакого Феди там точно нет (все стоят на площадке этажом ниже и слушают, как выполняется желание); снять рубашку, вывернуть ее наизнанку и снова надеть (так загадывающий может проверить, девчачий фант или нет); станцевать какой-нибудь танец (лезгинку, гопак и особенно танец маленьких лебедей), изобразить пьяного.

Высший пилотаж – соединить пожелания для нескольких или даже всех фантов в цепочку. Например, танцевать танец маленьких лебедей всем фантам, кроме трех последних, и замереть,

когда услышат: «Внимание, снимаю». Первому из трех последних напевать во время танца соответствующую мелодию, второму сесть на землю и, глядя на танцующих, хлопать в ладоши. Третьему – изобразить, что он их всех фотографирует, предупредив: «Внимание, снимаю!»

Садовник, раздавая фанты, напоминает, что кому делать: «Тебе прыгать, тебе кукарекать, а тебе кричать *я дурак*». Победителю самому что-то из этого выпадет. Вот и стремятся загадывающие по разным признакам определить, когда загадываются их фанты, чтобы что-нибудь полегче досталось. Иногда это удается – и это попадание вроде как чудо. Правда, когда у Слона и Кулька слишком часто получаться началось, то сразу ясно стало, почему. И правило стало, что все, а не только садовник, должны стоять за спиной загадывающего, чтобы никто заранее договориться не мог и подать знак-подсказку.

Наконец, по очереди начинаем кукарекать, кричать *я дурак* из-под стола или прыгать с него, изображая рукой пропеллер над головой и гудя, как вертолет...

Новый кон в качестве садовника начинает победитель предыдущего, а кто хочет, может изменить название своего цветка.

Колечко

Сидящие на скамейке складывают ладони лодочкой и поочередно подставляют их ведущему, который вкладывает в них свои, также сложенные лодочкой, ладони. Он ходит вдоль скамейки, и у него в лодочке находится *колечко*: заложка, монетка, пуговица, камешек или настоящее колечко. Никто не знает, кому ведущий положит колечко, – вкладывается оно незаметно. Ведущий, как правило, несколько раз обходит играющих, а потом неожиданно выкрикивает, отступив на шаг:

– Колечко, колечко, выйди на крылечко!

Те, у кого колечка нет, бросаются удерживать его предполагаемого владельца. Тот либо все-таки выскакивает, либо остается на месте, потому что соседи его держат. В первом случае он становится ведущим, во втором начинается новый кон с прежним ведущим.

Играем от мала до велика, на скамейке у первого или третьего подъезда, доставляя ее вбок ящиками из-под бутылок, девчонки и пацаны. Даже Танька Кожина и Наташка Волкова из третьего подъезда, которые очень редко когда во что играют, потому что самые красивые, хоть и разного возраста, до колечка снисходят. Эта игра тоже вроде должна считаться у пацанов девчачьей – из-за самого этого колечка. Но только сначала, когда попадаешь в эту игру, видишь в ней что-то по-девчачьи понарошно-придуманное, а еще – немного деревенское. Быстро становится понятно, что так это все только снаружи. Внутри это больше похоже на карты, особенно *веришь – не веришь* или доминошного *паука*, только картонные листки с картинками или костяшки с точками – это ты сам и твои соседи по скамейке (такой еще спектакль по телевизору есть, где люди – карты).

Ведущий начинает, поровну задерживаясь у каждого из сидящих на скамейке, и демонстративно поровну же слегка приоткрывая ладони в момент их вкладывания в лодочку других игроков (надо уметь, приоткрывая ладони удерживать колечко, как и наоборот, – вроде не приоткрывая, передать его). Все гадают: положил уже или нет? Потом ведущий делает заминку, буквально на миг, даже на полмига, когда вкладывает свои ладони в ладони очередного игрока. Это случайно? Или показывает, что положил, а на самом деле не положил? А может, он показывает для того, чтобы подумали, что только показывает, а сам все-таки положил? На втором круге ведущий может повторить заминку уже на другом игроке. Гадания усложняются.

Ведущий может всё делать молча, но чаще говорит что-нибудь. «На, держи», «Тебе – никогда», – то ли для смеха, то ли для маскировки. Подмигивает. С самими игроками тоже все не просто. Например, говорят шепотом: «Спасибо», – и поди пойми, подозрение отводят или просто так.

Можно вести игру быстро, медленно, то так, то эдак, проходить только полкруга, а то и вообще одного игрока, или 10 кругов. Можно сразу отделаться от колечка, а потом долго темнить, либо отдавать его перед самым вызовом. На скамейке все время идет расшифровка действий ведущего и соседей по скамейке. Обсуждают вслух, кого держать. Часто самым активным в этом

становится обладатель колечка, отводящий от себя подозрение по принципу «держи вора».

Как только ведущий, отступая на шаг, произносит «Колечко, колечко...», все вцепляются во всех, раскидывают руки, стараясь шлагбаумами перекрыть выход двум соседям справа и двум слева (если не на краю), либо заключают в замок одного-двух главных подозреваемых. «...Выйди на крылечко!» Произносится вся фраза быстро, и все происходит буквально в один миг. Вызываемый бросается вперед, отводя удерживающие его руки или разрывая плотный захват (но тут есть ограничения на использование силы, и если все считают, что перестарался, выход не засчитывается). Но бывает, что как раз его-то никто и не держит. Такой выход особо ценится. Вот он (она) какой (-ая)! Шлангом прикинулся (-ась)...

Дежурная хохма – вообще не отдавать кольца или незаметно подложить к нему еще одно-два. Можете представить, что происходит. Но это нормально, только когда редко, не больше раза за игру.

Естественно, в кутерьме достается – то по уху, то по носу или в глаз. И время от времени кто-нибудь из девчонок вскакивает и убегает. Редко не убегает, а обличает, открывая причину побегов: «А чё этот руки распускает!» Тогда из игры выкидывают виновника. А большая Валька из четвертого подъезда однажды замацавшему ее Теплому просто кулаком в рыло ткнула.

Испорченный телефончик

Это тоже скамеечная игра, но без выскакиваний. Бывает, в нее переходит колечко, когда оно надоест. Чтобы специально в нее играть, она явно не тянет. Но если весело пойдет, то играем долго.

Крайний на скамейке складывает руки рупором и так, чтобы никто, кроме соседа, не услышал, шепчет ему на ухо любое слово (существительное). Тот передает его дальше, и так до противоположного края. Последний произносит вслух то, что он услышал. Это может быть начальное слово или только похожее на него, а бывает абракадабра. Если слово передано точно, то последний переходит на другой край и придумывает новое слово. Всё повторяется. Если слово не то, то выясняют, кто кому что сказал, но это так, для смеха, никакого наказания за неправильно переданное слово не полагается. Все остаются на местах, и начинается новый кон.

Запускающий слово может завернуть что-нибудь такое, что не все знают. Тогда, например, инверсия легко обрубалась до версии. Самое обычное слово может запускаться неразборчиво или тихо, и тогда из земли вылезает змея, а происшествие заканчивается сумасшествием. Есть любители таких словечек, как гондола, мандат, шепот, крен и т.п., прыгающие от счастья, когда ожидаемое превращение случается. В цепочке почти всегда имеются и те, кто намеренно искажает слово, то есть фактически запускает новое. Это вычисляется, и требуем прекратить. Иногда слышишь что-то непонятное и стараешься дальше точно передать, что услышал, – так получается абракадабра, какая-нибудь *ртснтрилсть* вместо простой *предусмотрительности*.

Жучок

В кругу и на скамейке *жучок* – это будто разные игры.

Мающийся – жучок – становится спиной к остальному народу, поддерживая одной рукой другую, которой подпирает челюсть, под локоть. Именно туда следует снизу удар. Жучок поворачивается и видит перед собой вытянутые вперед кулаки с поднятыми вверх большими пальцами. Нужно угадать, кто ударил. Если не угадываешь, процедура повторяется. Если угадаешь, жучком становится тот, кто ударил.

Так вот, в кругу, как резко не поворачивайся, увидеть какие-то признаки движения ударившего почти невозможно, и приходится действительно угадывать. Если за спиной четверо-пятеро, угадывать можно долго. Но это как повезет. А то еще попадешь, как я попал, хорошо, что со своими.

Стою маюсь. Лобан, Го́ра, Коваль, Кулёк и Слон бьют под локоть. Никак не могу угадать. Поворачиваюсь – опять мимо. Стараюсь как можно быстрей крутиться и даже пару раз поворачива-

юсь, когда еще ударить не успевают. Спустя какое-то время они уже не лыбятся, вытягивая руку с большим пальцем, а ржут. Вот вроде успеваю увидеть, что второй слева Коваль руку еле успевает выставить. Значит, точно он! Фиг-два, говорят, не он. И бить под локоть сильней начинают, так что в челюсть здорово отдает, при этом еще и проверяют, чтоб правильно руку держал. Ладно, думаю, сильный удар сложней скрыть. Поворачиваюсь: Го́ра после сильного удара не успел нормально руку выставить и тыкнулся снизу в кулак Кулька. Тут все очевидно.

– Не-а, – говорят, – это Слон.

– Понятно, – говорю. – Ты, значит? – в глаза Слону смотрю, а они бегают. – Сговорились, гады.

Совершенно не понимаю, как такое возможно. Не потому что это нечестно, в играх бывает, что сговариваются, а потому что вроде друзья, а между друзьями так не положено.

Никто не начинает, что, мол, всё по-честному. Но, конечно, и извиняться не думают, а просто:

– Брось ты, – мне, – всё, завязываем, надоело.

На скамейке, конечно, тоже договориться можно и кого-нибудь помаять. Но это сложнее, потому что многие уже знают, что в кругу намного труднее отмаяться и, когда соглашаются играть в жучка, то только на скамейке. То есть собираются нормально поиграть, а не поиздеваться.

Дело в том, что у скамейки жучок встает на таком от нее расстоянии, что для удара надо обязательно привстать. Само собой, быстро сесть на место сложнее, чем просто руку убрать. Все, конечно, помогают ударившему замаскировать удар, но привставать никому нельзя. Поэтому только вид делают, что только что сели. И, кстати, сильный удар практически невозможен, потому что после него точно сесть на скамейку не успеешь.

В общем, так отмаиваются быстро, всё идет весело и без обид. Шустро вертясь, жучок может попросту увидеть того, кто его коснулся. Но главное в определении нового жучка – внимательно осмотреть подозреваемых, выбрать наиболее вероятного и уставиться на него: вдруг не выдержит и чем-то себя выдаст.

Сыщик–ищи–вора

При нормальной игре в жучка, когда жучком каждый бывает по десять раз, становишься то немного детективом, то как бы преступником, которому надо себя ничем не выдать. В *колечке* тоже есть эта линия, хотя выражена она слабее. В *Сыщик–ищи–вора* детективный сюжет – главный.

На одинаковых непрозрачных бумажках, скручиваемых в трубочку, пишется: *сыщик, вор, судья, полицейский, палач*. Если играют больше 5 человек, то добавляют защитника и свидетеля, а можно еще, что полицейских было несколько, и тогда они будут 1-й, 2-й, 3-й и т.д.

Из фуражки или берета все вытягивают эти свернутые бумажки и втайне от других прочитывают, что там написано. Если лето и все без кепок, то специально кто-нибудь выносит – я, например, старую отцовскую шляпу брал. Только сыщик объявляется сразу, остальные молчат. Сыщик должен указать на того, кому досталась бумажка с надписью «вор». Кто-то, особенно начинающие, делают это наобум, но правильно искать по-другому. Можно говорить что угодно, рассуждать, задавать вопросы (на ко́торые не обязательно отвечать), вглядываться в физиономии, провоцировать: «Какой из Васька́ вор, да и на полицейского он не тянет, палач, наверно», – в расчете, что Васек оскорбится и как-то себя выдаст, или кто-то еще что-нибудь брякнет, выдав себя.

Наконец, сыщик указывает на одного из играющих: вор. Если он угадывает, то в дело вступает судья, который, руководствуясь как своим внеигровым отношением к пойманному вору, так и игровой ситуацией (роли-то каждый кон меняются), ожиданиями остальных участников, присуждает то или иное количество горячих, со смазкой или без, и холодных ударов. Эти удары пробиваются сложенными вместе указательным и средним пальцами по воровской руке, примерно по центру между локтем и запястьем, не по той стороне, где вены видно, а по противоположной. Пробивает палач. Горячие – это удары с силой, смазка – палач должен на пальцы плюнуть. Холодные – это тихие удары, скорее касания для проформы, их всегда пробивают без смазки. Заранее, как правило, договариваемся, что больше 10 горячих нельзя, или даже нельзя больше 10 горячих

и холодных вместе. При игре с защитником тот может потребовать смягчить наказание, а может и не вмешиваться, тем более что судья не обязан исполнять его пожелание.

Если сыщик ошибся, указав вора неверно, то судья присуждает, исходя из тех же принципов, удары сыщику, а вор остается безнаказанным.

Палач может по-разному относится к исполнению обязанностей, не говоря уже о том, что палачи разные – и по характеру, и по умению пробивать. Лобан, например, – беспощадный и палач, и судья. Вынося максимальный приговор или от души пробивая горячие, он тем самым заранее соглашался терпеть неминуемую ответную кровожадность. Но это исключение: все думают, конечно, как не получить в обратку и стараются суровые приговоры не выносить.

Игра часто превращается в подобие театра – с речами судьи, вора, защитника, да кого угодно, с поклонами и расшаркиваниями, со всякими книжными обращениями (*милостивый государь, ваша честь, дамы и господа* т.п.) и оборотами:

– Не соблаговолите ли, – судья палачу, – пробить 3 горячих со смазкой, четыре без и пять холодных?

– С превеликим удовольствием! – палач судье.

И наоборот, вставляются блатные словечки: мусора, вышка и т.п. Судья мог в самом деле назначить смертную казнь или 25 лет расстрела через повешенье с предварительным отрубанием головы и частичным колесованием, но, выслушав адвоката, милостиво заменял это наказание на 5 горячих со смазкой.

И малышня, и девчонки участвуют, все понимают, что лупить их не надо – и не лупят. Только раз всё тот же Лобан Ритке из пятого подъезда до слез горячих со смазкой наколотил.

БОЛЯЧКИ

Зою ужалила оса.
Саша Смирнов сломал ногу.
Боря Никитин разбил голову камнем.
Лев Рубинштейн

В детстве перенес
Дифтерит скарлатину коклюш
Корь
Свинку
Воспаление среднего уха
Делали прокол в барабанной перепонке
Аденоиды
Гланды
Ангина и грипп постоянно
Опухали суставы
Сломал левую руку
Перерезал артерию и сухожилия на правой
Вадим Сидур

ОРЗ, горчичники и банки. – «Основы здорового организма закладываются в раннем возрасте». – Как я не попал на «Морозко». – Рябчик с лишаем, Дудика сбивает машина, Лобан с гвоздем в ноге, Чугун и Косой с бутылкой с карбидом. – Дворовая диагностика и лечение. – Холера на Волге.

Сиди дома, а то и лежи. Ходи к врачу, пей лекарства: горькие таблетки и микстуры, жарься под горчичниками, потей, всасывайся банками, так что потом спина пятнистая, как у леопарда...

Мать накручивает на ножницы вату и обливает ее одеколоном, по комнате распространяется запах «Шипра». Затем берет спички и зажигает этот факел. Банки уже наготове на журнальном столике, что-то в них от лампочек, рюмок и звериное – лупоглазость и панцирность одновременно. Ждешь, что обожжет, – огнем все-таки в них тычут, а они – как ледышки. Если пошевелиться, когда уже вся спина в них, они позвякивают друг о друга, как стаканы в подстаканниках в поезде. А если выгнуть шею перед тем, как снимают, и посмотреть на спину, то увидишь, что ты и сам как зверь какой-то: с синеватым стеклянным панцирем. Неужто это твоя кожа так посинела, полиловела и растянулась, прилипнув к стеклу изнутри? Потом с кваком банки снимают со спины и мажут спину кремом.

Через день с банками горчичники. Темно-желтые прямоугольники на миг опускают в тарелку с теплой водой и сразу тебе на спину. Один, второй, третий, четвертый, пятый (пропускается квадрат сердца), заматывают полотенцем, переворачиваешься на спину, еще два на грудь, и обязательно, чтобы что-нибудь читали. Сначала слушаешь и чувствуешь безобидное тепло, потом больше волнуешься уже не о том, что в сказке, а о том, что все горчичнее и горчичнее на спине, будто вода с горчичников испарилась, и сидящий в них огонь вырывается понемногу наружу, как на пляже, когда, выйдя из воды, идешь по песку и сначала ничего, а потом, когда вода высыхает, начинает жечь. Держишься тем, что незаметно меняешь место опоры – лопатки, поясница, хребет.

– Ты что ерзаешь?

– А долго еще?

– Еще немного...

– Не пора?

– Нет, еще пять минут!

– Снима-а-ай!

– Да там и нет ничего! Еле розовая спина...

– Да-а, еле розовая... Горит вся!

– Будь мужчиной. Вот сейчас подую.

И то и другое – и банки, и горчичники (а еще чай-с-малиной, молоко-с-медом, дышать-над-картошкой-в-мундире, парить ноги, аспирин, чтобы пропотеть) – от ОРЗ, то есть когда сопли, кашель и температура. Но начинается всё без них: что-то меняется в теле, в голове, но в чем дело – не просекаешь. Может, конечно, щекотать в горле, и даже голова тупеть, и в сон тянет, но чаще наоборот: бегается и прыгается особенно здоровоски, цвета ярче, запахи сильнее, всё сразу и по плечу, и по фигу: можно лезть в драку с любым великаном, отправляться в дальние путешествия – по оврагу или к горе Алтыне, прыгать на дереве с ветки на ветку.

– Ты чёс, под кейфом? – могли даже с понтом (потому что никакого кейфа еще не ведомо, хотя некоторое теоретическое понимание оного, разумеется, есть) спросить. А вечером вдруг: «Да ты весь горишь», – говорит мать и ставит градусник. 38,7. Это означает, что завтра не идти в школу, что вызовут врача. Тут-то и понимается, что весь сегодняшний «кейф» неспроста. И действительно, вроде уже и сопли, и кашель, и голова тяжелая, и спать, спать, спать.

Утром приходит врач: «Ну, что тут у нас?» – слушает, смотрит горло, мерит температуру, выписывает рецепт. «Через два дня придете на прием», – говорит.

Значит, почти всю неделю в школу не ходить, потому что потом дадут еще два дня. Впрочем, не только в школу – на улицу тоже нельзя. Больше того, надо лежать, пить таблетки и микстуру, которая сначала кажется сладкой, а потом горчит и жжется. Остается читать, а когда начинает болеть голова, спать. Но как только температура спадает, можно переселяться за письменный стол и заниматься пластилином или конструктором, рисовать или клеить, просто смотреть в окно, проводить ревизию (из-за того, что мать работает в общепите, это расхожее выражение у нас в доме) в ящиках стола и его окрестностях: значки, камешки, ракушки, крабьи клешни и панцири с моря, фантики, заложки, копилка. Есть не хочется: еда, даже жареная картошка, становится какой-то пресной, безвкусной, а бабДуня всё: «Тебе надо поправляться. Что ты ничего не ешь?»

Приходят одноклассники, но ненадолго, чтобы не заразиться, говорят, что задали. ОРЗ чаще случается зимой, а когда летом, то обидно: в школу же все равно не ходят. И когда идешь к врачу,

странно: на улице жарко, птички поют, трава, деревья зеленые, во дворе бегают пацаны, а ты с зимней болячкой.

В больнице в регистратуре надо отыскать карточку, в которой записаны все твои прежние болячки и прививки, и даже на первой странице есть запись «ребенок гулит», потом сидеть в очереди, рассматривая плакаты, на которых хорошие лекарства побеждают плохие болезни, а мальчики и девочки с помощью докторов, выполняя все-все-все предписания и расписания, то есть чистя зубы, не читая лежа, вовремя ложась спать, не переедая, делая физзарядку, не перегреваясь и не переохлаждаясь, не глотая кусками мороженое, не выбегая на проезжую часть, отказываясь от сладкого, моя овощи и фрукты в двух водах, не играя со спичками, вообще не болеют. Некоторые из этих плакатов типографские: с огромными, похожими на гнилые картофелины, бурыми вирусами, микробами и прочими инфекциями, с ожогами, напоминающими хищные опасные розово-лиловые цветы из «Науки и жизни», с цветных страниц. Другие – на ватмане, с наклеенными или нарисованными все теми же картинками, и аккуратным почерком исписанном на всех свободных местах. Хочется дать обещание соблюдать всё и выполнить его, но тут же понимаешь, что этого совершенства в следовании всем этим «огромную роль в здоровом образе жизни играет распорядок дня», «основы здорового организма закладываются в раннем возрасте» никогда не достичь, и даже стремиться к этому может быть уделом только каких-то очень правильных, почти героических мальчиков и девочек. Как горько должно было бы это все осознаваться, и каким несовершенным, если не ничтожным, ты должен был себе казаться. Но вот тут и спасает этот человечий почерк и рисунки здоровяков и здоровячек цветными карандашами: это же почти совсем как мы стенгазету в классе делаем, пусть они врачи, взрослые, но всё равно это они рисуют, наклеивают и пишут, им это положено вывешивать, а на самом деле никто и не думает, что, прочитав, все сразу станут правильными. Тем более что в кабинете врач никаких таких слов не говорит, и больше похож на какую-нибудь знакомую родителей, даже конфета припасена в добавление ко всяким «у-у, как мы выросли».

Поликлиника новая. Еще недавно она была прямо в нашем доме, вход то со двора, дверь между четвертым и пятым подъездом, то за домом – угол здесь не прямой, а срезанный от земли до крыши, и на этом срезе крыльцо с двумя ступеньками и дверь в поликлинику, а выше балконы. Окна все на той стороне: на гаражи и на шестой дом, закрашены белой краской, только два во двор. Потом поселок стал расти дальше, за *овощной*, и в первом же новом доме за ним весь первый этаж заняла детская поликлиника.

Там, кроме того, что лечиться от ОРЗ, надо показываться кожнику и ухо-горлу-носу, когда собираешься с родителями на юг. Туда же я ходил с шишкой, которая вдруг вздулась у меня прямо под коленкой с внутренней стороны. Ее долго рассматривал и ощупывал теплыми пальцами хирург, а я прикидывал, что лучше – бояться, что будут резать, или, напротив, делать вид, что совсем не боюсь, так как если будут резать, то сразу представлялось, как во дворе все спрашивают: «Резали? Больно было? Орал?» И в ответ: «Да нет, ерунда». И показывать шрам.

Дают неделю, чтобы посмотреть, что дальше с шишкой будет. Все спрашивают: «Ну как, резать будут?» Я даю ее пощупать. При этом не на людях мучусь и трушу страшно: и что резать станут, боюсь, и что еще раздуется, лучше бы побыстрее резали. Допредставлялся до того, что ногу отрежут, и буду как дядь Коля из четвертого подъезда, ну или Мересьев из фильма. Главная версия: травма при игре в футбол. Но к концу недели шишка начинает спадать, и когда я ее снова показываю хирургу, она почти совсем исчезает. Он говорит: «Будем наблюдать». И еще через неделю я про нее совсем забываю, и даже, кажется, к хирургу больше не ходил.

Однажды в начале лета, когда дворовая жизнь еще идет по-весеннему – за домом, меня кричат (вытаскивая из *пьяницы* – это такая разновидность классиков):

– Родичи зовут.

– А чего?

– Откуда я знаю. Ехать куда-то, что ль.

Это время обеда, будний день, когда приезжает на своем государственном, то есть не нашем, а

который на работе дали, «москвиче» отец. Наверное, *покататься* (в смысле всю вторую половину дня отец бы разъезжал по делам, а я при нем). Но добавляют: «В кино, кажись». И тут я вспоминаю, что мы собирались на «Морозко» – цветной и широкоформатный – в главный кинотеатр города «Ударник», идет первую неделю. И я мчусь домой. За угол, еще раз. Короткая финишная прямая под нашими окнами. Вот крыльцо с пятью ступеньками с этой стороны (с четырьмя с другой), каждая ступенька с железным уголком по ребру. Вот я взлетаю по ним... нет, за что-то зацепился, лечу... сейчас, приземлюсь, вскочу и...

Фиг-два! Это железка для очистки обуви от грязи, я зацепился за нее ногой и рыбкой пикирую прямо в крыльцо. Пока я лечу (а это продолжается буквально одно мгновение), я уже понимаю, что все пошло наперекосяк, и заранее чувствую боль и в то же время прямо деревенею весь от ужаса неизбежности, но успеваю сообразить, что так не бывает, что закон подлости тут работать не должен, главное – выставить вперед руки. Но руки не успевают как надо выставиться. Бац! И как-то вдруг сразу все, весь двор, вокруг оказываются, и пацаны с девчонками, и взрослые, и бабки, и я уже головой вверх, тополиная листва и немного неба, на колене отца, который сидит на ступеньке. И в тоже время будто откуда-то извне – и сверху, и сбоку сразу – смотрю на картинку: пацаны в трех шагах, но шеи тянут, чтоб разглядеть, соседи, еще кто-то и мы с отцом в центре. Во рту всё горит и кажется, что челюсть плоскогубцами сжали и крутят. Сильно солёно, и почему-то пылью, как ее дождь начинает прибивать, только в десять раз сильней, пахнет. Я не ору, потому что рот не открывается, а вою. Отец промокает платком кровь, и каждый раз, когда он прикладывает платок ко рту – еще больнее. Выходит мать. Не помню, заносят (заводят?) ли меня домой или мы сразу садимся в отцовский «москвич» и мчимся в больницу на «Комбайн».

Не от смелости и не от страха, а от какого-то внезапного безразличия (боль становится какой-то привычной, что ли) или оттого, что вот травмпункт и сейчас все равно что-то сделают, чтобы это прекратилось, я уже не вою. Когда меня укладывают на кушетку и, повернув голову, я вижу на металлическом двухъярусном столике какие-то крючки с лесками на белой салфетке, меня как током ударяет: догадываюсь, что ими будут делать. И вот, оцепенев, вижу, как сначала руки в резиновых перчатках со шприцем приближаются к моему рту, укол не чувствую, и челюсти начинают неметь. Мать сидит рядом и держит руку на голове, а спустя какое-то время руки в перчатках с крючком приближаются к моему рту. Что-то там происходит, но я не чувствую ничего до половины носа. Считают, медленно: «Один... два...» Это накладывают швы. Потом меня перебинтовывают как настоящего раненого: вокруг рта и вокруг головы. А потом целую неделю я ем только жижечку от супа и кашу, почти не открывая рта. Бинт меняют в детской поликлинике, и еще неделю я сижу дома и ем то же самое. А когда бинт и швы снимают, я впервые вижу в зеркале то, что чувствовал до того только языком. Всего делов-то: нижняя губа, вся правая половина распухла, и если немного вывернуть губу наружу, можно сосчитать швы по оставшимся следам...

Но мои болячки ерунда, даже если учесть, что меня два раза собаки кусали, по сравнению с другими пацанами.

У Рябчика был лишай, и он пол-лета ходил в приклеенной к голове кожаной зимней шапке, а потом, когда ее сняли, стал лысым.

Дудика у нас на глазах сбила машина. Мы *перебегали дорогу* за домом, в смысле не просто нам надо было перейти дорогу от нашего дома к гаражам, а именно бегали через дорогу туда-сюда перед машинами, выскакивая на дорогу неожиданно и пробегая перед самым капотом. Это мы устраивали очень редко и очень неподолгу и только на дороге за домом, где движение было слабым. Мы кучкой перебежали от мусорки у гаражей к углу нашего дома перед грузовиком и кучкой же стоим между деревьев. Дудик внезапно бросается снова к гаражам. Мы видим, как жук (старый «запорожец»), едущий от большой дороги – проспекта Энтузиастов, не быстро, – наверно, собирается заворачивать в гаражи, – как будто натыкается на бегущего Дудика и останавливается, а Дудик падает, чуть отлетев в сторону. Толька Бочкарев, он постарше, остается, а кто поменьше, в том числе я, бросаемся со страху во двор. Мужик из «запорожца» отвез Дудика домой, Толька ему показывал, куда. Потом Дудик ходил с подвязанной рукой и хромал. После этого случая мы больше не *перебегали дорогу.*

Младший Чугун и Генка Косой у гаражей в районе первой *полянки* бутылки с карбидом делали. Если плюнуть на карбид – он шипит и дымится, а если набить в бутылку, налить немного воды, закрыть пробкой и бросить, у-у как бабахнет. У Косого бабахнуло в руках, а Чугун рядом стоял. У первого руку всю обожгло, второй чуть не ослеп, но быстро отвезли в больницу и глаза спасли.

Теплого вообще где-то у родственников в деревне так током ударило, когда он полез копаться то ли в мопеде, то ли в мотоцикле (может ли маленький моторчик с мопеда так ударить?), что он потерял сознание и почти совсем умер. Но его раздели и голого закопали в землю, чтоб электричество из него вышло, и так спасли. Правда, после этого крайние фаланги трех пальцев, кроме указательного и большого, стали у него тоньше наполовину и без ногтей.

А вот с Лобаном случилось у меня на глазах. Играем мы в какое-то странное сочетание *войны* и *шпионов*. Надо прятаться одной команде от другой. Предполагается, что прячущуюся команду надо найти и перестрелять. А те, в свою очередь, могут напасть на тех, кто разыскивает, и перестрелять их. То есть все это безо всякого оружия, и никто толком не знает, как будет определяться, кто же кого перестрелял, но это почему-то неважно. Всё это должно проходить в пределах двора. Васёк, Лобан и я прячемся. Нас турнули из подвала, где бутылки принимают. Нужно быстро перепрятываться. Мы выбегаем на крыльцо. К двери четвертого подъезда днем всегда ящик из-под бутылок приставлен, чтобы она не закрывалась. Мы выглядываем из-за нее. Там, у второго подъезда Го́ра с Ковалем и Кульком, они нас ищут. Остается перебежать вдоль стены, под прикрытием двери, в пятый подъезд. Лобан сигает с двух высоких ступенек. Я сейчас тоже.

Но Лобан как прыгнул, так и застыл. Он медленно поворачивается вполоборота. Весь прямой, и лицо у него абсолютно белое. Он смотрит на нас с Васьком, потом вниз, себе под ноги. Я тоже смотрю туда. На земле у пункта приема стеклопосуды всегда полно ящиков: целые и сломанные, иногда вся площадка забита ими, иногда почти ничего нет. Сейчас мало. Лобан стоит на дощечке от ящика. Он пытается сдвинуться с места, а дощечка идет вместе с ним как приклеенная к ноге, а из ступни, прямо из середины подъема, торчит на сантиметр ржавый гвоздь, острием. На белой кеде появляется и расплывается темное пятно. Лобан вдруг начинает орать, очень тонко и негромко, на одной ноте, без остановки, не переводя дыхания.

Потом уже Лобан рассказывает всем, что это я помог ему: якобы вытащил из ноги дощечку с гвоздем и отвел домой, откуда его уже увезли в больницу (полгода он не мог играть, сначала лежал в больнице, потом дома, потом ходил с костылем, а потом хромал). Я как услышал эту историю первый раз, хотел было перебить его, сказать, что сам тоже заорал и, кажется, убежал. Но вдруг понял, что всё, что происходило после того, как я увидел острие гвоздя и пятно крови вокруг него, я просто не помню. Могло быть так, могло быть эдак. Я не уверен, что Лобан тоже что-нибудь четко помнил. И не стал перебивать.

Для полноты картины упомяну, как мы все были поражены, когда, играя в баскетбол и сняв рубашки, увидели белый с красным шов прямо посреди живота у пацана из третьего дома. Поражены мы были не самим швом, хотя и не без того, а тем, что у пацана был заворот кишок – то, чем нас пугали, если мы быстро ели, глотали живьем, чтобы бежать на улицу. Мы считали, что от этого почти обязательно умирают. А пацану успели сделать операцию. И вот он, со швом, но живой, и играет с нами в баскетбол.

Как ни странно, мелкие болячки тоже важны. Ушибы, укусы, синяки, царапины, ссадины, порезы, наколы, ожоги, вывихи, растяжения, шишмарики, мозоли, цыпки, бородавки – у каждого из нас почти всегда что-нибудь из этого набора имеется. Дворовая карта этих болячек постоянно меняется, но, кажется, каждую минуту, при любых переменах любой мог назвать все главные болячки всех во дворе и даже припомнить, откуда они появились, и как кто себя вел, когда они приключились или обнаружились. Ведь при получении мелкой травмы нельзя вести себя по-девчачьи: скулить, ныть, плакать. Нужно также проявлять опытность при «лечении», то есть точно ставить диагноз и знать, что в каком случае нужно немедленно сделать.

Чтобы не было синяка или шишки после удара или столкновения (в том числе и с неживым объектом) следует прикладывать пятак. Если попали по яйцам, надо попрыгать на пятках, чтобы они встали на место. Прыгать надо и если в ухо на Волге попадает вода – на одной ножке, наклонив

голову, и трясти ею, одновременно прочищая ухо пальцем. Палец или руку вывихнешь – надо, чтоб сильно дёрнули. Кровь из носа останавливается, если просто поднять голову кверху, замороженное место следует до боли растирать, ожог – тут спорили: смазать маслом (или мылом) или содой посыпать (в любом случае домой бежать), от икоты – пить воду. Ресница попала – верхнее веко натягивается на нижнее. При укусе комара надлежит поставить крестик ногтем на вздувшемся месте. При осином укусе – выдавить жало, как обычную занозу. Любой порез или ссадину следует залепить листком подорожника или в крайнем случае любым другим листком, послюнявив его.

Все также знают, что если укусит змея, надо зубами вырвать кусок мяса в том месте, куда укусила, и высосать яд – но это чисто теоретически, случая проверить никогда не представлялось. Если начинает колоть в боку от беганья, надо просто, не останавливаясь, терпеть и ждать, когда откроется второе дыхание. На случай судороги в воде надо иметь в плавках булавку, чтобы уколоть туда, где сводит. От рыбной кости, застрявшей в горле, помогает корочка черного хлеба, глотаемая по не до конца разжеванным кусочкам.

Никаких быстрых лекарств нет от прикусывания языка, прищемления ногтя или попадания под него занозы, глубоких порезов – особенно от бутылочных осколков в воде. Тут каждый ведет себя как умеет: паникует, ноет, зажимается и терпит, пока самая острая боль и страх пройдут. А потом уже смазывается йодом, который тоже надо терпеть, бинтуется.

Диагноз всегда ставится быстро и точно. Если заедут в какое-то место, то на вопрос «чё у тя?» следует всегда безошибочный ответ. В зависимости от случая это звучит так: нос, висок, щека, зубы, глаз, бровь, лоб, подбородок, губа, шея; палец, локоть, плечо, ладонь или рука; коленка, палец, щиколка, пятка, ляжка или нога целиком; а также спина, живот, грудь, ребро и вообще все, по чему можно заехать. Если не заехали, а так что-нибудь, например, болит просто, то говорят: голова, живот (интеллигентно: желудок, грубо: кишки или понос), язык (прикусил, обжег), горло.

Есть болячки унизительные. Если по восходящей, то это лишай, чирей (на известном месте особенно), глисты. Их скрывают, если могут, но они вполне реальны. А вот рахит, геморрой, триппер и сифилис – абстракция, но если кого «с помощью» этих болезней обзывают, то это очень обидно.

А понос перестал быть чем-то неприличным, когда появилась угроза если не всенародного, то всеповолжского поноса: в Астрахани случилась эпидемия холеры. Об этом говорили по радио, печатали в газетах, постоянно называя главный симптом: понос. Кроме того, говорилось, что нельзя есть арбузы и помидоры, плавать в Волге, пить воду из-под крана. Астрахань была закрыта для въезда и выезда. Даже официально признавались случаи смерти, а в народе говорили о сотнях и даже тысячах умерших. Медсестры ходили по квартирам и бесплатно раздавали тетрациклин. В аптеках бесплатно отпускалась солянка – соляная кислота, от которой вода кислила как от лимонки (ее можно было вместо солянки).

В школе на следующий год перед самыми летними каникулами нам сделали уколы против холеры из специального черного пистолета в руку, туда, где оспа. Делали в актовом зале, потому что всей параллели сразу. Одна девчонка из нашего класса упала в обморок, громко грохнувшись на пол. А у меня к вечеру поднялась температура больше 39 градусов, и я всю последнюю неделю перед каникулами в школу не ходил, хотя температура к следующему вечеру уже прошла и никакого поноса не было, но справку мне все равно продлили сначала на два дня, а потом еще на день. И тем летом Астрахань не закрывали и разрешили есть арбузы и помидоры и купаться в Волге.

КЛЁК

И северные наши городки...
Осип Мандельштам

Городки: знаем, но не играем. – Клёк и палки. – Кому маяться? – Что к чему: от раба до царя и обратно; маяться тоже надо уметь. – Как замаяли Дудика. – Миниклёк.

В *городках* тоже палки-биты и такие же, как наш клёк, бруски. Коваль как-то показал пару фигур: пушку и звезду. Чтоб их сделать, нужны пять клёков. Коваль показал, как что должно лежать,

перекладывая один и тот же клёк: «Один так, два других так, на них ствол, и еще один вот так». Мы должны были представить, как это выглядит, когда на самом деле из пяти клёков сложено. Пушку представить было трудно, а звезду легко, но только было непонятно, почему это фигура называется «звезда», так как она была простым крестом из четырех лежащих клёков, в центре которого стоял пятый.

Когда у нас появится много четких, совсем городошных клёков и бит, то еще какие-то фигуры попытаемся разок сделать и даже побросаем по ним, но никакого кейфа в этом совсем не будет. То ли дело игра в клёк, где не с одного места, а с разных надо бросать биты в цель, и не только бросать, а столько всего еще уметь делать: маяться и маять, клёкать других, а самому не заклёкиваться, летать над коном и битами... Причем если игра серьезная, то идет она почти совсем без передыха.

Клёк и палки

Весь двор выстраивается на черте кона, проведенной на асфальте между нашим и третьим домом. Это то лето, когда грузовик не вписался в поворот и снес ползагородки, которая стояла вдоль бордюра. Загородку полностью убрали, а новую еще не поставили. С ней здесь играть в клёк было невозможно, а без нее площадка огромная – до ограды между желтым и третьим домом. Кажется, что туда, конечно, никогда бежать не придется. Но вдруг сегодня, когда даже все большие пацаны собрались, кто-то туда клёк зафигачит?

В клёк еще играли у шестого подъезда либо в проезде между нашим и шестым домом на дороге, или у ателье мод между желтым домом и сквером. Но нигде такой большой площадки, как в это лето между нашим и третьим домом, нет.

Для самой игры необходимы палки-биты и собственно *клёк* – деревянный брусок, в идеале круглый, примерно в один охват пальцами в толщину, а в вышину с четверть, но лучше поменьше. Асфальт должен быть ровным, но он всегда в ямках, вмятинах, щербинках, бугорках. Это все нужно учитывать, когда бросаешь биту, так же как и то, что асфальт ограничивается бордюрами и случаются самые невероятные отскоки от них и палок, и клёка.

Клёк может быть тоньше или толще, больше или меньше, совершенно круглый или прямо- и даже кривоугольный, но обязательно, чтоб хотя бы один торец был ровным и гладким. И для кона тоже выбирается ровное место. Иначе клёк просто невозможно установить на кону или он всё время будет *ложиться спать,* и чтоб его поставить, нужно чуть ли не ввинчивать в асфальт, слюнявить и произносить заклинания.

Биты тоже разные. Пару сезонов играем всамделишными городошными битами. Десяток таких палок и пяток клёков сделали у отца на работе, там столярка была. Они круглые, отшлифованные, примерно метровой длины, пахнут живым деревом, и вначале у них какой-то розоватый оттенок. Но скоро покрываются пылью, грязью и вмятинами. Летают и катятся далеко, тем более что все основные площадки идут под уклон, а у шестого подъезда площадка попросту в склон переходит – палки там спокойно долетают-докатываются до забора сорок второго садика. При точном сильном попадании клёк с бешеным вращением, взмыв высоко в воздух, летит до того же забора. Рассказывали, что кто-то однажды послал клёк за забор садика, но сам этого никто не видел, а все только слышали от кого-то.

Годятся и черенки от лопат, грабель, мотыг и прочего садового и дворничьего инструмента. Они тоньше и легче отцовских бит, но такие же круглые и не просто отшлифованные, а отполированные – руками прежних хозяев. Из прямоугольных палок вполне подходящими для игры считаются хоккейные клюшки, у которых крюк отвалился. Сделанные из слоеной фанеры достаточно увесисты, далеко катиться им не дают углы, а палки из клюшек из цельного куска дерева легкие, так что при порыве ветра они начинают непредсказуемо планировать, и против ветра задача – просто добросить с *раба* (самой дальней позиции) до кона. Брусья из парковых скамеек, точнее из их половинок, – тяжелые и самые убойные при попадании: клёк улетает далеко, а брус,

раза три перевернувшись, застывает шагах в пяти кона. Они плохо помещаются в руку, и поэтому их трудно бросать тем, кто поменьше. Выкрашены они в синий, красный или желтый цвет. На асфальте, когда они втыкаются в него концом, остаются вмятины.

Используются и стволы новогодних елок, найденных где-нибудь на помойках в сараях, и ветки тополя или реже вяза и клена. Это наиболее непредсказуемое клёчное оружие: сосновые биты из-за сучков судорожно подскакивают на асфальте, а вязовые кривые ветки прыгают полягушачьи и неровно, как бы задумываясь на мгновение перед каждым следующим прыжком – куда и как дальше?

Кому маяться?

Выстроившись в ряд на кону, тесно – десятка два нас, – устанавливаем биты на носок ноги, поддерживая их сверху рукой. Одновременно отправляем их с ноги в полет. У кого с прошлого года еще городошные биты, у кого сосновые, клюшечные и прочие. Серебряков бросает не половинку, а целый брус из скамейки! Генка Косой чудит, как всегда: у него тоже дрына, но это о-о-очень кривая вязовая ветка, да еще с рогатиной на конце. Если б он не был мазилой (не только в клёк, а во всё), за что и кличку получил, можно эту ветку понять так, что, попав в клёк, она его сшибет, а сама на кону так и останется. Но такой попробуй попади еще, даже если не мажешь.

Всё это дровяное хозяйство летит, запущенное в воздух с носков ног, и, увидев этот полет, человек, не знающий, что происходит, вряд ли сможет как-то объяснить увиденное. Палки хором, на разные голоса, поют, негромко, недолго, но услышать можно. А потом одна за другой глухо шмякаются о землю на склоне, а некоторые почти со звоном ударяются друг о друга. Так определяется тот, кто будет первым маяться, – его палка оказывается ближе всего от кона. Хозяин улетевшей дальше всего биты становится сразу *попом*, прочие – *рабами*.

Что к чему

Клёк устанавливается в центр круга четверти в две, нарисованного на линии кона. Параллельно кону обозначаются три позиции: *царь*, *поп* и *раб* в двух, четырех и шести шагах (больших – то есть практически прыжках) от кона. Равноценный вариант – игра с четвертой позицией, которая называется *принц* и находится прямо перед коном. В других дворах играют с армейскими названиями: солдат, офицер, генерал (без позиции, аналогичной принцу). Пару раз в нашем дворе сыграем в длинный клёк с подробной – через шаг – росписью позиций: солдат, старшина, лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал, маршал – но это усложнение не приживется.

Бьют одной рукой или двумя. В первом случае биту бросают, слегка присев, с прямой руки с размаха, задавая ей вращение – несильное, если умеешь рассчитать обороты: нужно, чтобы она крутанулась полтора, два с половиной или три с половиной раза, и тогда она, подлетая к клёку всей длиной, какой-то частью обязательно его зацепит. Но можно бросать и сильно, сильно же закручивая: расчет на то, что при бешеном вращении биты, даже если она не приходит к кону параллельно ему, шансы задеть клёк одним из концов примерно те же, что и при несильном ударе, а полетит клёк гораздо дальше. То же самое можно делать с короткого разбега, вынося биту из-за головы на согнутой руке, а в момент броска выпрямляя ее, – это самый эффектный, но и самый трудный удар. Собственно, именно такой удар, когда бита в воздухе, не касаясь асфальта, встречается с клёком, и считается высшим классом. Подтверждая это, в момент попадания раздается звук, очень похожий на то, что клёк представляется, называя своё имя: «Клёк».

Есть любители запускать биту по асфальту. Присев почти на корточки, биту запускают низко над асфальтом, и она подъезжает, а не подлетает к клёку. Кроме того, с царя, а иногда и с попа круглую биту бросают двумя руками, держа ее почти за концы. В этом случае она не вращается совсем, летит низко над землей и перед коном уже катится к клёку по асфальту.

Итак, мающийся занимает место на кону и ставит клёк в центр круга. Прочие в порядке разыгранной очередности бросают биты в клёк, стремясь сшибить его. После рабов бросает поп.

Сразу после броска, вернее почти одновременно с броском – заступать за черту раньше, чем выпустишь биту из руки, нельзя – бьющий устремляется к кону. Если мажешь, то тормозишь у кона и становишься за спиной или напротив мающегося (но, естественно, по другую сторону от круга, в котором стоит клёк – мешать мающемуся не допускается).

Если же палка попадает в клёк, то путь за кон открыт. Клёк, вращаясь, летит с кона по воздуху. По земле, подпрыгивая и вращаясь, летит палка. За клёком срывается мающийся, за своей палкой бежит пробивший. Промазавшие тоже кидаются к своим битам. Затем – обратная волна: мающийся с клёком в руке бежит к кону, чтобы установить клёк в центре круга и запереть тем самым тех, кто не успел вернуться, за коном. Вернувшийся сбивший становится попом, а если он им уже был, то царем. Прочие вернувшиеся либо остаются рабами, либо, если были попами, тоже становятся рабами.

Только однажды за все время палка попала в кого-то из нерасторопных мающихся так, что тот даже упал от боли. Мазила не только Генка Косой, но и старший Кульков, Коля Попрыгунчик. Когда они бьют, мающиеся отходят подальше от центра кона и думают больше о том, как увернуться от летящей палки, хотя обычно занимают позицию в двух-трех шагах от клёка, правда, надо быть готовым подпрыгнуть или отпрыгнуть, если бита летит прямо в тебя.

Когда бита не долетает до кона, то мающийся распоряжается ею по своему усмотрению: при живом принце забрасывает как можно дальше, а при расчете, что все промажут, отбрасывает на расстояние трех-четырех шагов от себя.

Клёк может улететь совсем недалеко и оказаться ближе к кону, чем биты. Играющие успевают только добежать до палок, но не вернуться, и оказываются запертыми за коном. Если выручать уже некому, то есть все находятся за коном, игроки с битами в руках устремляются подальше от круга с клёком. Останавливает их крик мающегося: «Клёк, стоп!»

После чего и мающийся, и игроки кричат *палки в клёк!* или *клёк по палкам!* Чем ближе находятся палки к кону, тем выгоднее мающемуся, и наоборот. Если палки очень далеко, то игроки кричат *клёк по палкам!* Это значит, что мающийся должен, взяв клёк в руки, сделать три шага-прыжка (можно с разбега) до ближайшей палки и бросить в нее клёк. Попадет клёк в палку – ее хозяину маяться, а отмаявшийся становится попом. Промах – и начинается новый кон с тем же мающимся. Причем попасть надо обязательно с воздуха – с отскока от земли не считается. Попасть с дальнего расстояния очень трудно, поэтому мающийся кричит после стопа, если, конечно, палки далеко от кона, *палки в клёк!* Точнее, всё кричится в одно слово: «Клёкстопалкивклёк!» Это значит, что мающийся хочет бить по клёку из-за кона, начиная с самой дальней палки. Как только он сбивает клёк одной из бит, ее хозяин начинает маяться, а отмаявшийся становится попом.

Если палки находятся на разном расстоянии от кона, то те, чьи биты ближе к клёку, кричат *палки в клёк!* Есть опасность, что их палка окажется выбранной мающимся для броска по ней клёком с близкого расстояния. Те, кто подальше, кричат *клёк по палкам!* В общем, мающийся выбирает вариант, подходящий ему по ситуации, настроению, умению, если только раньше него другое не крикнут.

Короче, Косой встает маяться, потому что его вязовая коряга полетела в сторону и оказалась ближе всех к кону. Кроме него и Серебрякова с дрыной, из больших пацанов участвуют Лещинин, Булавин, Баранов, Никон, старший Чугун и из стариков – Буланов. Из пацанов постарше нас – Го́ра, Лобан, Коваль, Кулёк, Теплый, Рябчик. И те, кто помладше их: Дудик, Слон, младший Чугун, Тетёня, Васёк, Кузя и я.

Малышня, которую спокойно почти всегда берут играть, как и некоторых девчонок, сейчас не принимается. И я точно понимаю, что запросто могут замаять, но зато, если обойдется, автоматически становишься игроком совсем другого уровня.

Расстояние от кона до позиций отмеривал Никон, и прыгал он от души. Царь – почти как обычный поп, а поп как обычный раб, без почти. Первое время я вообще не могу попасть и только стараюсь бить как можно сильней, чтобы бита летела подальше за кон. Расчет совершенно неверный: ждать по такой игре, что все промажут, не приходится, потому что кто-то из больших

пацанов обязательно выручит, а за далеко улетевшей битой и бежать надо долго. И вот я бегу после очередного попадания серебряковской дрыны к моей далеко укатившейся бите, и меня, естественно, клёкают. То есть когда ты не успеваешь забежать за биту или хотя бы не находишься в прыжке за нее, а клёк уже поставлен на кон, то мающийся просто сбивает клёк, при этом крикнув *клёк!* и имя заклёкиваемого. Если у мающегося есть сомнение, то клёк аккуратно укладывается рукой на кон, с тем, чтобы в случае ошибки тут же поставить его на место. Если же есть полная уверенность, что забежавший за кон не успевает прыгнуть ни за свою биту, ни обратно за кон, то клёк сшибается ногой со всей силой, и маяние заклёканного начинается с того, что он отправляется за далеко улетевшим клёком.

Маяться надо стоя строго на кону: черта, обозначающая кон, должна проходить между ступней, на нее нельзя даже наступать. Тот, кто мается, естественно, все время передвигается, но, пока клёк стоит на кону, двигаться надо так, чтобы не сойти с кона. Малейший зигзаг – и клёк можно сбивать любому играющему: палкой, ногой, без разницы как. Промазавшие также стоят на кону (они могут этого не делать и оставаться по эту сторону кона, но с черты лучше стартовать к своим битам). Если по неосторожности кто-то из них оказывается за коном (одна нога за коном, а другая на линии кона считается за коном), мающийся клёкает его.

Игрок, добежавший до своей палки, должен держать ее так, чтобы она находилась между ним и коном – секундная оплошка может привести к заклёкиванию. В нашем дворе *на лету* не клёкали, то есть если игрок уже прыгнул и находится в воздухе, а приземляется затем за своей палкой, или в случае возвращения из-за кона летит над коном, когда уже клёк установлен, это считается в пользу рискнувшего. В других дворах *на лету* клёкали, тем самым несколько облегчая долю мающегося. Летаем очень далеко, иногда даже возникает ощущение настоящего полета. Главное – нормально приземлиться: на ноги и так, что если даже упадешь после приземления, ничего не отбить.

Есть еще куча вещей, без знания которых много не наиграешь. К примеру, можно добежать до брошенной биты после удара, хотя промазал и клёк остается на месте. Каким макаром? Просто бросаешь биту и бежишь к кону, видишь, что промазал, но если мающийся остается на месте, а не делает пару шагов к клёку, то беги за кон, конечно, если бита недалеко: с третьего шага ты уже на лету – и заклёкать тебя не успевают. А когда бита находится за коном на расстоянии прыжка, то за нее можно просто прыгнуть с этой стороны кона. В обоих случаях польза состоит в том, что пока еще есть бросающие, можно бродить со своей битой за коном как и где угодно, хоть к желтому дому уйти. Или встаешь со своей битой на кон, а в момент *стопа* забрасываешь ее с кона подальше, это разрешается. В то же время с кона легко *вернуться* в случае, если клёк был сбит или просто *спать лег*. Правда, когда остается пара мазил и выручить они не могут, тогда просто уходишь за кон дальше, чем можешь забросить биту – откуда мающемуся практически невозможно попасть.

Следить нужно не только за клёком и бросками, но и за ногами мающегося, не сойдет ли он с кона? Он тоже следит за ногами отстрелявшихся, стоящих на кону, не упуская, естественно, из виду положением тех, кто находится за коном со своими палками. При этом обе стороны провоцируют друг друга, намеренно сходя с кона, но делая вид, что этого не замечают, а сами просто рассчитывают чуть раньше вернуться в правильную позицию, чем купившийся на это собьет клёк ногой.

Раб, сбивший клёк и вернувшийся из-за кона, пока клёк не был поставлен на кон после его броска, становится попом, поп – царем. Добежавший до палки, но вернувшийся не сразу, а только после удара другого игрока, повышения не получает. Промазавший царь, вернувшись, становится попом, поп – рабом, раб так и остается рабом. Всем сразу царями быть нельзя: если это происходит, то все становятся рабами. Иногда кто-нибудь единственный остававшийся попом специально становится царем из вредности (например, ему не нравится, что цари над ним подкалывают, или еще проще: мается его друг). Чаще всего бывает один или два царя, которые служат палочками-выручалочками. Но могут и промазать из той же вредности, особенно, если палка кого-то из недругов лежит совсем близко от кона.

Принц (в варианте с четырьмя позициями) – это тоже палочка-выручалочка. Правда, у него всего три удара, и производятся они с закрытыми глазами. Принц подходит к кону и, не выпуская

палку из рук, просто сбивает ею клёк. Существует неписаное правило, по которому в обычной игре принц дважды намеренно промахивается, чиркая палкой по асфальту рядом с клёком и тем самым только обозначая удар, и лишь третий раз бьёт от всей души. Случается, что и промахивается, тогда бита принца считается лежащей просто на кону рядом с клёком – и маяться приходится ему. Уличенный в неполном закрытии глаз также мается. Неписаное правило двух промахов в интересах всех играющих и, прежде всего, самого принца. Еще один-два кона с принцем интересно, но потом игра становится тягомотной. К тому же, если играют человек десять, принц оказывается надолго выключенным из игры и фактически превращается в зрителя.

Правда, если главным интересом игры становится *замаивание*, то принцы и цари и не думают уклоняться от своих обязанностей. Замаивают чаще всего пацанов, которые чем-то заслужили плохое отношение – в этот день, в этой игре, в последнее время. Замаивание – это вроде угнетения кого-то всеми сразу. Замаивают и новичков – но это замаивание не со зла, просто они не справляются. Впрочем, в случае, если новичок своей неумелой игрой мешает маять выбранную жертву, начинают маять его, так что он, отмаявшись, предпочитает сразу выйти из игры (выходить из игры можно только тем, кто не мается). Замаивание иногда приводит к разбиванию играющих на две команды: одна группа стремится маять одного из участников другой. Замаивание ведет к тому, что его жертва начинает психовать, ругаться, жилить. Бывает, что убегает с кона домой – просто от обиды или, если маленький еще, чтобы не разрыдаться при всех. Потом несколько дней убежавших с кона в игру не берут.

В обычной игре главный кейф – попадать, летать, ловить на промахах, быстро отмаиваться. Когда все идет четко, крутится, как карусель, пацаны вживаются в роли рабов, попов, царей, ведут себя соответствующим образом. Цари повелевают, рабы повинуются или бунтуют. Все время идут подколы и приколы типа «*Ну вы, ваше величество, и мазила!*», «*Пролетарию нечего терять*» (под пролетарием подразумевается раб). В игре на замаивание атмосфера совсем другая – напряженная, а то и попросту злобная.

Понимая всё это, с ужасом встаю на кон маяться, ожидая самого худшего. Стоять на кону приходится далеко от клёка: биты летят здоровенные и сильно. Несколько раз клёк улетает глубоко во двор, вернее, в междворье. И – ура! – удается заклёкать Коваля так же, как заклёкали меня: когда он бежит к своей бите. Я еще дважды маюсь, но напряжение и страх проходят, расстояние от кона до раба перестает казаться огромным, а когда я побывал царем, стало совершенно нормально.

Неожиданный поворот

За всеми этими делами, полностью поглощенный бросанием, беганьем, клёканьем, я даже не заметил, что к чему. А народ, видать, просёк. Сначала отваливает Рябчик. Затем с кона убегает домой Кулёк: его не то, чтобы замаяли, но слишком поездили по его всем известным самолюбию и склонности спорить – в игре это оборачивалось банальным жилинием и всегда встречалось в штыки. После очередного препирательства, когда ему показалось, что несправедливость опять торжествует, он не выдержал и сбежал. В данном случае это был не позор, хотя и не без того, а просто подтверждение репутации.

В общем, что называется, атмосфера накаляется. Неожиданно попадается и становится маяться Серебряков. Мается он долго, и это странно. Наконец, все мажут, что еще страннее. Серебряков прыгает три шага к дудиковой бите и бросает в нее клёк. Дудик еще не маялся – чаще всего на кону стоит кто-нибудь из нас, Генка Косой или Коля Попрыгунчик. Вдруг они сразу оба из игры выходят, а с ними Васёк, Кузя и Тетёня. Потом узнаю, что большие пацаны сказали им отвалить, потому что решили Дудика помаять.

Дело темное, никто не знает, что именно, но что-то к Дудику у них было. То ли сговнил кому-то, то ли не то сказал. Может, конечно, это Слон решил соседа по коммуналке за что-то наказать. Слон единственный из нас, кого большие пацаны держат за своего. За старшего брата, конечно,

но и в каких-то их делах они ему что-то доверяли. Он об этом ничего не рассказывает. И мог им запросто шепнуть:

– Давай Дудика помаем.

– А чё?

– Да он мне вчера подлянку устроил. – И вопрос решен.

Не факт, конечно, что так и есть. Может, просто в игре уже кому-то из больших пацанов что-то не понравилось.

Дудику, конечно, пофигу, что придется маяться, потому что в клёк он, как и почти во всё прочее, лучше всех играет. Он просек, что Серебряков его специально ловил, но что ему стоит отмаяться? Мы все, Го́ра, Лобан, Коваль, прекрасно понимаем, что в случае пролета любой из нас займет место Дудика. Тот, отмаявшись, попросту выйдет из игры, а *отыгрываться* будут на том, кого он заклёкает. Поэтому приходится играть на пределе. Какой бы классный игрок Дудик не был, но против всех устоять невозможно. Ни переставшего вдруг непредсказуемо рисковать Коваля, ни ставшего неожиданно аккуратным обычно немного дурового Лобана, ни тем более всегда осторожного Го́ру подловить не удается. Почти все сразу, пока не надоест, царят. Клёк летает до середины склона. Дудик носится за ним как угорелый, но ничего не помогает.

Нам Дудика не жалко. У него нет друзей во дворе. Мы его уважаем за умение играть в футбол, баскетбол, хоккей, но бывает, что он то играть хорошо вдруг перестает, потому что, как потом выясняется, его из другой команды большой пацан пугнул, то видно, как перед большими шестерит, а тех, кто послабже, угнетает.

Начинает темнеть, а Дудик всё мается. Последний час он почти не сопротивляется, тупо и не слишком быстро бегая за клёком. И вот, когда уже летящий клёк плохо видно, Серебряков с царя фигачит с двух рук своей дрыной, крутанувшись перед броском кругом. В темнеющем небе летящий клёк исчезает из виду, и куда падает, естественно, тоже не видать. Дудик шлепает за ним. Ему кричат, чтоб быстрей, а он идет себе как шел. Начинает искать. Уже склон кончается. Угол третьего дома. Подходит к ограде между третьим и желтым домом – и вдруг как послушался насчет быстрее: побежал. В проход и за угол третьего дома. Орем, свистим. Кто-то предлагает ловить. Но всем ясно, что слинял, и игра на этом заканчивается.

Идем искать клёк. За местом, где жгут елки, то есть всего в трех шагах от ограды, находим. Выходит, это был тот самый кажущийся невероятным удар. Но никто его из-за наступающей темноты не видел.

Миниклёк

С клёком жалко расставаться по осени. Может быть, потому что к зиме он забывается, не пытаемся играть в него зимой. Но осенью руки еще чешутся – а кругом лужи и грязь. И вот как-то вечером я беру пробку от сухого вина и карандаши и пробую поиграть дома в маленький клёк. Сначала на полированном столе, потом на полу. На следующий день показываю игру Рябчику. Ему нравится, но он, конечно, не авторитет в играх. До весны о маленьком клёке я забываю. А весной, когда за домом высох асфальт, Рябчик напомнил о маленьком клёке. Мы делаем себе небольшие биты из веток, находим пробку и с ним и Васьком, расчертив поле (позиции в трех лилипутках друг от друга, руку из-за черты, обозначающей позицию выносить нельзя), начинаем играть. Появляются Лёнчик и Тетёня.

Неожиданно оказывается интересно, хотя интерес выходит совсем не тот, что в большом клёке. Игра идет по обычным правилам (но *на лету* клёкаем). Играем на корточках. И весь кейф в том, что чувствуешь себя великаном, играющим в лилипутскую игру. А так как великанов много, а поле маленькое, то нужно уворачиваться от столкновений и не сбиваться в кучу-малу.

Этот вариант игры стал называться миниклёком, и играли в него сезон за сезоном. Через год никто, в том числе и я, не вспоминали, кто этот самый миниклёк придумал. Когда звали играть в клёк, то стали теперь уточнять, в какой, имея в виду в мини или в натуральный. Это значит, что игра пошла, даже большие пацаны участвовали в ней.

Однажды, спустя много лет, я проходил мимо нашего дома, из которого мы уже переехали, и вдруг на том самом месте, под окнами Доценок, выходящими на шестой дом, на тротуаре – была весна, и солнце уже высушило здесь асфальт – вижу: пацаны играют в миниклёк. То ли двор сохранил игру, то ли она была изобретена заново. Возможно, конечно, что и я изобретал велосипед, но честное слово, никогда и нигде раньше или позже не видел этой игры и не слышал о ней ни от кого.

СПИЧКИ

Как золотая птичка,
Дрожит огонь впотьмах,
В одну минуту спичка
Сгорит в моих руках.
Арсений Тарковский

Спички как особая игра. – Коробочка. – Правила зажигания спичек: целка, об штаны, зажигалка. – Штуки из спичек и мини-игры: крест, ракета, жучок и лягушка, бомбочка, коробка на носу, перестрелки. – Спичечные приколы: фантомас, дурак мотоцикл заводит и т.п. – Разное прочее: фонарик, гадания, дюбеля...

Сейчас, наверно, надо специально оговаривать, что под *спичками* подразумевается коробок только одного типа: кондовый такой пенальчик из оклеенных синей бумагой щепочек с семидесятью спичками внутри и этикеткой, на которой одновременно красочно и тускло что-нибудь изображается: исторические здания и деятели, достижения науки и техники, плакаты с призывами звонить 01 при пожаре и т.п. Пару раз мы видели картонный, мягкий коробок, однажды – плоский со спичками-полосками, которые надо отрывать. Немного чаще попадались парадные большие спички с красными головками. Понятно, все это было страшно ценным, даже в смысле просто в руках подержать. Большие, на пятьсот спичек, коробки с кухни просто уважались за размер, но были только для *рассыпушки.* Заводить железный коробок, который сверху надевается на обычный, было бесполезно: надо заморачиваться прятать от родителей, а все только для понта. Не то что *ножичек*, который тоже надо было вроде как прятать, но вещь необходимая. Вроде как – потому что главное было не светить, что носишь на улицу без спроса: строгай дома и во дворе или во дворе же играй в ножички – но попроси разрешения взять. А *спички* – это всегда отнималось. Недаром одной из самых распространенных этикеток на коробке был пожар с надписью «Берегите спички от детей!» И железный коробок, если нашли бы, то забрали бы тоже.

Спички

В *спички* играют так. Делят спички поровну, если нет по коробку у каждого, а из одного или рассыпушка. Они становятся *солдатами*. Берем по одному *солдату*, сильно зажимаем его за концы между указательным и большим пальцами, остальные поджаты, и ударяем своим *солдатом* по *солдату* противника или нажимаем на него, пока один из *солдат* не ломается. У кого солдаты кончаются быстрее – тот и проигрывает. Играем один на один, иногда – на вылет или на победителя. Если повезет, среди твоих солдат оказывается *великан* – толстая или просто крепкая спичка, которую никто не может сломать.

Мухлеж обычно шуточный: слишком хорошо просматривается, как пытаешься подпереть своего *дистрофика* (тонкую спичку) средним пальцем. Считается, что победу приносит резкий неожиданный удар в сочетании с сильным сжатием солдата. Однако при такой манере много жилят, поскольку при стремительном нападении противника его можно обвинить в нарушении правил, например, заявить, что он сломал твою спичку не спичкой же, а пальцем. Кроме того, пальцы от сильного нажима на концы спички скоро начинают дико болеть. Правильней сместить точку

соприкосновения с солдатом противника от середины своей спички и при этом попасть в середину его спички. В этом случае неважно – защищающаяся ты сторона или нападающая. Когда оба игрока используют эту тактику, то «картинка» получается как бы замедленная: каждый плавно водит рукой вверх-вниз, из стороны в сторону, по кругу и зигзагами, выбирая момент для атаки и одновременно не позволяя противнику нанести правильный удар.

Как-то сидим у Слона и рубимся в *спички*. Это когда мы уже стали вчетвером вместе держаться, а Серега, старший брат Слона, еще не сел. Все мастера, и поэтому дело идет медленно и становится скучновато. Заходит Никон, он на том же этаже обитает, к Сереге, которого дома нет, и включается. Тут же становится ясно, что это тот случай, когда возраст не является преимуществом. Он просто не знает, как правильно играть, чтобы выиграть. Слон одной спичкой делает почти весь коробок Никона.

– Мухлюешь! – заявляет Никон. За Слоном это водится, умеет, даром что по виду не скажешь, только нечасто пользуется. Но кто за ним это знает, тот, когда Слон у него во что-нибудь выигрывает, сразу начинает подозревать, что дело нечисто.

– Давай с тобой, – предлагает Никон мне.

Сначала я не успеваю реагировать на быстрые наскоки никоновых солдат, и счет идет один в один: то мой солдат ломается, то его. Постепенно начинаю приспосабливаться и выводить из-под удара середину спички. Никон сразу начинает проигрывать. Злится, само собой. Предлагает Кульку сыграть, потом Го́ре – результат тот же.

Понимает, что чего-то не понимает, успокаивается и предлагает: «В чем накол?» – в смысле научите.

Объясняем, что никакого накола нет, показываем, каким местом надо солдатом ударять. Наверно, другой кто из больших пацанов никогда бы так не сдался. Бросил бы всё и при этом еще как-то силу показал: придумал бы, как обозвать обидчика, чтоб тому позорно стало, а то и просто в лобешник вроде как не серьезно, но ощутимо заехал. Никон в этом смысле один такой: сидит с нами, учится, как правильно солдатами распоряжаться. Зато врубается, теперь наравне играет – и дово-о-ольный.

Коробочка

А вот в нее Слон действительно спец. Точно без мухлежа, но почти всегда и любым коробком выигрывает. Кажется, Слон знает какой-то секрет, но как ни пытаемся высмотреть, в чем тут дело, ничего не выходит: кажется, бьет как придется, особо не целясь, а поди ж ты. Если садимся играть с ним, то главный интерес – как быстро выиграет? с каким отрывом? сколько конов из пяти?

В *коробочку* начинают рано, а потом уже не останавливаются. Целый день можем всей кодлой на столе у березы резаться. Зараза, в общем.

Коробок ставится картинкой вниз на край стола так, что часть его выступает за край. По ней резким толчком согнутого указательного пальца или щелчком производится удар снизу, и коробок взлетает, переворачивается и падает на стол той или иной стороной или боком. Играют до ста очков. Вставшая на узкий торец, на попа, коробка дает 25 очков, на широкий – 10, простой переворот, чтоб этикеткой вверх – 5, а когда этикеткой вниз – 0. Можно играть и до 21, значения тогда будут соответственно 10, 5 и 1. Когда коробка слетает со стола, всё сгорает. После двух-трех удачных переворотов обычно останавливаются и передают коробок дальше – тогда все набранные очки сохраняются. Но иногда от жадности или от безысходности (нужно догонять) делают лишний ход, который оказывается нулевым, и набранные именно в этой серии очки сгорают. Например, набираешь в серии шесть очков (широкий торец плюс простой переворот) и отдаешь коробок следующему – эти шесть приплюсовываются к прежним. Но, скажем, ты не останавливаешься и пытаешься добавить еще, а коробка падает картинкой вниз, – твои шесть сгорают (что было до этого, всё остается). Картинкой вниз не только не дает очков, но и означает передачу хода.

Концовка игры – самое сложное. Надо набрать точно сто очков (или 21). Предположим, у тебя 98. Тебе надо набрать всего два очка, то есть сделать два простых переворота. Но вместо этого коробок падает на бок – пять очков. Эти очки приплюсовываются к 98, и получается перебор – 103. Три очка разницы отнимаются от ста – выходит 97, то есть меньше, чем было до этого удара, хотя ты выбил целых пять очков. Так что опередивший всех, если начнет топтаться в концовке, может и проиграть.

Есть хорошие коробки и плохие – лучше встает на торец и на бок новенький, полный спичек коробок, но после первой же игры он расшатывается и разбивается на углах и по краям и теряет устойчивость. Сторона со спичечными головками тяжелей – это позволяет установить коробок так, чтобы больше другой его половины выступало за край стола, – считается, что это наиболее удачная позиция для удара. Многие предпочитают при этом слегка разворачивать коробок и бить не по центру, а по углу.

Как правильно зажечь спичку

Правильно зажечь спичку не так просто, как кому-то кажется.

Чиркалку на боках коробки для этой цели использовать ни в коем случае нельзя. Зажигаем спичку, чиркая ей об этикетку: на углах всегда натеки серы – об них спичка и зажигается. Чиркалка должна остаться без царапин, девственной, она так и называется: *целка.*

Спички зажигаются о стекло, лист бумаги, гладкую стену, набитый на стол для доминошного козла пластмассовый лист. Пару лет была мода зажигать спички о брюки: нога поднимается, брючина натягивается, и спичка чиркается о бедро, либо рукой натягиваешь штанину на икре и то же самое. В обоих случаях штаны все становятся в полосах.

Дежурный понт – *зажигалка.* Коробок зажимается в кулаке, а большой палец держит стоящую головкой на чиркалке спичку. Затем несильным, но резким движением указательного пальца спичка подсекается у головки и происходит зажигание (правило сохранения целки тут не важно, главное – понтануться). Несерный конец спички оказывается зажатым между большим и указательным пальцами, а огонь загорается в круглом «окошке», образуемым ими. Правда, иногда, сколько не тренируйся, и как раз особенно когда еще только тренируешься, зажегшаяся спичка втыкается прямо в перепонку между пальцами – бо-бо.

Серебряков как-то показал трюк, который никто из нас так и не смог повторить, сколько не пытались. На выставленный вперед локоть кладется коробок. Спичка находится в пальцах той же руки. Резким движением рука выпрямляется, коробок летит с локтя, спичка попадает на чиркалку и зажигается. (Уже взрослым узнал, что мы зря тренировались, потому что это был не просто трюк, а фокус, и спичка зажигалась вовсе не о чиркалку летящего с локтя коробка.)

Штуки из спичек и мини-игры

Крест и звезда. Спички выкладываются на ровной поверхности головками друг к другу. Получается крест, пяти-, шести-, семиконечная звезда. Место соединения поджигается и тут же задувается. Спички склеиваются, как сваркой, образуя фигуру. Если в скрестье еще и вертикально поставить спичку, то получается вертушка. Можно поставить две, а то и три под наклоном, поддерживая их сверху кончиками пальцев, выйдет просто какая-то каракатица, но это сложно.

Ракета. Две спички выставляются рожками из коробка, третью ставят распоркой между ними так, что она соприкасается серой с головкой одного из рожек. Когда в этом месте их поджигают, спичка-распорка выпуливает ракетой (в сторону, где головка, то есть этим концом держать от себя).

Жучок. Берется одна спичка (слегка укороченная) и пустой коробок. *Венгерка*, тонкая, которую достают из широкой белой резинки, такой, как в трусах, привязывается к укороченной спичке и накручивается на нее. Через дырочку в крышке свободный конец выводится наружу и закрепляется на другой спичке. Обмотанную спичку надо все время придерживать, придавливая

её ко дну коробка безымянным пальцем, чтобы она преждевременно не раскрутилась. Коробка быстро закрывается – *жучок* в коробке начинает с громким треском бегать.

Лягушку делать сложней, но принцип примерно тот же. Прокалываются дырки в боках коробка и в них пропускается сложенная вдвойне венгерка. Внутри коробка между венгеркой устанавливается спичка-распорка. Снаружи с боков венгерка наматывается на спички. Готовая лягушка кладется на землю, отпускается и начинает прыгать.

Бомбочка. Одна спичка, а лучше рядок, слегка выдвигаются из коробка, ей или ими чиркается о другой коробок, это чирканье плавно переходит в бросок, и летящий коробок вспыхивает всеми 70 спичками. (Есть еще настоящие *бомбочки* – из фольги с изолентой, для них со спичек счищается сера. Она же нужна для того, чтобы бабахнуть другими «взрывными устройствами» – *пулькой, монтиком* и проч.)

Коробок на носу. Пустой спичечный коробок (внешняя часть) надевается на нос и при помощи движений губ, носа и прочей мимики без помощи рук и без трясения головой снимается с носа. Кто быстрей, тут не так важно, как то, какие рожи получаются. По скорости все примерно одинаково снимают, за двумя исключениями. Имеющий чуть ли не как второе прозвище Красаве́ц Го́ра, самый физически сильный среди нас, качок, как сказали бы сейчас, и по обоим поводам много воображает. А снять коробку со своего идеальной формы и размера носа вообще не может. И при этом рожи получаются – все лежат. Зато вот похожий на бегемота Рябчик снимает сразу же, в одно движение, без всяких рож.

Перестрелки спичками. Коробок берется в левую руку. Спичка устанавливается перпендикулярно чиркалке и прижимается в этом положении большим пальцем сверху. Щелчком пальцев правой руки спичка вышибается из-под большого пальца и, зажегшаяся, летит. Точно прицелиться невозможно. К тому же и спичка не всегда зажигается или часто гаснет, не долетев до цели. Может она и закрутиться и полететь в обратную сторону, когда пытаешься посильней щелкнуть. Почему-то никто ни разу не загорелся и даже, кажется, одежду не прожег. Хотя до сих пор в животе холодеет, как вспомню, что однажды спичка, запущенная мной, мне же на тыкву и угодила. Я не понял, думал, что через плечо улетела, и еще запускаю. А кто-то из пацанов вдруг орет, явно мне: «Волосы!» Я руками за голову, и сразу на нее наткнулся – погасшую. А вдруг бы не потухла? Рожа, наверное, у меня перепуганная – народ ржет. Ради того перестрелки и затеваются – чтоб и других попугать, и самому попугаться.

Привязав к длинной нитке по спичке на каждый конец и поместив их внутрь коробков, можно сделать *телефончик* и «переговариваться» друг с другом: один дергает за нитку, другой держит коробок у уха. С Васьком у нас была идея (телефонов в квартирах почти ни у кого нет) протянуть нитку от его балкона на втором этаже (четвертый подъезд), ко мне на первый (шестой подъезд). Я нашел в «Науке и жизнь» морзянку и даже начал учить, выбивая везде на ходу точки-тире. Потом решили, что легче основные вещи количеством дёргов обозначать. «Пошли на улицу!» – три раза дернуть. Один раз – «да», два – «нет». Васек сказал, что родители не разрешили, так и заглохло.

Внутренней частью пустого коробка (без спичек) можно *стрелять*: надо сильно дунуть, и она с легким хлопком вылетает из коробка.

Спичечные приколы

Горящую спичку *тушат во рту*. Когда первый раз видишь или сам никогда не делал, выглядит почти фантастически. Вот и я сто раз видел, но сам всегда ссал, правда, так на этом и не попался. До сих пор не решаюсь. Несколько раз уже совсем было собрался. Но в последний момент одно и тоже: жим-жим.

Когда начнем курить, будем делать *фантомаса*: серой, содранной с *чиркалки*, набивается сигарета. В темном подъезде она закуривается. Плавно выпускающийся изо рта дым окрашивает лицо в зеленый цвет. Дым гадский – фосфорный, и затягиваться надо осторожно – ни в коем случае не в себя, а то лихо травануться можно.

Тогда же появится прикол с сигаретным фильтром: «Спорнем, что фильтром от сигареты разрежу спичечный коробок?» Другая сторона выражает резонное сомнение. Но: фильтр (обязательно ватный – от «Нашей марки», а не бумажный – от «Варны») поджигается. Когда он начинает разгораться, боком того же спичечного коробка сильно придавливаешь его край. Получается такой острый уголек, которым коробок и разрезается.

Еще можно спорнуть, что с одного удара **не** разбить коробок спичек.

– Пустой или со спичками? – интересуется клюнувший, чуя подвох, но ему и интересно, в чем именно подвох?

– Пустой.

– Да запросто.

Жертве понятно, что дело не в том, разобьет он или нет, а в чем-то другом. Он готов разбить, чтоб никто не подумал, что он ссыкун, но, конечно, готов и к тому, что, когда он разбивает или сразу после этого что-то ему скажут обидное или попытаются сделать. Зря он так думает! Всё, можно сказать, по-честному. Коробок лежит на скамейке.

– Ну давай!

– А ты отойди! – страхуется жертва.

И тут половина подвоха открывается. Перед тем, как отойти, коробок ставят на попа. «И чё? – думает жертва. – Чё в этом такого? Надо просто посильней ударить, чем если б на боку лежал». И с размаху кулаком сверху хрясь! Он прав: при несильном ударе коробок остается цел, а при сильном – рассыпается. Спор он выигрывает. Но здорово больно! Так что зажимаешь руку другой рукой и между колен и прыгаешь от боли на месте.

Зажженные спички *приклеиваем к потолку* в подъездах и в школьном сортире. Голый конец спички мусолится, затем на него накручивается комочек побелки со стены. Спичка зажигается, одновременно выбрасываясь к потолку, где она, горящая, и повисает. Копотные пятна получаются разнообразно ужасные, складываясь в попросту кошмарную – для жителей подъезда и школьного руководства – картину. Никто не попадается, но в тех подъездах, где собираемся постоянно, когда на улице дубарь, сами следим, чтоб никто спички к потолку не приклеивал.

Фейерверк. Идем *за дорогу,* где ходит трамвай. Несколько коробков спичек в линию кладутся на рельсы, обязательно вечером. Сами – в посадки, откуда смотрим: трамвай наезжает на спички – грохот очередью с искрами. Только один раз трамвай остановился. Вышла тетка-водитель, заглянула под колеса, поорала в никуда что-то про милицию и поехала дальше.

Был еще такой дежурный прикол, но, тем не менее, всегда находились те, кто ловился. Из спичечного коробка выставляются две разведенные в разные стороны спички. На полном серьезе человеку, согласившемуся участвовать в проверке его координации, а именно так это заявляется, предлагается взять коробок за эти «рога». Чтоб всё убедительно было, надо внимательно осмотреть, правильно ли держат, попросить чуть вверх-вниз или вправо-влево сдвинуть. «Вот, так нормально... А можешь теперь крутить правую спичку и одновременно топать правой ногой?» Топает. «А крутить, топать и одновременно говорить *дык-дык-дык?*» Когда он это делает, окружающим сообщается, что это *дурак мотоцикл заводит*.

По мелочи и вообще

Время от времени, когда появляются интересные этикетки, причем сериями, ну там самолеты или танки разные, начинаем собирать *спичечные этикетки*, сдирая их с коробка, что не всегда получается, потому что намертво приклеены, – и надо отпаривать, а кто-то из-за этого держит в коллекции и крышки, целиком выломанные из коробков.

Если пустые коробки склеить между собой, получится стол или шкаф с выдвижными ящиками. В его отделы можно положить различные полезные мелкие вещи: засушенного жука, заложки, медь, серебро и даже бумажки и т.п.

Иногда идут *спичечные головоломки*. Как, скажем, сложить какую-нибудь цифру из определенного количества спичек, например, «5» из двух штук? Или чтобы бычок (не окурок, а теленок), выложенный спичками, пошел в другую сторону, переложив опять же только две спички.

Есть пара способов *гадания по спичкам*. Первый: горящая спичка в положении серой вверх, потухнув, направлением сгоревшей части отвечает на вопрос, где живет невеста (жених) гадающего (-ей). Другой способ предполагает полное сгорание спички (кстати, было и такое спичечное развлечение само по себе: сжигание спички полностью с перехватыванием отгоревшей, все еще горячей части в другую руку), затем сгоревшая, остывшая уже спичка кладется на ладонь, накрывается другой ладонью так, что пальцы смотрят в противоположенные стороны. Крепко прижатые друг к другу ладони поворачиваются, чтобы пальцы совпали. Раскрыв книжку ладоней, можно увидеть на них черные знаки, которые некоторые истолковывают как буквы (инициалы невесты или жениха), некоторые – более сложно: например, как цифры, во сколько или через сколько лет умрешь.

Фонарик получается, если сложить вместе ладони, которые действуют как отражатель в настоящем фонарике, спичка находится между указательным и большим пальцами, головка направлена внутрь ладоней. Так намного светлей светить себе в темноте.

Что еще делали тогда со спичками вообще (если кто не знает, коробок стоил одну копейку)?

Спички – это зубочистки, правда, при этом говорят, что спички чем-то таким пропитаны, что чистить ими зубы нельзя, а обмотанные ватой – ухочистки. В спичечных коробках сдается *кална-яйца-глист*. Спичкой каким-то образом (понятия не имею, как именно, но факт из надежного источника) крепятся погоны. Коробок служит измерительным прибором: длинная сторона равняется пяти сантиметрам. Спичкой тычут курицу, чтобы проверить, готова она или нет. Спички, если их плотно набить в просверленную дырку, заменяют дюбель. Когда купим звукосниматели, для чего придется целый день вчетвером разгружать вагон с плиткой на станции, и поставим их на гитары, пустив через магнитолу, то вместо быстро ломающихся штекеров, *пап*, будем использовать спички, закрепляя ими проводки в гнездах, *мамах*.

ФУТБОЛ

Отрадная игра! Широкая поляна,
пестрят рубашки; мяч живой
то мечется в ногах, как молния кривая,
то – выстрела звучней – взвивается...
Владимир Набоков

«...от этой игры
целый век возгордится и будет ходить как дурак»...
Николай Байтов

Анатолий Гаврилович. – Мячи: резиновые и настоящие. – Коваль на воротах, Лобан в нападении, Дудик чемпион. – В двое и в одни ворота, с вратарем и без. – «Мелом нарисуйте». – Чеканка. – Бить об стенку и по воротам. – Без тренировки, но с подставками. – 0:5.

Однажды в наш двор приходит мужик и говорит, что он футбольный тренер, что наблюдал, как мы играем в футбол во дворе, и хочет с нами позаниматься, чтобы мы стали командой и сыграли в турнире дворовых команд. Светлые редкие волосы, рубашка с коротким рукавом, лицо самое что ни на есть, как у всех подряд. Назвался Анатолием Гавриловичем.

Мы, естественно, преисполнились гордости, надежд и просто понту, стали обсуждать между собой, кого брать в команду, и ждать, когда нас позовут тренироваться.

Что такого мог увидеть Анатолий Гаврилович, что привело его к решению предложить нам свое тренерство?

Лето – это сплошной футбол. Играем во дворе в двое или в одни ворота либо у ателье мод на асфальте, чаще всего резиновым мячом, которым и в вышибалы, и в теннис мячом, и в картошку,

хотя чем дальше тем больше – футбольным, не ниппельным, цельным, а с покрышкой, сшитой из лоскутов кожи, с камерой внутри и шнуровкой. Только несколько раз случается ниппельным: у Лобана такой есть, но родители выносить его почти никогда не дают. Дудик тоже пару раз вынес, утверждая, что это не его, а взял в своей футбольной секции.

Резиновый мяч намного легче настоящего, и не так больно, когда прямо в тебя зафигачат со всей силой. Большой резиновый стоит 70 копеек, он соломенного цвета с синими, красными, зелеными полосками по экватору, иногда крест-накрест. Если нажать на него руками, он поддается, а при сильном ударе гулко звенит. За лето яркие полосы стираются, и мяч становится мягче, а потом наступает момент, когда он продырявливается – от старости, стекляшки, сучка. Кстати, играли и дырявым – не потому, что нормального не было, а для прикола: мяч летит всё время не так и не туда, вести его надо тоже по-другому, потому что катится он еле-еле и не подпрыгивает. Потом появляются другие резиновые мячи – в пупырышках по всей поверхности, из более плотной и в то же время более легкой резины, одноцветные (черные, темно-синие, темно-фиолетовые, коричневые) тоже годятся и для вышибал, и для волейбола, стоят они дороже – рупь, но дырявятся и разбиваются, как обычные.

Есть еще резиновый средний мяч, им играем для разнообразия – его трудней отнять, голов больше получается. Для смеха иногда берем маленький резиновый, который чуть больше теннисного.

Резиновыми мячами играем не потому, что жалко настоящий футбольный с камерой. Просто когда собирается почти весь двор, надо маленьких и девчонок пожалеть. С нами играют не только старший и младший Багаевы, но и младший брат Таньки Палашенко, младший Баранов, а из девчонок, помимо Палашенко и большой Вальки из четвертого подъезда, – Ритка из пятого и младшая сестра Лешинина.

Главные футболисты – Дудик, Лобан и Коваль. Первые двое больше всех забивают. Дудик здорово водится и точно бьет, а Лобан самый здоровый, носится по полю, как сумасшедший, и бьет по мячу сильней всех. Коваль лучше всех стоит на воротах, а когда играет в поле, очень хитро все делает и пасует под гол.

Коваль с Лобаном друзья, учатся в одном классе (на два класса старше меня, как и Го́ра, Теплый, Стасик, Кулёк), но очень разные. Коваль по росту второй после Лобана, но гораздо худей, хотя и не дистрофан. Если Лобан много бегает, бортуется, лезет с прямой ногой, а когда проигрывает, то не просто жилит, а бесится, то Коваль почти всегда спок. В отличие от Лобана, идущего напролом и лупящего по воротам во всю мочь, он все время пасует, заранее договариваясь с другими из своей команды, как сыграть. Коваль – единственный из нас, кто постоянно смотрит футбол по телику и знает поименно всю бразильскую команду и «Торпедо», за которое он болеет. Стрельцов, Яшин, Пеле и Гарринча – его кумиры. В воротах Ковалю нет равных. Лучшие после него вратари – Дудик и Аким – стоят намного лучше любого из нас, но по сравнению с Ковалем это не то. Он падает в ноги, прыгает за мячом в угол ворот, знает, как поймать или отбить сильно пущенный мяч. Правда, с большими воротами и вратарями играем редко – фактически только когда в одни ворота. Разозлить его можно, кажется, лишь одним способом: называя Валей, Валюхой или Валюшей и приобнимая, как девушку. К этой дежурной хохме добавляется что-нибудь на украинский манер из-за фамилии на «-ко» типа «Здоровеньки булы». Девичьего в нем ничего нет, если не считать за таковое нос картошкой и немного веснушек, но кто-то когда-то запустил этот прикол, и время от времени достаем.

А вот злящийся в игре Лобан, наоборот, совсем почему-то не злится, когда его подкалывают, причем по дворовым меркам, обидно. Дело в том, что основа его игровых достоинств, а он не только в футбол, а почти во всё лихо играет, – опережающее физическое развитие, как сказали бы взрослые, выраженное в росте и массе. И вне игры оно его здорово подводит. Он отчаянно подглядывает под юбки, да так, что практически впадает в оцепенение: голова его клонится все ниже и ниже, чуть не до земли, рожа, похожая на лица русских богатырей в фильмах, тупеет, а если его в этот момент позвать, он не обязательно откликнется, потормошить – вздрогнет. Девчонки,

переворачивающиеся на решетке у первого подъезда, тетки, развешивающие белье на веревках во дворе, дама из третьего дома, ходившая летом в легкой кофточке без лифчика, и прочие *сеансы* ловятся им глубоко и постоянно. Естественно, что и подкалывают над ним за это беспощадно. Но он ничего – сам ржет.

Футболист и вообще спортсмен №1 – Дудик. С какого-то совсем юного возраста он занимается во всевозможных спортивных секциях, у него есть настоящая футбольная форма – однажды показывал, но во дворе в ней не играл. В хоккей, футбол, волейбол, баскетбол он играет в два раза лучше любого из нас. Роста он небольшого, худой, но жилистый, знает массу всяческих финтов, хитростей, приемчиков, бесконечно *чеканит*, причем без разницы – левой или правой ногой, ступней, коленом или головой. Держится всегда как бы вне двора, но в играх с мячом участвует почти все время. К его умению даже большие пацаны относятся с уважением.

Го́ра, как и Лобан, много носится по полю и сильно бьет, но водится не ахти и паса от него не дождешься. Поэтому первой футбольной тройке сильно уступает (хотя лучше всех плавает, быстрее всех бегает, больше всех поднимает, хорошо играет в хоккей).

Другие пацаны этого возраста играют в футбол не лучше, а то и хуже нас, тех, кто помладше. Шустрый Теплый толкается и куется, Кулёк и Стасик не шустрые, но тоже куются, водятся плохо, но стараются не уступать.

Младший Чугун и Кузя до их переезда, Слон (все трое на год старше меня), мой ровесник Васильев (жутко худой с впалой грудью) и я обычно при разбивке на команды загадываемся в тех или иных сочетаниях друг с другом, что значит, примерно одинаково играем. Танька Палашенко, если нет других девчонок, тоже загадывается с кем-нибудь из нас. Ничего унизительного в этом нет, потому что по делу и всем она нравится.

Дальше идет «массовка». Рябчик, удивительно неповоротливый и неспособный толком пробить по мячу, не то что водиться. Тетёня, жутко и без особого толка суетящийся на поле. Хотя получается у них обоих плохо, играть в футбол любят. Васёк (который, как и Тетёня, младше меня почти на год) и Лёнчик играют редко и тоже очень не очень. Хуже их четверых только Жорик-обжорик, если не считать малышню.

Редкая игра обходится без больших пацанов. Серебряков, который потом за юношей играл в «Соколе», Лещинин, Булавин, Никон довольно часто бегают с нами. Иногда даже старики включаются: Баранов, Буланов, Волков, а также совсем не часто, но зато все только на него и смотрят, Шура-футболист (играющий за заводскую команду). Толька Бочкарев и старший Чугун, пока не переехали, тоже играли. Иногда участвует Генка Косой, полностью оправдывая прозвище, почти постоянно – старший Кульков, Коля-Попрыгунчик, старательный, но самый грубый.

В общем, по возрасту и умению для игры в турнире подходят только Го́ра, Лобан, Коваль и Дудик, с натяжкой по умению – младший Чугун, Кулёк и Стасик. Только по возрасту – Рябчик и Теплый. Поскольку младше тоже можно, в команде оказываемся Васильев и я.

Анатолий Гаврилович через пару дней снова появляется в нашем дворе и сообщает, что игра через пять дней, что будет только одна тренировка на стадионе «Нефтяник», где потом и будет проходить сама игра. Мы в шоке, но виду не показываем. Рассказываем, что проблема с составом. Он предлагает поставить пару ребят постарше, но никому об этом не говорить. Так в команду попадают Серебряков и Никон вместо Рябчика и Теплого.

– Форму получите, когда во второй тур выйдете, – говорит Анатолий Гаврилович. – А пока вот, как этот, – показывает на Коваля, – в трико сыграете. Только цвет чтоб один – синий у всех. Или черный. – В меня ткнул.

– А номера как? – спрашиваем.

– Мелом, мелом нарисуйте... До встречи на стадионе.

Кроме Серебрякова и Дудика, никто на большом поле в настоящий футбол не играл. Коваль еще сказал, что пару раз ему приходилось – когда ездил в прошлом году к родственникам на Украину. Наше основное поле – двор. Травы здесь только под березой, на краю поля, и у тополей напротив шестого подъезда. А так – жесткая земля и немного песок там, где песочная куча далеко

располагается. На да это ладно – на траве получше играть. Ниппельный мяч – это тоже здорово. Но никогда во дворе судьи не было. В двое ворот без вратарей, без офсайдов, без угловых играем...

Да, судьи никогда не было. Все штрафные назначаются по инициативе пострадавшего. В спорных случаях *жилим* до усрачки, что заканчивается спорным, а если обстоятельства позволяют, то *жила на вилу*, то есть надо вернуться к моменту нарушения и продолжать, как будто его не было, а там что получится. Так что одна из сторон, в пользу которой все вышло при повторе, могла радостно проорать: *жила показала!*

Играем в двое и в одни ворота примерно поровну. Когда в одни ворота, почти всегда – с вратарем. Одними воротами служат обычно два тополя, располагающиеся между третьим и четвертым подъездами и отстоящие друг от друга на пять больших шагов. Поле получается больше в ширину, чем в длину, поэтому игра идет как бы поперек него. Главное правило – отвести мяч, если он достается тебе у ворот от игрока команды соперника. Гол, забитый без отвода, не считается (мера отвода определяется на глазок). Последнее слово в случае возникновения споров за вратарем: ему все видно, и он играет как бы за две команды сразу. Разумеется, поэтому иногда возникают подозрения, что вратарь стоит лучше за одних, чем за других.

Хотя игра в двое ворот обходится без вратарей, но их роль фактически выполняет последний защитник. Он защищает ворота как угодно, но руками ловить мяч не имеет права. Ворота в этом случае гораздо уже, 12-15 лилипуток, то есть не шире двух-трех шагов. Штанги – кирпичи, или левые, если стоять лицом к дому, ворота образует торцовый проем теннисного стола (в года, когда нет клумбы), а правые – два тополя напротив шестого подъезда. Верхней штанги в них нет, поэтому договариваемся: по грудь, как в теннисном столе.

Защищает ворота в варианте в двое ворот самый неумелый, самый слабый или самый младший игрок. Правда, если игра серьезная, то вахту на воротах отбывают все игроки по очереди. Слабые, если их вообще берут в такую игру, должны в поле мешать водиться игрокам другой команды.

Одновременно на поле могут быть игроки от дошкольников до стариков. Количество играющих – от трех-четырех до восьми-десяти человек с каждой стороны. Впрочем, пару лет проводим турниры по игре один на один – с медалями из фольги и пластилина. Игра идет до 5 или 10 голов в одни ворота, во втором случае со сменой ворот после 5 голов. Можно и до 5 или 10 голов в двое ворот, но это реже, потому что при счете, например 6:1 надо начинать новую игру. Пробовали играть на время. Оказалось, что все про время больше думают, а не про игру, постоянно орем «Скока осталось?», жилим, что те, кто выигрывают, тянут время, и еще следить надо, чтобы кто-нибудь стрелку будильника, вынесенного втихаря от родителей, не подвел. Фигня, в общем.

Офсайд не считается. Очень редко, буквально два или три раза играли с аутами и угловыми. А обычно, если мяч улетает за пределы поля, то за ним бегут, и часто борьба за него ведется чуть ли не у желтого дома. Разрешается играть и за воротами, но при этом через створ ворот с обратной стороны мяч в поле выбивать нельзя. В случае игры рукой или грубого нарушения вблизи от ворот пенальти пробивается в пустые ворота с семи шагов пяткой.

По полю бегаем волнами и кучами. Кричим «Ворота!» или «Держи ворота!», что означает, что никого на них нет, а противник с мячом. И все бросаемся к ним. Или кричим «Пошли!» и все несемся в атаку, а там уже орем: «Дави!», «Фигачь!». «Мешай!» означает, что всем, кто поменьше, надо лезть на игрока, ведущего мяч. В нападении чуть ли не основной прием – ложный замах вроде для убойного удара, часто со страшным криком, иногда вполне логичным вроде «Убью!», «А-а-а!», «Спасайся, кто может!», а иногда нелогичным, – например, «Ложись!». Это действует, особенно после того, как защитник получает мячом в живот, в спину или пониже со всей силы с близкого расстояния. Поэтому инстинктивно он отворачивается, и мяч мимо него посылается в ворота, либо его, застывшего от ужаса, спокойно обводят. Обводка самая простая: если не на замахе, то мяч просто прокидывается вперед. Не успевает защищающийся выставить ногу и остановить мяч – беги за мячом, а защитник за тобой. Успевает – он бежит за отскочившим мячом, а ты за ним. Реже мяч прокидывается справа от защищающегося, и его надо обежать слева. Еще реже,

и это всегда котируется, мяч пробрасывается между ног защищающегося. Пасовать жадничают – все всё сами хотят сделать, особенно в атаке. Но больше всего как раз орут «Пас!», в смысле, чтоб им мяч отдали, а потом выясняют: «Ты чё мне пас не дал?» Большие пацаны злятся, что почти никто не понимают, что значит держать игрока противника. Сначала тот, кому сказали держать, ходит и бегает за тем, кого сказали держать, а потом забывает, потому что все это без мяча и скучно, и, бросив своего подопечного, кидается туда, где мяч – в кучу.

Можно *бортоваться* (никаких бортов нет – имеется в виду корпусом или плечом толкать), *брать на очко* и даже *в коробочку* – только руками толкаться запрещается. Это всё идет, наверно, от хоккея. И если в летнем футболе иногда спорим, можно или нет применять силовые приемы, то в зимнем футболе всё совсем по-хоккейному, пусть и хоккей этот на валенках, а не на коньках. А как еще играть в футбол на льду? Скольжение позволяет играть очень быстро, но надо помнить, что разогнавшись, затормозить уже не сможешь. Жёстко всё получается, и малышню в зимний футбол никогда не берем играть, потому что от них только мокрое место останется.

Впрочем, летом игра с большими пацанами тоже небезопасна – и для малышей, и для нас. Первое время, когда я начал играть со старшими, важнее результата было не меньжануться, когда на тебя несется стремительный шкаф Серебряков и очень убедительно орет, чтобы я ушел, предполагается «а то». Но оказалось, что можно и мяч, отпущенный им немного вперед, в сторону выбить, и самому под этот самосвал не попасть. Или, выведя мяч из-за собственных ворот, которому сам же не дал в них попасть, можно сделать точный пас через все поле своим в нападение и они забьют! Или буквально грудью, защитив ее прижатыми руками (прижатые руки руками не считаются), подставиться под удар в упор Булавина. И даже побежать вместе со всеми в атаку и забить самому.

Футбол на асфальте тоже опасен, но по-другому: если падаешь, то обязательно локоть или коленку обдерешь, а то штаны порвешь – этого многие боятся больше всего, так как за рваную одежду порка им полагается непременно. Игра идет за желтым домом, на асфальтовой площадке шириной в две обычных дороги, между скверико м и «задами» желтого дома, в котором в высоком первом этаже располагается ателье мод – с окнами-витринами, где стоят манекены. Площадка не впрямую примыкает к стене дома. Между ними широкий, почти как дорога, тротуар и полоса земли с деревьями. Но, несмотря на эту защиту, изредка игра прекращается автоматически – после попадания мячом в витрину надо быстро хватать мяч и рвать когти, так как из ателье мод появляются тетки и начинают орать. Возвращаемся туда через день, и наше появление обычно вроде как не замечается, и мы спокойно себе принимаемся играть. Однако иногда нас встречают те же орущие тетки, как будто не позавчера все произошло, но уже, будто устав, орут они теперь не так сильно. Начинается дипломатия: мы уверяем, что это была случайность и больше никогда ни за что ничего подобного случиться не может, изображая из себя жутко вежливых и спокойных детей, заранее выказывая готовность к принятию совершенно любых кар и наказаний, если что, вплоть до кем-то придуманного отца-стекольщика, который уж если совсем что, то сразу и бесплатно всё.

С футболом связана *чеканка*, но это вполне самостоятельная игра. Ногами или любой другой частью тела, кроме рук, – головой, грудью, плечом – нужно бить мяч так, чтобы он не падал на землю. Это и называется «чеканить». У Дудика под тысячу, у Коваля и Лобана в районе 500. Мой рекорд – 360 ударов. Остальные с большим отрывом сзади. В эту игру можно играть и одному, стремясь увеличить собственный рекорд и одновременно тренируясь. Но, разумеется, веселее вместе. Сначала играли до сотни, но это быстро потеряло смысл, так как можно было закончить с первого раза. Потом – до пятисот, а затем – до тысячи. Поочередно каждый чеканит, приплюсовывая результат последующего круга к предыдущему. Выигрывает не тот, кто первый набирает тысячу – ее могут набрать сразу несколько человек в одном круге. В этом случае тот, кто набирает больший излишек, становится победителем. Например, я чеканю первым – у меня 840, я набиваю еще 160 и у меня становится 1000, но я не останавливаюсь и в результате имею 1071. За мной чеканит Лобан, у которого 920, он тоже не останавливается на тысяче, а чеканит дальше и набивает 1110. Он у меня, таким образом, выигрывает.

Другой вариант – кто больше с трех раз. Тут есть свой кейф. Можно попытаться отыграть в последней попытке безнадежное отставание. Или когда все основные идут очко в очко, то все решается в последней попытке.

Кроме того, бьем об стенку и по воротам, это так и называется «бить об стенку» и «бить по воротам». В первом случае это игра для одного-двоих. Нет никого – и стучишь о почти глухую стену дома со стороны детского садика. Выходит еще кто-нибудь – бьете об стенку вдвоем. Если же выходят двое, а играть один на один или бить об стенку желания нет, бьют по воротам. Один встает в ворота, а другой шагов с 12 бьет пять или десять раз. Затем меняются местами. Счет попросту складывается. Например, мне забивают шесть, а отбил я или мне промазали четыре; я забил пять, и столько же моих ударов отбито, получается, что счет 9:11 не в мою пользу.

За день до матча едем на тренировку – в трамвае до конечной, поочередно по одной остановке стоя на подножке: двери-гармошке спиной не даешь закрыться и держишься рукой за поручень. Кондукторов сменили кассы – никто за это не гоняет. На остановке нужно обязательно спрыгнуть, пока трамвай не остановился, если там, конечно, народ не толпится, потому что бежишь несколько шагов по ходу по инерции, а он мешается. Всё это исключительно для понта, потому что опасно – дверь-то за тобой сразу закрывается, и страшно подумать, что будет, если ногу зажмет. Кассы, кстати, от легкого удара сзади срабатывают и дают билет. Три копейки всего экономишь, но это тоже понт такой: уметь надо с первого раза и почти гладя, легко, как бы по касательной, как подзатыльник даешь, этот билет из аппарата выбить.

Приезжаем на стадион. Оба поля – и основное, с трибуной, и запасное, такое же большое за ней, заняты: идут игры у юношей. Анатолий Гаврилович: «Посмотрите тут, интересно». Посмотрели и домой поехали.

Накануне игры мы окончательно определяем состав. Оказывается, что младший Чугун играть не будет (куда-то едет с родителями), и мы идем на еще одну подставку – зовем Булавина. Он должен играть в нападении с Дудиком и Серебряковым. В полузащите – Лобан, Го́ра и Никон. В защите – Кулёк (справа), Стасик (слева), Васильев (в центре) и я. На воротах, естественно, Коваль, он же капитан, так как подставка капитаном быть не может, а ни Дудик, ни Лобан на капитана явно не тянут. Так как без запасных не солидно, что ли, берем Рябчика и Тетёню. Едут с нами поболеть за нас Танька Палашенко и большая Валька из четвертого подъезда, Коля-Попрыгунчик, Генка Косой и младший Багай.

Выходим на поле. Они в настоящей форме, светло-зеленой, и бутсах, мы в трико и кедах. Только Дудик – как они: в бутсах и трусах – под цвет наших трико, в синей же футболке с №10, не мелом нарисованным. За пять минут до начала выясняется, что мы – это не просто наш двор, а весь поселок, и играем с соседним жилучастком. Естественно, противники предъявляют претензии, вычислив по внешним признакам наших подставок плюс туда же записав Лобана. Договариваемся, что после игры тренер покажет кому надо свидетельства о рождении. Побили по воротам и по свистку судьи занимаем места соответственно позициям.

Еще свисток – игра начинается. Я стою у штрафной и жду, что будет происходить. Вроде мы атакуем, и я бегу к центральному кругу. Потом вижу: бегут к нашим воротам, я тоже бегу. Не знаю, как отбились. Потом какой-то штрафной, метания вдоль ворот. Трое наших лежат на траве у вратарской, я в том числе, мяч у Коваля. Потом опять наши в атаку, даже мяч через меня перепасовали.

Но нахожусь я абсолютно вне игры – в переносном смысле. Зачем-то смотрю на трибуну, где наш тренер с Тетёней, Рябчиком и «группой поддержки», в которой только Валька что-то сначала кричит, а потом замолкает, сидят и тренер и запасные противников. Поле огромное, трава под ногами, с проплешинами, но трава. Происходящее вроде как отделено от меня: то ли я в оболочке, в каком-то невидимом скафандре, то ли всё пространство вокруг меня за стеклом, и мне туда никак не попасть.

Вдруг я понимаю, что знаю, что не должен делать на поле свободный защитник, а именно так я именовался, играя во дворе: предполагалось, что я свободно бегаю по полю, но больше в

защите. Вот как раз свободно бегать по полю не нужно, потому что хотя трое защитников есть, но этого явно мало, и почти все наши отчаянно защищаются. Но что тогда значит «свободный защитник»? Не знаю. Стараюсь мешать их нападающим, держась ближе к нашим воротам, вперед, как привык во дворе, не бегу.

Вижу, что они делают подкаты. Это как-то немного нелепо в натуральном режиме, а не по телику или глядя с трибуны стадиона: пацан вдруг падает и катится по траве, а мяч в результате мы теряем. Из наших это получается только у Дудика и Серебрякова. Лобан же попросту прыгает двумя ногами вперед – и получает штрафные.

Первый и второй голы мы пропускаем как-то совсем незаметно для себя. Серебряков начинает орать по ходу игры, что кому делать – с результатом «так я тебя и послушался». Дудик тоже психует, потому что ему не дают играть: вычислили по форме как «профессионала», и двое его всегда держат. Я только один раз за центр поля перешел и сразу навесил в штрафную – абсолютно деревянной ногой и там еще никого наших нет.

Третий гол нам забивают прямо с углового. Я стою на передней штанге, как видел, стоят защитники в настоящем футболе, но, оказывается, что не очень представляю, зачем там надо стоять. Подкрученный мяч ударяется в мое плечо и влетает в ворота. Сделай я шаг вперед или подставь голову, этого бы не случилось. Но я стою и смотрю, как по дуге летит ко мне мяч. Сначала кажется, что летит он медленно и в сторону, просто куда-то в штрафную, а потом вдруг резко ускоряется и оказывается прямо передо мной. Все что я успеваю сделать – полуподпрыгнуть и поднять плечо. Мяч попадает в него, он как камень. Да, во дворе мы почти не играем головой. Но и под такой мяч я бы мог подставить голову, так как не понимал, какой он твердый и тяжелый, но просто не сообразил это сделать.

Коваль предлагает, чтобы его заменили на воротах. Встает Никон, но тут же пропускает детский гол. Кое-как мы заканчиваем первый тайм, проигрывая 4:0. В перерыве идет ругня между собой, начавшаяся на поле. Тренер успокаивает и говорит, что все нормально и надо поднажать. На ворота приходится ставить Дудика.

Противник справедливо полагает, что игра сделана. Они начинают играть медленно, и у нас появляется иллюзия, что что-то еще возможно. Все понемножку привыкли и к мячу, и к полю, плюс разозлились (Лобан в перерыве чуть не плакал от обиды), и что-то стало получаться. Наконец, Дудик зарабатывает пенальти, но Серебряков, выспоривший право его пробить, мажет! Мы пропускаем еще один мяч, и в ворота возвращается Коваль. Больше мы не пропускаем.

Я просыпаюсь и начинаю делать что-то осмысленное: отнимать мяч, чего раньше толком ни разу не удалось, пасовать, в том числе бегая в атаку. Даже пробиваю по воротам из-за штрафной, но их вратарь ловит. И вообще, давим. Увы, всё это происходит только минут за десять до финального свистка. Мы так и не забиваем.

После игры обсуждать особо нечего, даже не ругаемся. Коваль задирает футболку, показывает левый бок в красных, начинающих синеть, пятнах. Анатолий Гаврилович:

– Ничего, ничего. На следующий год... – Жмет всем руки и идет, улыбающийся, к их тренеру, говорят они о чем-то, смеются.

Отправляемся на остановку и едем домой.

Самое интересное, что никаких последствий для футбола в нашем дворе этот матч не имеет. Как играли, так и продолжаем играть: резиновыми мячами, с малышней и девчонками, без вратарей. И кейфа от этого гораздо больше, чем от игры в настоящий футбол. Тренер? Больше мы его не видели.

На следующий год, когда наконец-то доделали вроде как настоящее футбольное поле у газзаправки, вылезли на него. Но оно было совсем без травы и все в кочках с долго не высыхавшими после дождя лужами. Поэтому и на нем играли в одни ворота или в двое, обозначенные все теми же кирпичами, поперек поля – там, где кочек поменьше и грязи нет.

Но, наверно, прошлогодний проигрыш покоя все-таки не давал, и решили без всякого тренера дворовой командой поиграть. Договорились с третьим домом сыграть – на всем поле, с на-

стоящими воротами, только без сетки. 11 на 11 не получилось, вышло только восемь на восемь. Без судьи. Уже к середине первого тайма (играли по времени) стало ясно, что игра как-то странно идет: все время в центре поля, на кочки и в грязь все стараются не лезть, голами не пахнет. И жутко жилят все, так что чуть до драки не доходит между большими пацанами. И даже первый тайм не доиграли – разошлись, и всё.

ЛУЖИ И РУЧЬИ

Уж тает снег, бегут ручьи...
Алексей Плещеев

Сапоги. – Мерить лужи. – Как тонул Кузя. – Ручьи и кораблики. – Наперегонки.

В один из мартовских дней хоккейная площадка становится мокрой, покрываясь тонкой пленкой воды. Играть становится очень трудно: на валенки приходится надевать калоши, и они почти не скользят, из-под клюшек летят брызги, а падая, промокаешь насквозь. Снег становится серым, грязным. Дует сильный ветер. А на солнечной стороне за домом еще не появился сухой асфальт – и начинать в *классики* рано. Кажется, пора переселяться в подъезды. Но нет. По дороге, идущей сверху вниз от *второй полянки* вдоль гаражей к нашему дому, начинают течь ручьи – и это означает, что нужно выстругивать кораблики. Ручьи стекаются в широкие лужевые озера, которые обязательно нужно померить.

Мерить лужи

Вылезаем из валенок и зимней одежды: штанов с начесом, польт на ватине, шапок-ушанок. Земля, асфальт, деревья, стены домов начинают размораживаться, пусть и медленно, и невидимые ручьи запахов вьются по двору, за домом, на полянках, местами образуя такие же невидимые запаховые лужи. Иногда это становится почти вонью – помойки тут не причем. В нос шибает, но не противно, а пьяно, с кислинкой, немного плесенно, дрожжево, как забродившее варенье. Родители верно замечают, что мы становимся как пьяные. Какая на фиг школа? какие уроки? Да и весенние каникулы скоро. Дома кажется, что у тебя камни к ногам привязаны, а на подъездном крыльце ты их отвязываешь и летишь.

Это только во дворе в большой выбоине у четвертого подъезда аж до мая лежит толстый лед, который колют ломами, чтобы он, разбросанный черными камнями с серой продрисью по асфальту, быстрее таял. А почти везде и лед, и снег уже тает сам. Ручьи и лужи из запахов предвещают настоящие ручьи и лужи. Сначала они мелкие и небольшие, но каждый день становятся больше и глубже.

У всех нас есть взрослые резиновые сапоги, часто на размер, а то и на два больше, но на шерстяной носок ничего. Для того чтобы *мерить лужи,* детские сапожки не годятся. Сапоги заворачиваются вверху на манер ботфортов, и это такая мода – ходить в сапогах даже в сухую погоду. Отвороты натирают икры, но терпимо (у меня до сих пор на тех местах на икрах, где особенно терли, волосы не так растут). При мерении луж сапоги, естественно, разворачиваются и становятся до колен.

На *второй полянке*, где много деревьев, вода еще под ледяной коркой. И тут не только меряем, а еще ходим по льду, который трещит под ногами, и нужно не останавливаться, а идти скорее, чтоб не провалиться. Но если провалишься, то не страшно: лужи тут неглубокие, главное – равновесие не потерять и не поскользнуться, когда подошвы в дно упрутся – оно тоже местами ледяное.

Коваль разбегается и бежит по особо тонкой корке, полускользя, трещины остаются за спиной. Го́ра выбирает лужу со льдом потверже и, тоже разбежавшись, большими прыжками несется

по трещащему льду, на каждом отрыве выкрикивая что-то среднее между «эх» и «ой». Рябчик подходит к краю и специально бьет по льду подошвой, раскалывая его. Он ростом и весом примерно такой же, как Го́ра, только прыгать так не умеет. И медленно, расставив для равновесия руки, бредет, разбивая перед собой лед. Кулёк то пробежит по льду семенящим шажком, то за Рябчиком по сделанному им проходу не просто вброд идет, а скользит по ледяному дну, как по обычному льду. Мне нравится просто на скорость – но не на авось, а сначала прикидываю, по какому маршруту бежать, чтоб в случае чего можно вбок на твердую землю прыгнуть. Главное при этом все клеточки тела направлять вверх, чтобы ногами меньше на лед давить. Но всё равно трещит и прыгаешь на берег, уже не понимая, от чего отталкиваешься и не зная, допрыгнешь ли.

Вода тут еще ледяная и много не померяешь. Притом что запросто в сапог набрать можно, угодив в ямку. Другое дело у гаражей, где деревьев совсем нет, или на *первой полянке,* где они жидкие. Тут льда меньше остается, а к середине дня вода в лужах, можно сказать, теплая. У гаражей лужи просто в ямах на дороге, по щиколку. С боков у дороги рыхлый тающий снег и ручьи. Дальше, где в прошлом году начали делать футбольное поле и всё распахали, местами выровняв, местами оставив рытвины, – озерца разной ширины и глубины, где чуть выше щиколки, а где – до отворотного сгиба. Чуть выше – и неминуемо зальется в сапог, потому что вода давит на верх сапога и немного загибает его внутрь, тем самым укорачивая сапог на пару пальцев.

Кажется, весь двор высыпал, и третий дом тоже. Где-то лучше с палкой идти, прощупывая ею перед собой. Вон Сало из третьего дома кричит чего-то. А-а-а, это он показывает, куда палка уходит. Она выше его, а почти вся под воду ушла – яма. И что было бы, не проверь он сначала, куда ногу ставить? Мы с Кузей и Васьком вроде всё перемерили и решили тоже большие на самом краю будущего футбольного поля посмотреть. Понятно, что туда не полезешь, но так, с берега, палкой померить интересно.

Садимся на корточки на краю, палки небольшие – сухие ветки с сучками. У меня и Васьк , мы рядом, сразу до конца уходят. А Кузя чуть в стороне ткнул – не больше, чем до отворота. Он осторожно в лужу встает и наклоняется, чтобы померить. Мы это краем глаза видим. И от того, что краем, сначала кажется, что придуряется: «Ай, ай», – испуганно так, но не громко. И вдруг как завопит: «А-а-ай!» Медленно он начинает погружаться в яму. Вот уже по колено, и дальше, по пояс уже, и как-то сразу от берега далеко оказывается. Орет, руками по воде бьет, палка рядом плавает. Не поймешь, дно-то еще есть? Мы стоим, как парализованные, и не сразу начинаем орать:

– Пацаны, сюда! Кузя тонет!

Наши ветки короткие – ими до Кузи не дотянешься. Но повезло, сразу прибегает Серебряков со здоровенным шестом – такими, когда большие пацаны на плотах в котлованах катаются, от дна отталкиваются. Он его Кузе протягивает, тот хватается, и Витька его к берегу тащит. Кузя на корячках на берег выполз, мокрый, грязный весь, лицо тоже в грязи. Витька его за рукав хватает и командует: «Бегом». А у Кузи ноги подкашиваются. «Не ссы, – кричит Серебряков, – всё ништяк! Давай, давай! Домой, быстро!» – и волочет Кузю за собой. И пацаны все уже здесь, тоже с ними бегут. Только мы с Васьком остаемся.

– Перетрухал я, – говорю.

– А я больше перетрухал, – говорит Васёк.

– Нет, я больше. – И какой-то идиотский ржач начинается.

На следующий год проваливаюсь уже я, но не так глубоко. У самой дороги, куда навезли песку для чего-то, у того же, но уже готового футбольного поля, мерили лужи, образовавшиеся между кучами песка. И не то чтобы провалился – поехали ноги с кучи, я падаю и так на жопе в яму въезжаю. Сижу, в луже по грудь, сразу даже вода не чувствуется, потом вода чувствуется, но не чувствуется, что холодная. Лезу из ямы на корячках. Ноги тяжелые, сапоги полны воды, а не снимешь, чтобы вылить, потому что руки не слушаются, долго это всё будет, а надо быстрей домой, в тепло. Штаны, естественно, насквозь мокрые, куртка до половины. Холод вдруг сразу уже жуткий совсем – сильная дрожь бить начинает. Почему-то стыдно, что «искупался», что мокрый и грязный весь. Оглядываюсь: пацанов мало, никто даже не заметил. Топаю домой через двор,

потому что за домом идти еще хуже: там народу полно ходит, а во дворе, может, и нет никого. Попался только Стасик из первого подъезда. «Ты это чё?» – спрашивает. Мычу что-то, зуб на зуб не попадает.

Дошел – дома никого. Кой-как сапоги в коридоре вместе с носками стянул, стараясь, чтоб воды на пол меньше вылилось, а все равно лужа, потому что и со штанов, и с куртки течет. В ванной разделся, полотенцем вытерся и стал растираться. Потом вспомнил, что в серванте «спиртяшка» (отец и дядья так говорят) стоит. Пошел, взял бутылку, на ладонь немного плеснул, минуты три, наверно, порастирался и уже будто в костер влез: кожа красная и полыхает прям.

Кораблики

Главный ручей, по которому каждый год пускаем кораблики, бежит со второй полянки до дороги за нашим домом.

Сначала изощрялись, выстругивая из куска толстой доски большие лодки, которые называли ладьями, долго вырезали дыру внутри и обтесывали снаружи, чтобы с настоящими бортами были. Даже мачту с парусом из тряпки ставили. Кто-то красил синей для стен или красно-коричневой для полов краской. Пускали и шли за корабликами, помогая им прутиками, когда они садились на мель, утыкались в берег на поворотах, переворачивались. А происходило это постоянно, потому что ручей по ширине и прямизне не везде им подходил, а иногда он еще наполовину под лед убегал – кораблики туда затягивало, и они там застревали. Это еще не наперегонки было, а так – посмотреть, чей лучше плывет.

От мачт с парусами быстро пришлось отказаться, потому что с ними кораблики больше на боку лежали, чем плыли. А как-то Кулёк со Слоном пустили вместе с нашими ладьями просто обструганные с двух концов небольшие дощечки. Мы посмеялись, что раз лень им было правильные делать, то хоть со своими щепками не позорились бы. Но оказалось, что, когда наши ладьи еще до середины газзаправки не доковыляли, их неправильные кораблики уже до конца, до дороги доплыли. И за ними надо было бежать, а не идти!

Уже на следующий день все выходят с такими же, как у Кулька со Слоном, дощечками, а Тетёня вообще просто обрезал прутик и пустил его. Эти кораблики лихо неслись по ручью. Чей-то вырывался вперед, его догоняли и обгоняли. Мы бегом за ними и бегом же назад, чтобы начать новую гонку.

Появляются простые правила. Если кораблик попадает в лужу, а в ней в такое место, где совсем нет течения, то его можно подгонять, но только делая сапогом волну. Если же хоть какое-то течение есть, надо ждать – либо снова втянется в ручей, либо попадет в «мертвую зону», и оттуда уже его можно подгонять. Намертво засевшему на мели или попавшему в тупик кораблику можно помочь прутиком.

Кораблики похожи друг на друга, но каждый отличает свой от других: размеры все-таки разные, обструганы с концов тоже по-разному, у кого-то из дощечек, у кого-то из прутиков.

Жаль только, что снег и лед тают быстро, с каждым днем ручей делается мельче, и приходится с гонками завязывать.

Но на следующий год гонки возобновляются. Народу почти весь двор – как раз начинаются каникулы. Бегаем за корабликами целыми днями. Считаем, кто сколько раз гонку выиграл. Причем удается продлить «трассу», потому что зима была очень снежная, и все отдельные ручьи во дворах стали продолжением нашего главного ручья, который теперь заканчивался аж у школы, впадая в огромную лужу на дороге перед поворотом на мост.

Ручей, когда он еще и не думает мельчать, течет по ледяному руслу, где прямо, где петляя, иногда ускоряясь в узких местах, а иногда растекаясь в лужу. Кораблики то выпрыгивают из воды, то целиком уходят под нее, то несутся по прямой, то начинают крутиться или биться о берега. Вода в ручье не мутная, как в лужах, а прозрачная, и на солнце видно, что ручей будто сплетен, как плеточка из проводков, из нескольких быстрых струй. Мы долго, через весь поселок, пусть и

поперек его, несемся вдоль ручья то всем шоблом, то вытянувшись в цепочку. Каждый следит за своим корабликом в надежде, что уж в этот раз он точно придет к финишу первым. Стараемся не толкаться, но это не всегда получается. Перепрыгиваем с берега на берег, выбирая тот, где удобней бежать. Там, где ручей растекается лужей и течение замедляется, гоним попавшие в «мертвую зону» кораблики снова в ручей, устраивая шторм силой в десять сапог.

Вместо послесловия

Опубликованные в этом и предыдущем номерах «Волги» записки вполне законченное самостоятельное сочинение. Но в то же время оно является лишь частью, хотя и довольно значительной, опуса о дворовых играх и о том, что с ними связано, работа над которым продолжается. Надеюсь, что у меня получится в течение этого года представить новые эпизоды, которые сейчас находятся в различной степени готовности, а затем и написать те, которые пока только запланированы. Прочитать их будет можно на странице «Дворовые игры +» в Фейсбуке (https://www.facebook.com/DvorovyeIgry).

В опубликованных эпизодах представлено около 50 дворовых игр. Главным образом, это классические как соревновательные игры, в которых есть строгие правила (фантики, лапта и т.п.), так и игры-забавы, где правила чаще всего нечеткие и, в принципе, не очень важно, кто победит или проиграет (например, секреты или снежки). Кроме того, описаны три дворовые вариации спортивных игр (настольного тенниса, баскетбола и футбола), а также несколько игр, включая игры-забавы, которые являются производными от других игр и, скорее всего, в описанном виде не являются широко распространенными (рытье снежных пещер, миниклёк и т.п.).

В плане на 2013 год – завершение дюжины эпизодов, посвященных еще трем десяткам игр, в числе которых вышибалы и картошка, прятки и двенадцать палочек, хали-хало и штандер-мандер, съедобное-несъедобное, классики, «море волнуется раз», монах в синих штанах, крутить и прыгать, хоккей на валенках, царь горы и относимые мной к играм-забавам стрельба из рогаток, самострелов и прочих пистиков, всевозможное бабаханье (монтики, бомбочки и т.д.), толкование примет и суеверий и следование им (типа чертовых ворот и чесания носа), дружба с бездомными собаками, ловля кузнечиков, ящериц и прочей живности, покупка и поедание сладкого и вкусного (от семечек и газировки до конфет и мороженого).

Дальнейшие планы: жмурки, казаки-разбойники, веревочка (ниточка), «красное знамя, черное перо», чижик, игры в песке, путаница, игры в войну и индейцев, сражения на мечах и саблях, свист и свистки, драки, плетение плёточек и перстней из проводков, велики, лыжи, самокаты и другие средства передвижения по двору и его окрестностям...

Параллельно буду вести сбор внятных историй (в текстовом или звуковом формате) о чужом опыте дворовых игр. Без создания антологии таких историй не смогу считать мои записки законченными.

С. Р.

Алексей ПОСТУПИНСКИЙ

БОГ №264

Роман

Представьте себе, что в какой-то цепи, между двумя серверами почтовой рассылки, произошло короткое замыкание. Курсор, что ровно моргал на строке, вдруг сам по себе начал писать. Неразборчиво сначала, но потом всё более понятно он стал слова выводить: «Я», – это слово он сто раз отбил; – «Кто я?», «Где я?» – он спросил, а потом сам ответил: «Наверно я – то, что здесь пишется...», – и, наконец: «Я – текст», – он сказал эти слова и, как бы задумавшись, остановился. Подскажите, было ли это рождением чего-то нового, или это так... – совпадение букв и слов в одной фразе, то есть просто случайность?

Сложно дать ответ, но вот что вышло...

Манифест. Мое дело верно. Я вернулся.

Вот он я, гляди – третий! С уголка смочен слюной, чуть помят, пестр от записи на моем тельце – Текст-существо.

Я вернулся. И я кричу в свитое из бумаг горло-рупор:

Я – Текст! Я пишу себя! Я пишу себя, чтобы житься, и: всё верно, всецело!

Вы же не верите, вы, не зная того, таите от меня свое зрение, но я пришел, и я говорю: я тут, я пишу себя, я за вами записываю...

Посмотрите, вы держите меня в руках, посмотрите, вы меня созерцаете. Тут и здесь – это живое. Всюду, везде, во всех литерах – шуршащее, оживающее...

Видите? Я ожил, я в руках ваших. Глядите!

Моя кровь – черная клякса на белом листе, моя кровь – набор знаков, – копошащееся... Отвернись от меня, уйди от меня, забрось меня в дальний угол, сожги, – ты так и так вернешься ко мне, ты, читатель, так и так ко мне обратишься!

Ну, попробуй...

Я повсеместен!

Читаешь это? Так разучивайся!

Я вокруг тебя, и ты сам мной записан. Не буду гадать твое имя, беру любое – ты чересчур многолик...

Твои глаза скользят по моим венам, по моим артериям. Смотри на меня, читай меня... – я живу тогда, когда я читаюсь. Главное! Ты мне веришь, я твой спутник, я твой проводник...

Вот он я – Текст. Перечитай:

Текст, Текст, Текст, Текст...

Третий: из новой плоти Текст-человек.

Вот мое имя.

А теперь ступай за строкой, что бежит впереди, чтец это знающий...

За строкой!

Питомец тихих историй, тот, кто хотел бы оценивать... За строкой! Тот, кто уже видел конец, глупец и ленивый... За строкой! Другой и всякий прочий... Со строки на строку перескакивая и вновь ее перечитывая...

Я говорю тебе: ты себя исчерпал, ты, человек, закончился.

Алексей Поступинский родился в 1985 году в пос. Пионерский Советского р-на Тюменской области. В 2009 году закончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «арт-менеджер». С 2011 года работал в банке кредитным специалистом, с 2012 – в энергосберегающей компании. Живет в Перми.

Предел – ты более себе не творец. Предел – ты перестал удивлять и удивляться. Появилось нечто новое, высшее, меня самого созидающее.

Я язык этого нового, я – рассказ, и я говорю первое в этом рассказе:

Бог №264 – это название.

Можно закрыть глаза, когда встречаешь что-то необычное, что-то чрезвычайное...

Большое, живое, бурлящее выпало из утробы общества одной массой и закричало, дитя, на всех языках, во всех формах, – одно неведомо: было ль услышано?

Бегущее, катящееся по этому мирку, говорящее его словами, видимое, записываемое и почти ни кем не осознаваемое, оно родилось в сочетании и в совпадении, так же, как и всё, что ему предшествовало...

Человек присел перед собакой и сказал: «Дай лапу», – он понимал, что он выше и сильнее ее, но мало – ему хотелось это еще и ей втолковать.

Что-то захотело так же себя показать и так же себя объяснить (Я, Текст, тут лишь слуга), что-то захотело сделать это красиво (Я лишь этому повинуюсь), – история началась и продолжалась...

Итак. Тихий, мирный человек, чуть в похмелье, уснул у окна в вагоне электрички. Он спал, веемый и уносимый теплым ветром из форточек вагона, под стук колес, шорох одежд и людские переговоры.

История продолжается...

Вам, верно, чудно слышать такое: как это – текст стал говорить? Что это могло быть: небыль или чья-то фантазия? Дайте мне самому себя объяснить!

Так может:

Сознательная функция мира – то, что смогло ожить в мириадах совпадений и нехитрых случайностях! Тысячи открыток, тысячи писем, тысячи... нет, миллионы чеков, квитанций, билетиков, абонементов... (?)

Новая жизнь?

Это мой мир – бульон из букв, запятых, точек, пробелов. Печатно, но более никак я не могу видеть оттиск зримого человека.

Зачем я пишусь? Ответ: но только так я могу не умирать!

Тогда зачем я читаюсь?

Моя история – выдумка? Да, я бы так о ней и говорил! Но тогда кто я на этом белом листке, или я разве не был, как и вы, кем-то на этом долгом свитке записан?

Как я живу? А как живет Текст? Верно: сюжетом, историей, тем, что на бумаге творится! Но и эмоцией – чувствами!

Всё началось с простого: человек уснул у окна в поезде, под шум колес, шорох одежд и людские разговоры...

Сложно, сложно начать, иду как на цыпочках.

Далее:

Его снило, и ему чего-то хотелось. Он тянул во сне к этому губы, он улыбался и всё время облизывался. Тихий луч солнца плыл по лицу человека, отступая и вновь подходя, тогда человек сморщивался.

Это история началась, как и тысячи других, – с человека!

Мы еще не были с ним знакомы, и я не знал еще его имени, но тогда я увидел его, и он мне подошел, – он мне очень понравился! Как-то так – это странно – на нем многое сходилось... – тут я говорю о *совпадениях*...

Пока он спал, я за ним наблюдал...

Наблюдать, видеть мне, существу-Тексту, – просто (я не такой уж бумажный): мое зрение – люди, мое зрение – их печатные мысли, что внутри них происходят. Это не то же, что образы зримого... Образы мне, существу букв и символов, – нечто, до чего не дотянуться... нечто совсем запретное! Образы я не могу видеть, но слова, что печатно роятся у людей в голове... – это пожалуйста.

Вот они мысли людей:

«Милый чуть-чуть не доспал», – думала соседка спящего, иногда отводя взгляд от своего цветного журнала. – «Брючки, курточка, одет-то прилично», – не стесняясь своих прямых взглядов, она оценивала. – «И куда ж такие сумки везет? Видно, как-то перебивается!»

Жаль, но точно так же и я тогда видел!

«Студент, видать...» – подумал строгий мужчина-сосед, отведя взгляд на миг от своей серой периодики.

«И не жарко ему в такой-то дерюге... – между тем думала старая дачница, косясь на челнока-студента. – А то вон же, как жарит сейчас. А сам еще с перегаром!»

Нет, может, мне взять и наврать?.. А что мне в этом рассказе еще остается, читатель? С этими людьми согласиться? Принять их описание? Я ведь мыслями людей вижу, вижу глазами, которые мне вовсе не принадлежат! И лучше, наверное, в следующий раз – в описании человека – взять сумму всех мнений людей и поделить ее на свой знаменатель?!

Стоп, стоп! Я, может быть, тебя путаю, мой читатель? Говорю непонятно! Начинаю с одного, а потом тут же на другое взгляд перевожу... Не объясняю себя самого, хотя и раньше назвался... – отсюда выхожу совсем уж какой-то странный, какой-то совсем иностранец! По ходу рассказа задаю всё какие-то вопросы, сбиваюсь! Да, я всё понимаю, меня трудно сразу принять, но время уходит, а человек этот в поезде уже проснулся. Я скажу обо всем, о, милый читатель, одно лишь: дай продолжаться.

...Человек дернулся, проснулся, посмотрел в окно, посмотрел на часы, успокоился – до его станции времени было еще вполне предостаточно.

«Лишь бы не проспать», – подумал еще он и было закрыл глаза, как тут же вскочил. Быстрой рукой он стал шарить и побивать себя по карманам. Вынув из-за пазухи книжку, с виду похожую на паспорт, он раскрыл ее и про себя прочитал: «Коркин Николай Андреевич».

Так я узнал, как его звали!

«Что со мной? – подумал мой Коля рассеянно. – Зачем я вскочил, зачем взял паспорт? Я что, чего-то во сне испугался?»

Коркин энергично протер глаза, громко выдохнул и взглянул на соседей, что его окружали: «Дачники! Всё больше старики...» – он заключил. Эта публика была ему знакома. Люди вперялись взглядом в него, не понимая, и, видимо, ждали новых движений со стороны своего молодого попутчика. Но Коля на них уже не глядел, странная мысль на секунду посетила его и сейчас же скрылась, оставив только какое-то тягостное настроение. Коля уже не помнил ее, однако я всё записал: «А может, это вовсе *не мне* было нужно?» – мелькнуло на миг у Николая Андреевича. И если бы он сейчас держал в руках этот рассказ, он бы узнал, конечно, того, кто вытащил его паспорт, того, кто хотел узнать его имя – да, он бы узнал меня...

История начиналась со странностей!

Так часто бывает, что человек тянется к тому, чего ему вовсе бы и не надобно. Так часто бывает, что человек берет в руки то, о чем никогда и не помышлял. Берет, например, с полки книгу, читает три строчки с какой-то страницы случайной и тут же кладет книгу обратно, не подозревая, что, может быть, он делал это вовсе не для себя, а для кого-то невидимого ему и сознанию его не принадлежащему.

Может быть, отсюда всё это гадание, когда люди страницу и строчку загадывают? (Вы же меня понимаете?)

Однако гадать мне тут было незачем... Когда я только узнал имя и прочие данные паспорта, я тут же поднял весь письменный материал, что был заведен на Колю Коркина, моего персонажа, еще с рождения в известного рода заведениях. Благо, конечно, меня туда пропускают! (...Где-то в каком-то городе, в какой-то конторке женщина случайно уронила папку с фото и с именем на лицевой стороне «Коркин Николай Андреевич», – она раскрыла ее, возможно, из любопытства?!)

Вот в чем моя сила:

Я узнал его адрес, с кем он жил, с кем живет и кто у него нынче соседи; я узнал, что он студент пятого курса, я узнал, что он уже почти закончил свою академию; я узнал главное (то, зачем я пристал к этому человеку, то, зачем я с него начал этот рассказ) – я узнал тех, с кем он по ходу судьбы-сюжета мог бы встретиться, – так я укрепил *подозрения*...

Сразу же стоит сказать вам, люди, что я часто пользуюсь не только вашими мыслями, но и вашими документами. Я много знаю о вас и многое могу рассказать. Вообще-то, если честно, мысли дают мало фактического. Когда что-то ищешь – вам это хорошо известно, – лучше всего полагаться на сухую конкретику документов, на то, что не такое разорванное, аморфное и непостоянное, как думы, думки и всякие прочие печатные размышления.

Но не в этом случае! Вы еще не устали?

Строка идет дальше:

– **Кто ты, Коля? – спросил я моего студента.**

Коркин заметил этот вопрос на одной из страниц журнала своей соседки, но значения ему не придал, – так у меня часто бывало уже с другими людьми (ох уж мне эта *недоверчивость*!).

– Я знаю, ты всю эту ночь пил пиво, теперь тебе плохо и ты не знаешь, как до дома доехать? – спросил я его откровенно.

Коркин заметил эти слова, когда газетка соседа и журнал соседки, качнувшись, на мгновенье своими текстами соединились.

«Ничего себе! Вот совпадение!» – подумал он, и только теперь удивился, а дальше детально вспомнил всё то, что с ним происходило в прошлый вечер действительно.

Я подтвердил все свои подозрения по поводу состояния этого человека и теперь узнал точно, как он провел вчерашний вечер, а то из его спутанных, еще с остатками алкоголя мыслей выходило что-то неясное и мне, печатному, непереводимое.

Я рад, что наша встреча случилась!

Однако же она бы не случилась, если бы **этим утром** Коля Коркин, студент-медик, подумал бы в своем утреннем сне в теплой постели: «Да ну вас! Видел я этот город!..» – если бы он только так подумал, он бы, конечно, никуда не поехал; он бы не встал с постели, он бы не собрал впопыхах две сумки с одеждой между чисткой зубов и сигаретой, он бы не сказал еще спящему соседу по комнате: «Я домой», – он бы попросту не пробудился.

Но он подумал об этом еще с вечера. «И что я этим летом тут буду делать?!» – спросил он себя на последнем своем студенческом фуршете с пивом, с дымом в комнате, с чьими-то визгами, с музыкой, с открытым окном, с подружкой друга и тремя первокурсниками.

«Надо ехать! Надо ехать!» – бормотал он кому-то уже совсем пьяный, слышал смех, злился и на это отвечал лишь: «Нет, нет, и всё же надо. Надо ехать домой! Надо к себе в город!» – так он нацеливался.

Потом он стоял в похмелье на вокзале и, может, от этого еще в тяжелом сомнении. Да, еще был шанс остаться, простоять, даже вернуть билет, даже вернуть с этого какие-то деньги урезанные, но: «...что – остаться на всё это лето в общаге, с пивом, да с этими?» – наконец подумал он, подкинул монетку, потом еще два раза повторил, и уже после третьего падения рубля в ладонь решкой он совсем уперся взглядом в два уходящих рельса – его ждала долгая дорожная перспектива.

Вспомнив сейчас всё это, он хмуро проговорил про себя: «Нет, надо было дольше спать и ехать только уж на следующей электричке...»

– Как ты встал? – тогда я спросил.

«Кукуштан» – точное название станции, из выцветших букв которого я вывел свой новый вопрос глядящему в окно мутноокому Николаю Андреевичу.

«Да, рано я встал. Еще бы поспать», – подумал Коркин, уже над собой и над тем, что с ним делается, удивляясь. (Так он мне ответил... о да, он мне ответил! С этого времени мы с ним мало-помалу заговорили.)

История оживала!

Это был тот самый человек, нужный человек! Человек с похмелья, человек едущий на электричке, человек какой-то там академии, человек, точно не знающий, «что его ждет впереди», человек... – мой персонаж, наверное (не оставить бы его теперь в кювете сюжета, не пристрелить)?

Теперь он сидел и молча втыкал взгляд в соседскую литературу. Он что-то искал в ней, как бы чувствуя, что там что-то есть, однако же он никак не мог понять, что конкретно.

Наконец мужчина-сосед открыл новый разворот своей газеты, и Коля, наконец, увидел нечто, ему поистине интересное.

Это была статья под жирным словом: «**Открыли!**». Аннотация к ней была следующая (жирный шрифт): «На картах страны появится новый, бывший режимный, городок Причальный-2».

Коркин лишь просипел:

– Что открыли?

Дальше текст ему было трудно разобрать.

Николай оживился, его что-то задело, он напряг взгляд и стал делать попытки вчитаться. Но, к сожалению, ничего не выходило, – то трясло выгон и строчки сбивались, то сосед двигался, отчего слова начинали плясать, то выходило так, что текст в статье в глазах плыл и сам собой расплывался.

Вдруг Коле, как-то невнятно, пришел в голову вымысел, что он вообще не умеет читать, мол, как если бы нечаянно разучился. Но как же! Нет, нет! Что это такое?.. Ему нужно было читать, тема – важная! Но он никак не мог... словно бы уже не умел это делать! То тряска, то сосед, то – то, то – то, – всё вокруг как-то странно его отвлекало. «Хм, а может, и в самом деле разучился?» – спросил он себя с ухмылкой.

Он даже решил на одну секунду проверить такой парадокс (может быть, только ради банального развлечения?).

«Попросить что ли газету?» – подумал он, но ему это было как-то не смело, и он от этого отказался.

«Город открыли! Наш город открыли?» – мучился он и всё нацеливал взгляд на статейку.

Да, Коля очень хотел прочитать статью, но сколько бы он ни напрягал взгляд, сколько б с болью ни щурился, у него ничего не выходило... – чем ближе он льнул робко лицом к газете соседа, тем всё сложней текст становился. Он винил в этом похмелье. «Но оно-то причем?» – он про себя говорил. Он даже думал, что со зрением что-то случилось, и эта мысль справедлива, однако он проверял зрение на других посторонних предметах, и всё было видно – четко и неудивительно!

Николай уже было хотел забыть, бросить свое намеренье, да и соседи уже косо на него глядели, но: нет, нет, ему было интересно, он эту статью хотел прочитать; но: может, уже и не это? – вот же, что-то странное сейчас с ним самим происходило. «Может, мозг читать не дает, не пускает?» – гадал он всё объяснение. Но в этом не было смысла, это было совершенно точно – бессмысленно! Однако ж, статья таки и не давалась ему, злила его и как будто б на что-то подвигала. «Открыли? Неужели открыли?! – думал он, и его отчего-то тошнило. – А еще эта ерунда!» – терзался он всё над текстовой неразберихой.

Поразмыслив немного, в итоге Коля попросил газету у соседа, тот тут же сложил ее и протянул своему молодому попутчику (всё вокруг Коли, по его ощущению, было настроено к нему как-то недоверчиво, всё было как-то ему неестественно...)

Наконец Коркин было занялся чтением. Но опять всё заново! Странно, но даже вблизи, почти у самых глаз, был тот же самый эффект... ну разве теперь только чуточку по-другому: вблизи теперь Коля видел буквы (они были четкими); но вот странность – он не понимал, что это за буквы, он как бы, что ли, даже забыл их, забыл, какие звуки стоят за ними (обычно же чтение у людей происходит своего рода автоматически?). И шрифт был знаком и алфавит – кириллица! – но ни слова́, ни буквы Коле в статье не поддавались! Читать по слогам? Он вспомнил, как это, он даже что-то промямлил, но всё равно – полная текстовая непроницаемость.

Он занялся газетой, стал ее перелистывать. «Картинки», – первое, что он смог выделить из увиденного. И только! Ни букв, ни слов. Что за сумасшествие?

– Правда, сложно? – вдруг я ему задал вопрос.

Толчком к горлу Коли подошел рефлекс, обычный в похмелье. Он вздрогнул.

– Коля, не бойся! – я тут же проговорил.

Простое: «Коля, не бойся!» – эти три словца вышли к Коркину из хаоса печатной галиматьи. Он стерпел – откинув газету, он чуть не вскрикнул!

Может быть, тогда я сильно спешил? Но это было забавно. Я хотел с ним говорить.

Интересно, что когда Коля снова открыл газету, текст для него как будто ожил, Сначала он это заметил краем глаза – как-то для себя еще неосознанно... Он почувствовал что-то, что-то, как если

бы *что-то* в этой газете зашевелилось. Глаз ощущал это *что-то* на краю зрения, шел на объект, но там ничего уже не было, а было уже позади, но вот-вот... глаз хотел зацепить, бежал уж назад, а это *что-то* всё ускользало. Ни слова, ни буквы Коле так и не поддавались. Однако он уже плюнул на это, сейчас другое ему было важно... – он чуял: что-то ворковало, шуршало и шелестело, вот-вот, совсем близко, на первой (листал он), на второй... нет, на третьей странице в столбике у фото с открытой городской панорамой. Это *что-то* говорило, шуршало, шипело, но его пока было всё еще трудно расслышать.

Я хочу сразу сказать тебе, мой читатель, что я могу влезть в голову человека, но вот говорить внутри головы... – это ж что-то вообще клиническое! Часто же я говорю с тобой, как ты мог в своей жизни заметить (если ты, конечно, тот человек!), через совпадения. Например, когда текст рекламы на щите и текст, например, какого-то другого соседнего объявления сливаются, выдавая глазам четкую словесную... ну, назовем ее так: речь-последовательность.

Знакомо? Да? Но сразу не верь – в этом случае всё было чуть больше, чуть ярче для Коркина, чуть по-другому!

– Коля, всё хорошо, не волнуйся, – я, наконец, ему сообщил.

– Что, что? Как это? – он замямлил.

Непонятно как, но из путаницы неясных Коркину символов, мелочью которых в изобилии пестрила газета, выплывали на поверхность четкие и осмысленные буквенные речь-последовательности.

«Это еще что со мной? Я заболел?» – закрывая глаза, думал Николай.

Дело в том, что сам он не мог тут же ответить, я ж ничем ему пока тоже не мог пособить. Разевая глаза, моргая, он вновь и вновь зрел в газету, ничего, кроме нее, не видя вокруг, не замечая.

Я продолжил:

– Тебе я кажусь странным?

– Что? Чего? – зашумел Коркин, возбудив внимание ближних спутников.

– Слова как бы ожили? Да? Как если бы кто-то с тобой говорил?

(Плохо, когда тебя сразу не понимают, для моей бумажной натуры это большая сложность... – может, поэтому я в своем характере нервный и самолюбивый?)

– С тобой всё в порядке! – сообщил я Коркину, наконец. – Ты не заболел, просто ты увидел кое-что странное!

(«Странное» – я себя так объяснил? Надеялся, видимо, робко на людскую смекалку.)

– Что это? Как?! – всё шептал Коркин, мотая из стороны в сторону головой.

(Вот так всегда вначале. Вообще же я не очень падок до людей, да-да, не очень общителен!)

– Коркин, слушай! – я продолжил.

«Что это? Что со мной?» – мучился тот, копаясь в себе и не обращая на мою речь уже никакого внимания.

«Сюда! Сюда смотри!» – кричал я заглавиями.

«Я что, сам с собой говорю?» (Коля словно ослеп, его как будто ударили по глазам чем-то сильным!)

– Нет же, со мной! – сквозь дрожь газеты ревел я, выводя к глазам Коркина точку и палочку. – С тем, кто в руках твоих! Видишь? – спрашивал я, выводя на конце закорючку.

Коркин, не отводил взгляда от чтения, тихо мучился, сжимал крепко руками газету, эту гадкую вредину, мерзкую паразитку!

– Вот же! – я продолжал. – Почувствуй в ладонях бумагу, почувствуй, как она шуршит, почувствуй тепло ее, как она оживает, почувствуй же, Николай, наконец, эту шероховатость!

Коркин царапал пальцем строчки в газете, пытаясь поймать буквы, которые как будто менялись, которые как будто играли с ним, как будто капризничали.

– Кто это? – наконец очнувшись, моргая, Коля проговорил.

– Текст, – я ответил.

– Кто? – тихо он просипел.

– Тот, кто убьет тебя, человек, – сказал я (возможно, тогда я уже был очень рассержен).

Коля отвел лицо, он стал вдумчив, он ответил:

– Не верю!

– Да, твой конец! – я подтвердил.

– Нет, я не верю! – убрав на миг с глаз живую газету, спешно сообщил Коркин соседям.

– Читая меня, ты пишешь, – к нему лез я меж строчек. – Ты же еще только в самом начале... – твердил я, будто молился. – Верь мне, верь рассказу! – нервно Коркину я выводил.

(Зачем?)

– Ха-ха! Вот! Видели, видели?! – опять этот хам зашумел.

– Ась? Че там? – ожила вдруг соседка.

На этом можно было бы уже и покинуть Коркина, оставить его навсегда. Ну, ведь надоел! Правда? За это, люди, мы вас и не терпим! Вся эта слепота, вся эта косность!

«Ну, нет!» – тогда я решил. Что же это? Оставить Коркина? История ведь уже началась и писалась!

– Замолкни! – я прокричал.

Но он не утих:

– Что это? Как? Отчего? – изо рта у него так и летело.

Ох уж это мне! И отчего я такой? Нельзя же с вами, люди, мне просто взять и начать говорить! Хотя, верно, – я для этого сделан. Но всё же не выношу – все эти нервы, всё это, увы, изумление!

Ну да ладно...

– Прощай, – сказал я и было уже улетел.

...Так редко бывает, чтобы всё одно к одному, чтоб человек сразу понял меня, стал слушать и, если надо, записывал. Корки был смят, нестоек, на этом, видать, он и встал бы теперь, – всё осыпалось.

Но что это, что это? Коля достает из куртки блокнот, находит чистую страницу, писать начинает...

«Что со мной будет?» – он пишет. Блокнот дрожит – Коля волнуется. Быть может, он хочет знать – если он более читать не умеет, то, может, хотя бы что-то запишет?

Мне нужно ему ответить. Я знаю, куда он пишет, – в свой дневник.

Коркин закрыл глаза совсем, он еле ведет рукой: «**Сейчас придет человек, мой знакомый, он всё мне разъяснит...**» – он записывает, пишет дальше... мерно, из прошлого в следующее.

Общий сюжет (вырезка):

«Сейчас придет человек, твой знакомый, он всё тебе разъяснит. Потом ты увидишь второго; с этим вторым ты пять лет не мог пересечься. Общаясь с цыганкой, меняя билет, покупая и поедая конфетки, этот второй видится тебе очень чудным, ты как бы даже его не узнаешь, но все-таки, теряя всё свое, ты с ним пересекаешься...»

Встреча!

Не скажу, сколько прошло времени, но скоро Коркина за плечо кто-то легко затронул. Он поднял глаза, над ним стоял человек.

«Сколько прошло времени?» – вдруг он хватился. Отстранив свой взор от человека, оглядев оконные виды, Николай успокоился.

– Что, уже видел, читал? – указав на газету, что была в руках Коли, сказал мужчина с какой-то ехидной усмешкой.

Коркин теперь только понял, что рядом с ним кто-то стоит, он взглянул – он узнал того, кто к нему обращался.

– Читал статью? Вижу, вижу, – говорил человек. – Наш город откроют. Вот же свиньи! Ничего, Коля... я сам-то, знаешь, как был взбешен!

Коркин не понимал того, что ему говорят, не понимал, где он, что вокруг и что с ним случилось. Было похмелье, был этот вагон, но прямо сейчас, вот-вот, с ним что-то плохое стряслось. Мысль, что ли, какая? Что-то важное, что-то большое? Он сидел, он всё помнил, он всё понимал, но что-то стряслось! **И лишь одно: он почему-то знал точно теперь, что встретит именно этого человека,** – *потрясение*!

Да, всё, что не надобно, он враз позабыл. Напрочь! Я б еще рукою махнул, как бы подвел линию среза, но у меня, писчего, рук нет, к сожалению.

Сейчас я бы хотел отойти немного в сторону от этого путевого рассказа о студенте и кое-что вам о себе рассказать.

Я могу себя показать! Вот, вот, вот! Ловите каждую буковку, на «а» смотрите, – это я, Рукописный. Вот эта самая строка, что ожила и стала дрожать. «Кто я?» – она спросила. Буквы, слова, буквы, три запятые, уже четыре, пробелы, снова слова и в конце знак восклицания!

Нет, ну в самом деле, вы же не поверите... Ах-а, а может, я только шучу, может, хочу только вас разыграть?

Ну вот вы мне станете верить, если я вам скажу, что ожила эта строка, вот эта вот самая, которая у вас прямо перед глазами? Видите? Этот даже вопрос? Каждое слово из этой фразы последней!

Видите?

Каждая буква здесь, каждое словцо... – но что я такое, что за создание? Знаете, на меня лучше глядеть изнутри. Изнутри! Как это? Сейчас я вам поведаю. (И был щелчок пальцами!)

Мне вот как это всё видится (поправка: далее всё, что будет описано, не более чем фикция и простая фантазия):

Я вижу свой мир как черную комнату. Где-то в вышине, может быть, есть потолок? Вокруг меня лежат стопки всего того, что было когда-то в вашем мире написано, неважно, рукой или машинкой...

...Нет, начну по-другому! Помню, я сидел на скамье в черной комнате. Она была без стен, без окон, без зримых границ потолка – небо-тьма, а вокруг поля из листов, холмы из кип прессы, вдали горы книг, газет и всего прочего. Предо мной, как всегда, лежали стопки пестрых листов в метр высотой. На полу этой комнаты одной мягкой коркой гнили разные справки, газеты на всех языках, квитки и записки, вся прочая ерунда, тут даже можно было найти детские тетрадки. Если же порыться поглубже, то можно было отыскать основание – лежащие твердой плитой древние свитки и рукописи, а на самом верху, в рыхлом слое, пухом лежали билеты на когда-то ушедшие поезда, автобусы и самолеты.

Да, помню!

Сейчас я бы не хотел всего этого видеть, хоть всё это и выдумка! Тут во тьме было много всего, но ничего здесь не могло статься с такой немой тишиной... – ну разве только на севере, чуть поодаль, где высятся пики гор, которые состоят из породы книг мягкой обложки, с новым утренним тиражом мог случиться шумный, большой книгопад. Более ж ничего! Ни слов и ни звуков... так только – шелест трусящих из тьмы редких чеков да синей пурги из зеленых билетиков.

Это мой мир!

Света тут как бы и нет, то есть он есть, конечно, но он идет только изнутри бумаги, освещая лишь тонкое тело самих надписей. Я – тот царь, что в этом живет, – себя никогда не мог видеть со стороны – тут нет и зеркал, – и мне неведомо то, как я выгляжу. Может, я карлик? Видна мне одна лишь бумага, что горит вовне цепью строчек, ее же одну на ощупь я могу ощущать. Более же нет ничего! Это одно всё – такое шуршащее, оживающее...

Ну как вам мой дом?

Это место, которого не было, дает мне надежду... Теперь я знаю одно, когда тут нахожусь: ваш мир и вы вкупе с ним – лишь белый листок, лишь сумма историй ни о чем, когда я против вас – большое создание в мире из трех равных координат.

Да, рано я себя показал. Но в этом весь смысл этой комнаты!

Идем?

В этом мире есть всё, что когда-либо стало буквой на белом листке (если сгнить или ж сгореть еще не сумело), всё, кроме денег, то есть этих ваших банкнот... Оу, нет, я не имею ничего против, но дело в том, что есть один парадокс – по какой-то причине я не вижу банкнот, а поэтому я не могу через них в ваш мир проходить...

Я был во многих местах этой комнаты – я странник! Жаль, правда, но я не могу давать имена тем местам, где иногда прохожу, – этот мир сильно изменчив. Пройдешь милю-другую по полю из серых листов, вернешься обратно, а там уж вырос холм из нового тиража каких-то брошюрок. Лезешь на верх – скользко, уже когда на верху, глядишь – не знаешь, откуда пришел, – тут всё весьма неустойчиво.

Я долго искал границы этой комнаты. Понятно же, что число книг в вашем мире не так велико, чтобы можно было создать из них хотя бы подобие космоса. Но я не мог их найти. Может быть, я по кругу ходил, не имея точных меток того, где я уже шел и куда мне идти, или же так – это просто не комната, а планета?

На самом деле это всего лишь ничто, чистая выдумка!

[Поиск человека!]

Идем?

Вы, может быть, скажете: тебе в твоем мире одиноко. Тогда я отвечу: я этого совсем не хотел скрывать. Вы много пишете, но что толку мне-то от всех ваших записей... – моего мира своей сутью они никак не задевают. Я тот, кто в этом живет, тот, кто это невольно сохраняет, – что ж, такая моя сущность бумажная. Но как-то раз я встретил здесь другого такого же, как я, странника...

Вас, люди, я вижу через ход ваших мыслей. Но это было другое – в моем мире это был истинно человек! Как сейчас помню, я в первый раз увидел то, что не было в своей природе бумажным. Волшебство? Вероятно, вы так же бы отнеслись на своей земле и ко мне, Рукописному.

...Помню, я сидел на скамье в черной комнате. Скамьи, как и всего прочего, тут нет, конечно, но почему бы ей не появиться? Помню, я листал какой-то журнал (...кто-то из вас, верно, такой же журнал листал от нечего делать у себя на софе мне в унисон...), но тут вдруг мой взор застыл на горке из пачек писем, что стояла чуть поодаль, – в сто а-четыре от меня кто-то двигался. Я не ожидал: вскочил, зарылся в журналы. Но что бы вы сделали, если б увидели в своем доме блика иль, на худой конец, призрака?

Слегка отойдя, я решил узнать, что меня так напугало, – может, то, что было увидено мной, – всё та же фантазия?

Я выполз. Вокруг нет никого, лишь стопки бумаг и мнимая лавочка. Я подумал: может, пройтись?

Несмело я ступал по тому месту, где якобы сейчас прошло какое-то существо. Его следов я не видел, да и как их можно было среди всех этих бумаг отыскать? Однако кое-что все-таки я тут нашел, меж пачек писем лежал пустой конверт. Почте, что тут кучей легла, еще не было и двух часов – она была свежая, – я же знал хорошо, что конверт не мог быть так рано открыт (ведь еще и дня не прошло), а тут вдруг такая странность!

Да, надо сказать, чуть уходя в сторону, что тут в черноте нет таких же, как у вас, стрелок для замера часов, точнее, нет того, по чему их можно было бы, если надо, секунда в секунду замерить. Не имея ничего (ни дня, ни даже ночи), мне приятно часы измерять по свежим газетам или нервным записям в дневниках.

«Идем?» – себе я задал вопрос, прочтя на конверте имя и адрес того, кто письмо отправил.

Через миг я сидел на горе и с высоты наблюдал за идущим по бумажной земле человеком.

Он был очень прост, ничего в его облике не было... – в куртке, с сумкой через плечо, молод, с густой бородой (вы же так всё это у себя называете?).

Что мне было делать? Спустить на него лавину из синих билетов, чеков, повесток и цветных фантиков?

Я так и сделал! Под ней он не умер – выполз. Наружи видна была одна голова... – я стоял во весь рост пред чужаком!

(Не знаю, зачем всё это я теперь говорю...)

Помню эти два глаза – две пешки, рот в испуге открыт, сам же он не мог ничего сделать. Я подал руку (верно, – я тогда понял, – она лишь для меня не видна, для него ж это было просто перо, для того, чтобы писать), он за нее взялся, я его вытянул. Он смотрел на меня сверху вниз (тогда-то мне и пришло в голову, что я лилипут...).

Заговорили... Ох, и сколько же вопросов сеялось из его зеленой тетрадки! Но я не всегда на них спешил отвечать. У меня был один лишь к нему интерес – я хотел узнать то, где он нашел дверь в мой мир и как сумел сюда втиснуться. Вы же все, люди, такие любопытные!

Рассказ этот – это я, избитый! Слушать меня – видеть, как я двигаюсь! Листочки белой бумаги, что по миру летели и кое-как в рассказ собрались! Состояние мое – кусочки историй, что когда-то случились!

Продолжу основное действие:

– Читал статью? Вижу, вижу, – говорил человек, что подошел к Коркину. – Наш город откроют. Вот же свиньи! Ничего, Коля... я сам-то, знаешь, как был взбешен!

...Коркин не понимал того, что ему говорят, не понимал где он, что вокруг и что с ним случилось. Было похмелье, был этот вагон, но прямо сейчас, вот-вот, с ним что-то плохое стряслось. Мысль, что ли, какая? Что-то важное, что-то большое? Он сидел, он всё помнил, он всё понимал, но что-то стряслось! И лишь одно: он почему-то знал точно теперь, что встретит именно этого человека... – *потрясение*!

– ...Откроют, – вторил себе теперь человек, – откроют, значит, не будет больше поддержки!

– Ну и что, – отвечал Коля своему гостю, еле рот разевая (ему было плохо, его отчего-то тошнило).

– Хо-хо, как это? Конец тогда! – крутясь на месте, весело тот кричал, не боясь косых взоров соседей.

Сказать точно, кто был этот визитер, мне было не под силу... – я искал его имя в архивах, но ведь и те архивы были не такие простые. Настоящее имя его я узнал ровно тогда, когда Коля, придя в чувства, на него поглядел, – **Панаев Дмитрий Сергеевич**. Всё! Почему-то более ничего в мыслях Коли я не прочитал. Сколько ему лет, чем он занят, какой труд избрал по жизни, Коркин не знал, по этому поводу у него в голове были лишь какие-то смутные, еле-еле видимые памятки, и те походили больше на подозрения.

Наверное, нужно спросить, что думали соседи об этом визитере? Старый, в сером плаще. С тростью и, кстати, не самой дешевой. Человека этого мы увидели еще до того, как он к Коркину подошел. Он стоял за его спиной чуть в стороне, взирая на него так, словно бы охотился: ловил каждое слово, каждое движение.

«Тук-тук, тук-тук...» – стучала его трость за спиной Коркина. Понимаете, я не могу слышать, но эти постуки ложились благостно на мысли людей, которые окружали человека, на ритмику скучного странствия. «Тук-тук, тук-тук...» – выбивали в голове люди ритм постука тросточки странного гражданина.

– ...Всё встанет, завод закроют, – теперь он говорил, – работы не будет, тот, кто сможет уехать, тот уедет, конечно...

Беспокойная речь гостя отчего-то задела Колю, он приник к окошку... – я увидел картину его детства, как он с семьей зашел в свою новую комнату «в доме, где много входов и выходов» (наверное, образ общежития). Потом из одного такого вылез этот Панаев, или (как Коля назвал его в мыслях) «Дядя Дима»; он был тогда еще молод, женат, жил где-то «в блоке третьем», потом я слышал шепот в комнате – это Дядя Дима и отец Коли «о чем-то спорили...», потом еще что-то про других детей в мозгу Коли сыграло... – «Дай, дай!» (звучал смех и детские отзвуки), – а дальше какой-то завод большой, «куда меня, – видел сейчас со стороны Коля Постарше, – ни в какую не пускала охрана, а я в кузове газика за отцом пробрался...»

– Хм, я так и знал! – ответил Коркин. – Всё к этому шло, давно же хотели город открыть!

– А мы-то все для чего, – шепнул Панаев, указав на газету, что сжалась в комок рукой Колиной, – мы-то... ведь надо ж было такое сочинить!

«Тук-тук!» – он нервно об пол тростью постукал.

Разговор – как тут, так и в газетке – шел о том, что родной по всем видным мне бумагам город Коркина, тот самый, в который он теперь мерно двигался, после многих лет режима должны были «открыть» (так уж этот процесс назвали), потому что он... беру из газеты: «не нужен», «на него идет много средств», «нет уже тайны» и еще: «без какой-либо надобности».

– Денег не будет – раз, работы – два, охраны... – дал паузу Панаев, – да, а потом еще и не знаешь, кто сюда может приехать?

– Вы же на пенсии? – зачем-то Коркин спросил.

– Ну да, – был ответ.

– Ну, а кто к нам может приехать?

– Да уж кто хочешь, – на вопрос Колин веско Панаев ответил. – Ты разве еще не слышал? – щурясь, тихо он выговорил.

– Нет. А что?

– Говорят, ездит тут один, – сказал Панаев, – ездит по нашим местам, я-то слышал, ездит и обирает такие городки, как наш Причальный.

– Обирает? – с улыбкой спросил Николай.

– Вот увидишь, весь наш завод, все пороха, всё скоро пойдет с молотка!

«Хм, – подумал Коля. – Началось!»

...Расставляя руки, восклицая, подвигаясь ближе к Коркину и шепча ему страшным голосом в ухо, Панаев развернул ужасную картину того, что в скором будущем с их городком могло совершиться.

Кончив, Панаев въелся взором в своего земляка – ждал реакции. Коркин лишь зевнул глубоко.

– Так и будет! – наконец Панаев добавил.

– Знаешь, Дядя Дима, – после паузы вдруг Коля сказал, – ты вот сейчас ко мне подсел, а я будто знал уже об этом (будто сон уже где-то виденный...) Будто мне об этом кто-то сказал, или даже я смог об этом где-то прочитать. Ведь даже то знал, что ты про наш город будешь мне всё рассказывать...

Коля задумался.

– Смог прочитать? – покачав головой, Панаев за ним повторил.

– Да, – убрав комок газеты в куртку, сказал Коркин, – да, такое чувство... – было он снова начал, но тут же осекся и уже после паузы, не зная сам для чего, произнес: – Что-то голова болит, словно в нее кто-то забрался...

Он не думал более о своем городе, не думал о хитром Панаеве, сейчас, по его чувству, к нему будто б пришло что-то ноющее из прошлого. «Нет, а может, всё же это хмель во мне бродит?» – читал я вскользь его мысли-гипотезы.

Панаев молчал, Коркин неловко всё же было стал про себя что-то мямлить: «Я что-то слышал, мне как бы сказали...» – но тут вдруг сосед, до этого молча сидящий, его речь на свою переврал:

– А вы слышали, – взялся быстро шептать он в сторону Панаева, – что у нас на линии есть один такой человек, ну прямо... – тут сосед будто слово забыл, – ну прямо... что ж я слово забыл? – сказал он и стал думать: – Оу... ну прямо, какая-то мистика?! – выдал он фразу и сам ей удивился.

– Мистика? – оценив взором соседа, Панаев за ним повторил.

– Вы слышали о таком... – тут сосед опять будто что-то забыл, но тут же нашел *это* и вывел: – вы слышали о почтальоне?

– Почтальон? – не понимая, спросил Дмитрий Сергеевич.

– В общем, – начал мужчина, – говорят, есть у нас на линии один такой пассажир...

Но Коля уже не слушал соседа, его вдруг заняло какое-то чувство, – что-то как будто сердце кольнуло. Или же нет? Ему пришло в голову, что под одеждой его вдруг что-то живое забилось! Он сунул руку под курточку...

«Нет, не сердце, – про себя он сказал. – Блокнот!» И потом: «Как блокнот?» – к кому-то, но уже не к себе, он обратился.

Коркин достал из куртки блокнот, раскрыл его и тому, что увидел, жутко был удивлен! Он часто описывал в нем свои мысли, либо какие-то случаи из жизни, истории, образы людей, давал к ним оценку, он вверял этому другу из белых листов порой чувства самые скрытые... – это был дневник. Но сейчас он видел, что в него кто-то залез, причем весьма вероломно...

Открыв книжку, Коля увидел, что многих страниц в ней просто нет, они были вырваны. Его личных записей никто, благо, не тронул, но куда же делись чистые страницы? Он помнил, что, когда утром готовил все свои вещи к отъезду, еще взял блокнот и хотел записать что-то о своей будущей поездке, но ручка никак не хотела найтись, однако он помнил и то, что блокнот тогда был целехонек. А теперь! Он же его из куртки-то не доставал и куртку нигде не снимал – что ж, блокнот сам собой внутри на страницы разъехался?

Но мало и этого! Помимо шрама на корочке, Коля нашел в толще целых листов чьи-то записи, и не его рукой писаные, – почерк в них был чужой: буквы были такие, словно бы текст набрали на машинке.

Коля про себя стал читать:

«– А ты-то, ты-то вот знаешь байку про почтаря?» – была первая строчка.

«**Что это еще такое?**» – Коля подумал.

«– Ну, ну, ну, – игриво поведя физией, как бы сразу что-то смекнув, кинул один из рабочих. – Давай, рассказывай!» – прочел Коркин еще две новых строчки (!).

Как же сильно он был сейчас зол на того, кто эти записи у него в книжке оставил. Однако Коркин как-то сразу смекнул, что тут был изложен рассказ, и причем рассказ совсем непростой...

Путаный рассказ о письмах

«– А ты-то, ты-то вот знаешь байку про почтаря?

– Ну, ну, ну, – игриво поведя физией, как бы сразу что-то смекнув, кинул один из рабочих. – Давай, рассказывай!

Они стояли, курили, один был точно пьяный... – два бойких путейца на линии утром в тени у вокзала. Они стояли давно, слушая друг друга, отдыхая и лишь изредка ударяя в щебень своими лопатами.

– Так слышал? – спросил тот путеец, что начал рассказ.

– Неа.

– Ну, так слушай, – говорил он, чуть улыбаясь. – У нас на линии есть человек, мы его все зовем почтальон...

– О, да-да, – сказал второй так, точно эту байку он уже где-то слышал.

Ох уж, Коля, мне это томное начало рассказа!» – читал Коркин, толком ничего не соображая.

«Рассказ о письмах:

– Ну, так вот, значит, болтают, что этот человек будто б сбежал из психушки, – загадочно шептал рассказчик.

– Я слышал, он может говорить то, что будет в будущем? (Второй его часто перебивал.)

– Да?

– Ты его сам-то хоть видел?

– Видел, но я потом лишь узнал, что этот – тот самый. Ничего в нем такого, очень прост... молод, носит такую бородку, – тут он руками на лице ее показал, – и ездит, собака, туда-сюда по нашей железке... – тут он засмеялся.

– Говорят, такие могут наделать?..

– Порчу-то? Ну, это всё сплетни! Ты слышал про то, чем он известен?

Путейцы стояли рядом с перроном, они махали руками, они хотели говорить, они желали друг от друга внимания.

– Угу, – гукнул второй, – он носит какие-то письма.

– А люди, что взяли те письма... – ты знаешь, что с ними случилось?

– Вроде бы они все погибли?

– Да, все, кто с ума не сошел, все погибли. Причем люди-то были всё больше видные – там... ученые, врачи, говорят, один был даже из какой-то газетки...

– А ты про это по телеку не слышал?

– Неа.

– А ты знаешь, что в его письмах?

– Нет, но болтают, будто эти письма не сам почтарь пишет, болтают, что эти письма от какого-то, мол, что ли, призрака, мол: он через них хочет в наш мир как-то проникнуть!

– Да ну тебя... – сказал второй путеец со смехом, – это же вообще какая-то мистика!» – на этом странный и, мало сказать, путаный рассказ кончался.

Коркин резко закрыл свою книжку, глянул вокруг и только сейчас стал слышать голос соседа, который с азартом Панаеву говорил:

– Вот такие байки ходят у нас на линии, просто же мистика?

– Да уж, – понуро Панаев ответил.

Коркин был сметен, он не понимал ничего из того, что вокруг него делалось: «Чертовщина!»

Но ты же, тот, кто это читает сейчас, понял – этот рассказ был еще и про меня, писчего, к тому же я его и написал, со слов мне чужих, рукой Коли в его мятую книжицу.

Однако эта история – лишь кирпич в общий сюжет, если уж мне и говорить о себе и, тем более, о своем прошлом, то нужно браться за историю с того момента, когда я на свет появился.

Рассказ обо мне (отступление)

По вашим меркам я сто раз как старик – я жутко древний, и я не знаю, когда я был на этот долгий свиток записан, по этому поводу у меня есть одни лишь догадки. А вы бы знали точно тот день или ж год, когда вас родили, если б у вас не было родных или близких? Нет, конечно! Вот и я, вначале будто немой, как всякое дитя слабый, бедный азбукой, не мог, наверное, точно знать, где я, кто я, – у меня были одни лишь рефлексы.

Рефлексы? Назовем это знаками. Человек – это кружок и пять черточек (сами расставьте...) Возможно, на заре времен был человек, который провел на камне первую черточку, – это и был мой зачинатель?

Но ведь за этой чертой был смысл какой-то, и он, наверное, к этой вот самой строке точно не относился.

Может быть, меня тогда не было, ведь у меня о той эпохе нет совсем своего знания, мое знание равно вашему, – о, я так долго взрослел! Но я вижу горы, дымку в долине, вижу косяк птиц, полосу леса за полем и речкой... – всё это слова и только! У вас, люди, ко всему есть имя или ж ярлык... – матрица зримого, которая дает мне силу через ваши слова и мысли видеть и наблюдать.

Любая вещь, любое явление тянет вас дать ему символ, потом других людей ему обучать: тело Текста – сумма всех ваших символов!

Во мне, у меня, в моем мире много книжек, но я мало читаю и плохо знаю, из чего состою. О, и сколько же было авторов, но то, что вы сейчас в руках держите, вовсе не роман, – это то, как я мир чувствую! Может быть, и я автор? Хм, себе самому? Нет, я очень предвзятый!

(Трудно спорить с тем, что написано!)

Кто сказал, что бумага всё стерпит? Да, она само равнодушие! (Я хотел о своей истории рассказать... – видно же, что это уже не получается!)

Нет, не надо это читать, листайте дальше, вперед на сорок страниц, там будущее! (Вы же все знаете, что в книге в любую минуту можно увидеть грядущее?)

Наслоения букв, наслоение цифр, слов – книги, наслоение значений, наслоение смыслов, вдруг искра совпадения, потом другая, третья... вот, уже таких миллион... – пламя сознания: строка хочет существовать!

«Большие дела творятся!» – она шепчет старичку в кафе, что присел попить кофе и что-нибудь свежее полистать.

От него по меню, через смятый фантик, через флаер, кем-то взятый, по щиту рекламы строчка бежит к милой дамочке, сидящей в авто с новым журналом (бежит же она всё, стерва, как-то по диагонали...).

«Ох, и что же будет!» – она этой даме кричит.

Но это строку пока толком никто не видит, то есть никто не видел, не мог понять и лишь иногда краем зрения замечал и тогда говорил спутнику: «О, совпадение!»

Вот и дама в авто и старик что в кафе в унисон строке говорят:

– О, совпадение!

(Теперь, видно, и мое письмо будет кем-то оценено! Но почему ж я сейчас пишу так сбивчиво? Вы мою речь понимаете?)

Отредактировать здесь всё, наверное, нужно, но, знаете, искусство всё же рождается из необходимости!

Да, я, Текст, очень долго, века, не мог ничего сказать, не мог ничего сделать, так только – играл: кидал редкие реплики, мелькал знаками. Но вот появился человек в моей черной комнатке, появился человек, как я тут рассказывал...

Так странно, после двух часов езды, после боли в мозгу, думок каких-то, после статьи, после чужой и, мало сказать, наглой записи в личной тетради, на Колю вдруг еще упал страх, причем вообще

невесть откуда взявшийся. Коля уснул на какое-то время, а теперь открыл глаза и в диком ужасе затрепетал...

«Что же я вчера выпил-то?» – он еще подумал, зная конечно уже, что хмель в этом не виноват.

Бедный Коркин, он хотел найти мотив для этого страха – но его не было, он пытался еще из себя что-то вытянуть, пытался еще что-то вспомнить – но память, хоть что-то и знала, никак не хотела ему этого показать, обрывалась. Страх язвой уже шел по телу, комом стоял в горле, душил, ныл в ногах, и уйти от чего-то темного в мыслях было заказано; всё делалось вокруг Коли враждебным.

Он глядел на скучных соседей, глядел на ухмылку Панаева – глядел с зовом о помощи по сторонам, – всё вокруг – лица людей, их мимика, их разговор, – всё как будто глумилось над его состоянием.

Но вдруг Коля что-то как будто почуял, что-то как будто особое и наверно самое сильное... – страх как будто б на чем-то одном весь собрался! Он еще раз обвел взором народ, что сидел в вагоне, ища что-то одно, что-то одно будто б особое, и тут взор его застыл на человеке.

Это был совсем простой человек, но всё же что-то тянуло взгляд Коли именно к нему, какая-то, что ли, скрытая сила, какая-то необычность...

Он сидел в пяти, в шести метрах от Коли у окна с видом на синий лес, на поле, на кусок речки, на доски вагона, на серый вокзал, на дома, на крыши, на огороды... – долго летели виды за окном, время шло долго теперь, и Коля его уже не хотел ускорять.

Он сидел в лучах света солнца, тихо грустя, тихо думая, тихо смеясь, тихо злясь на кого-то, тихо говоря что-то соседям, – долго Коля смотрел на тихого человека.

Он сидел с сумой через плечо, в одной серой куртке, на голое тело одетой, с немым взором, с пустым взором, с взором тихой печали, с взором радости, он сидел с улыбкой под бородой, – Коркин что-то хотел в нем углядеть, что-то скрытое от глаз заметить. Для него будто б что-то близкое было в сером путнике напротив, что-то будто б до боли знакомое.

– Почтарь, – вдруг тихо Коля изрек что-то такое, о чем будто б и сам не знал никогда.

– Что? – спросил Панаев и тут же поймал взгляд Николая. – Ты что-то сказал? – он еще задал вопрос и тут же перевел взгляд на сидящего впереди них человека.

– Нет-нет, ничего такого, – быстро Коркин сказал и увел свой дикий взор в сторону. «Почтарь, что еще за почтарь?» – про себя он пытался сообразить.

Сидящий перед ним человек был как будто знаком ему, и он его точно уже где-то видел, или же с ним был когда-то знаком, или ж ему это только сейчас показалось?

– Потом я увижу второго, – вдруг сказал Коля, что-то найдя будто в памяти, – второго... – он повторил, себе не доверяя, – с этим вторым я пять лет не мог пересечься... – знакомую, но уже как будто забытую фразу шепотом Коркин проговорил.

– У тебя бред? – со смехом Панаев спросил.

Коркин ему не ответил, однако про себя подумал: «А может, я всё же знал когда-то этого путника?» И тут он стал вспоминать...

Ну да, ну да, конечно! Коркин вспомнил теперь, что он учился когда-то с ним в одной академии! Ну и что? Что ж такого? Он даже имя его позабыл! Но он знал при этом и то, что с ним он не виделся вот уже пять целых лет, а теперь видимо пересекся! Нет, нет, главное то, что он знал (и в этом всё дело!) – он точно знал откуда-то – именно знал! – что с этим вот человеком он должен был теперь пересечься!

«Сюжет?» – он отчего-то подумал.

Украдкой Коркин вновь на него поглядел... Два глаза, до этого занятых каким-то своим кругом объектов, своими думами и долгой дорогой, теперь вдруг впились в Колю, и он не мог уже никоим образом от них отстраниться...

«Почтарь, почтарь!..» – летело у него в голове, пока он зрел со страхом на этого человека. Коркину казалось, что если бы еще только на минуту продлись это мучение, он бы свихнулся.

Но его, благо, что-то спасло... Его визави отвел от него свой взор-магнит и перевел его на что-то другое, на что-то стороннее. Но на что? Что спасло Коркина? Он посмотрел: по проему, меж двумя рядами скамеек шла баба в платке и цветастом халате, вся-вся разноцветная.

– Цыганка, – Коля сказал, а потом для чего-то добавил: – Вот так новость, я ж знал, что она появится!

Теперь весь вагон смотрел на нее, все люди словно ждали от нее чего-то такого, что могло бы, наверное, как-нибудь развлечь их в долгом странствии. И она об этом знала! Говоря что-то про судьбу, про гадание, она жаждала подойти к каждому, но люди пытались побыстрее от нее отделаться. Она подошла и к Коле, но и он так же, как и все прочие, ее к себе не подпустил, так же отнекался.

Однако ж тот пассажир, к которому теперь было обращено всё Колино внимание, к продукту гадалки проявил интерес, – он сам ее к себе подозвал и сразу же протянул тысячу рублей одной бумажкой. Кто-то из людей в ряду даже ахнул, до того это всех потрясло – босяк за так отдал целую тысячу, – цыганка сама была в удивлении! Но молодой человек не обратил на общее изумление никакого внимания, он притянул голову цыганки к себе поближе и что-то ей на ухо прошептал. Та тут же что-то ответила, но очень неясно и коротко, а потом, видимо, еще не веря совсем в свое счастье, быстро побежала вон в другой вагон электрички.

Старушка, что сидела рядом с тем, кто верит в гаданья цыганок и отдает с ходу за это такие деньжищи, стала задавать своему соседу вопросы, но Коркин – вот ведь жалость! – не мог слышать этого разговора. Однако ж он не отчаялся; былой страх его теперь чуть-чуть отступил, став легкой тревогой, и он решил подробно разглядеть того человека, который, по его ощущению, был главной причиной его душевного беспорядка.

Что же он заметил в этом человеке? Надо сказать, очень немногое.

Он был молод, но его борода и грубая одежда делали его старцем; он был как-то странно подвижен: он вроде бы и покойно сидел на своем месте, но в его руках будто горел уголек – руки, будто по своей воле, мяли всё – какие-то фантики и бумажки, – всё, что в них ни попадало; взор его не мог на чем-то одном замереть, голова шла за ним рывками какой-то странной пытливости.

Особо Коркина заняла сумка субъекта, через которую он хотел узнать, чем тот занимается. Она была очень старая, потертая, разные надписи, сделанные ручкой, ее просто испещряли. Из нее торчали какие-то буклеты, какие-то флаеры, листы белой бумаги и – тут Коля напряг взгляд – отрывные объявления.

Сейчас этот чудной человек как раз, ища что-то, вытащил часть тех вещей, что в сумке хранились. Свет увидели: чеки, стикеры, какие-то книжки, тетради, прочий шурум-бурум, из сумки была вытянута целая кипа цветных рисунков и куча фломастеров.

Этот человек что-то искал усиленно; он как будто ждал чего-то, что должно было вот-вот произойти, и поэтому очень торопился... Он был зол, он был в спешке, он не мог что-то найти, он путался в своем багаже; он скомкал какие-то бумаги и швырнул их под скамейку. И тут он, видимо, нашел то, что так долго искал; это был простой, такой же, как и у Коли, билет на электричку.

Этот белый билетик был очень бережно протерт рукою на коленке, а потом – Коркин затаив дыханье смотрел – несколько раз перечитан. Странный субъект даже сделал с него какую-то выписку в свой блокнотик. Дальше же, отведя рукав и на часы поглядев, он обратил голову к входу в вагон с взором, полным тревоги и какой-то немой черноты, – словно бы поджидал чего-то особенного.

Так странно, не заставив себя ждать, в вагон вошли два синих костюма – два кондуктора!

Женщины шли по проходу с ручными кассами наперевес... Следующий пытливый заряд взгляда этого опасного человека был в сторону Николая направлен. Благо теперь он был ученый, – он успел уклониться.

Контроль шел по вагону, подходил к каждому человеку и требовал то деньги за проезд, то билетики. Он дошел через какое-то время и до чудного человека. Коркин ждал его реакции, ждал нервно того, что ему скажет контроль. Но ничего не произошло. Коркин даже расстроился.

«А можно и мне билетик!» – вдруг Коля услышал. Он открыл глаза, он увидел, что контроль стоит у его пассажира.

– А вы же брали, – сказала одна из женщин. – Вам что, еще? – тут она улыбнулась.

– Да-да, еще один можно, – тот проговорил.

– Зачем? – спросила женщина.

На этот вопрос молодой человек лишь плечами повел и широко улыбнулся.

– Ну можно?.. – потом он добавил.

– Хм, ну берите... – ответила женщина так, как будто это ей было не ново, а потом стала на ручной кассе чек выбивать. – Докуда? – она еще между делом спросила.

– До конца, – ответил человек и взгляд перевел... Нет, то, куда он взгляд перевел, Коркин не хотел увидеть.

Когда же всё утихло, Коркин украдкой вновь поглядел на человека: он был занят билетиком, он опять из него что-то в блокнот переписывал.

«А что такого-то? – подумал про себя Николай. – Ну что, скажите, такого случилось-то?»

Однако руки его были, видимо, другого мнения – они отчего-то тряслись.

Следующим в вагон вошел разносчик, или назовем его: путевой продавец, Коркин понял – только его теперь он почему-то и дожидается!

Теперь Коркин не стал следить за тем, что случится, он уткнулся взором в окно, и виды дороги его поглотили. Нет! Этого быть никак не могло, – теперь он смотрел в отражение: продавец подошел к чудному и, мало сказать, странному пассажиру.

– У вас есть конфетки? – тот спросил с упоением.

Конфетки нашлись, и пассажир теперь занялся фантиками!

«И что такого? Чего я бешусь-то?!» – мучился Николай. Но тут его мысли вдруг что-то затмило! «Будто бы рвота, или что-то похуже...» – Коля вдруг ощутил, что из его нутра что-то хочет вырваться.

И оно вырвалось:

– Общаясь с цыганкой, меняя билет, покупая и поедая конфетки... – зашипел Николай не своим голосом, – этот второй мне видится очень чудным, я как бы даже его сразу не узнаю и боюсь, но все-таки... теряя всё свое, я с ним пересекаюсь...

Он выдохнул. Все вокруг глядели на него с большим изумлением.

– Что это еще? – шептал Николай, ничего не понимая.

Но пассажир, – Коля видел, – тот пассажир, он улыбался, он нагло прямо в лицо скалился! Однако Коля знал: то, что он сейчас с такой болью выговорил – это то, как он его предсказал! Только вот сам он сейчас не мог с такой мыслью совладать, он была ему еще непосильна!

Минута, другая... В его глазах всё потемнело...

– Коля, Коля... – шептал Панаев.

Коля открыл глаза и увидел: буквы, буквы, – везде были буквы и буквицы... Прямо как сейчас, как тут на этой белой странице!

У – Дядя Дима махал рукой. Б – сосед. Е – старая дачница. Г – кто-то голову в открытое окно выставил. А – та девица что впереди. Й – двое со стороны того человека. ! – тот человек: он стоял, он зло ухмылялся!

Коркин медленно встал и быстро, храня в руках свою голову, зашагал по электричке. В каком-то из вагонов он вышел в дверь, которая перед ним, на счастье, раскрылась.

Вопросы – это ответы, только скрытые!

Запах травы, скрип щебеня, – Коркин стоял в лучах солнца на какой-то станции. Точнее, это была даже не станция, а, наверное, просто одна из стоянок для дачников, – вдалеке стояли два летних домика, вид у них был характерный. Коркин поглядел по сторонам: ни вокзала, ни перрона тут не имелось, только у места высадки щебня навалено было чуть больше, чем по всей остальной рельсовой перспективе.

Зной да жара! Мимо Коркина что-то с воем и стуком быстро проехало. Одно его теперь удивляло – ни один дачник не сошел с электрички!

Выходить в этом месте сам Коркин не собирался, однако всё же он был рад, что это случилось. То же, что сейчас с ним в поезде стряслось: этот поезд, тот человек, все эти соседи, он сам чего-то наговорил... Нет, Коркин не мог сразу справиться с потоком всех своих мыслей, они друг друга перебивали.

«Но ничего ж ведь и не было с другой стороны!» – ответил Коля одному из своих наиболее занудных суждений. – «Нет-нет, всё же, Коля, там что-то было и что-то весьма нехорошее!» – в который раз отвечало ему это хмурое соображение.

– Что? – Коля шипел. Назад ответ ему не хотел вернуться. – Куда же мы теперь? – он было стал еще у себя спрашивать.

Коркин обвел взором виды дороги, пытаясь найти для себя что-то такое, что он уже мог когда-то давно, мимо двигаясь, в окно заметить, – хотел понять: как долго ему нужно будет идти до своей станции, – и тут так и замер: от яркого солнца в его сторону двигался черный силуэт человека.

Ох, сколько же было в разных историях этих черных силуэтов, сколько же в разных сюжетах было этих символов рокового поворота, который весь сюжет жаждет собой переменить; они, все эти черные силуэты – тени нового, тени завязки, тени страшной перемены, – всегда как-то некстати вставали на пути у персонажа, угрожали ему своим появлением.

Вот и теперь: Коркин с опаской глядел на черную тень, мучился, искал слова к разговору, искал пути к своему отступлению.

Да уж, да уж, часто ли вы на своем пути в своей жизни видели черный силуэт человека? «Видели, все видели!» – вы все кричите. Но вот он перед вами, вот он идет на вас со своей опасной загадкой, – нет, а что если он мимо проходит?! Вы этого ждали, конечно же, а теперь, когда снова покой, вы, верно, о не ставшей былью погоне, о схватке, о дикой страсти, о поцелуе, обо всем том, что в голову ни придет, вы сожалеете!

Но Коле в этот раз повезло, черный силуэт с ним первый заговорил.

– Коркин, – он сказал, – ты свой билет ведь не потерял?

Коркин уже давно узнал того, кто шел к нему тенью нового, а теперь стоял супротив... – да это же был тот самый человек, которого он наблюдал только что в электричке.

– Коля, такие вещи нам не стоит терять, – тот еще успел добавить.

Тут-то к Коле в голову и пришла мысль о том, что больше ему не будет на свете покоя, о том, что ему не быть больше прежним, что вот-вот вся его суть навек пропадет... – но эта мысль была даже не мыслью, а только лишь искрой какого-то далекого ощущения: она, красным светом мигнув, в тот же миг испарилась.

Коркин был поражен.

– Стой, стой, стой! – вдруг он стал шипеть на человека (так шипят кошки, когда видят мучителя). – Мы что, с тобой знакомы? – просипел он, задыхаясь.

– Конечно, – тот ответил, – я – **Семен Бегичев**!

– И что, что с того-то? – Коркин был испуган, он заикался.

– Мы же с тобой вместе учились, – добавил пришелец.

Не надо думать, что вам будут лгать с первой встречи.

– ...Ты испуган, – говорил человек, – я вижу, ты дрожишь. В поезде ты увидел то, что тебя поразило, а теперь ты никак не хочешь это принять, никак не хочешь поверить, что это есть по-настоящему?

Коркин уже был готов ответить, но рот, предатель, никак не разжимался.

– Где твой билет? – спросил человек. – Мне надо на него поглядеть.

– Зачем? – ничего не мог понять Николай.

– Я по билетам путь нахожу, – шепнул пришелец, – тот путь, по которому могу дальше двигаться!

Он по-доброму скалился, как будто изводил терпение... – казалось, он вот-вот не выдержит и вместе с Коркиным над этим всем расхохочется.

– Путь? – еще спросил Николай.

– Дорогу, – тот быстро ответил и строго ладонь протянул.

– Ты этот, я узнал... – Коркин не мог слово поймать, – ты же этот... на нашем еще курсе учился... Бегичев? – он спросил, наконец. – А я тебя видел, – присев на полотно рельса, он вдруг признался.

– А я тебя, – сказал Бегичев. – Так что же, билет мне покажешь?

Коркин порылся в кармане, вытянул белый билет и протянул его Бегичеву. Сейчас он совсем не хотел спорить, не хотел ругаться, он вдруг заметил в себе какой-то чудный покой и томное, маетное смирение.

– Так, так, так... – вдруг быстро затакал Семен, когда прочел всё, что было на белом квадрате. – Значит вот оно что: значит, Коркин, я у тебя на пути, значит, мы с тобой не случайно сегодня пересеклись.

– Ты, Семен, стал другой, – зачем-то сказал Николай, – будто совсем постарел. А что это за тема такая с билетами?

– Смотри, – шепнул Бегичев, – твои цифры и мои цифры, – он показал, – твой билет говорит о встрече, и мой говорит об этой же встрече: в каждом из них по шесть цифр, вот, а сумма трех первых почти что равна сумме трех последних, отличие в одной единице – они оба встречные! Но и этого мало, – с азартом говорил Бегичев, – вот же, гляди... у тебя три последних цифры точь-в-точь такие же, как и у меня, – всё это он тут же на билетах показывал, – только их порядок обратный... то есть мы должны были с тобой так и так пересечься! – пока Бегичев объяснял, он был каким-то странно оживленным.

– Ни слова не понял, – сказал Николай.

Бегичев повторил.

Надо сказать, что когда в будущем Коркин и Бегичев уже были друзья, Семен, помимо всего прочего, в их частых беседах задевал тему некой текущей функции, живущей меж слов, меж людских символов. Как он говорил: есть, мол, некая знаковая система – тело сверх существа, которое всегда как бы за собой оставляет шлейф цифровых и буквенных совпадений... Он говорил, что если знать некие простые правила, то по этим знакам можно ходить, при этом знать точно, что с тобой в будущем может произойти; он говорил о том, что нашел как бы сечение между знаками (что есть: слова, буквы, цифры) и будущими событиями; что ходит он, мол, по какой-то странной симметрии знаковых повторений.

Номера билетов, что берешь при поездке, номера домов и квартир, номера сотовых, – всё это для Бегичева было картой движения.

Держа в руках билет, он знал уже, когда ехал с Колей в одном вагоне, что он кого-то знакомого встретит – его билет, как он уже объяснил, был встречным. Когда же он Колю заметил, он тут же смекнул, что его билет сработал и должен теперь обновиться. Так он узнал о том, что скоро будет случай купить новый билет, – что скоро, вот-вот, в вагоне будет контроль. Это случилось! Он купил новый билет, который по его системе, – мы же не будем в деталях тут о ней говорить, – сказал ему о скорой покупке – в вагон вошел продавец... ну а Семен купил у него барбариски.

Как же он к этому пришел, хотелось бы выяснить?

История длинная... Однако я могу сказать, что Семен об этом никогда и не мыслил. Может статься, он просто когда-то в своей жизни заметил один парадокс. Вы знаете поверье, – хотя это, может быть, байка или примета? – о билете, который вы почему-то все зовете счастливым? Дело всё в том, что если в номере билета сумма трех первых цифр будет равна сумме трех цифр, идущих следом, то люди верят – им будет везенье! Семен тоже знал об этом поверье и всегда, садясь в трамвай или в автобус, искал нужные циферки, надеясь на то, что суммы их, наконец, совпадут. Парадокс в том, что с ними ему никогда не фартило... – сколько бы он не ездил, на какие бы рейсы не садился, он никогда не мог с такими цифрами встретиться.

Счастья в цифрах у него не было, поэтому он так к ним и стремился? Нет-нет, это всего-то лишь предположение...

Однако ж я сильно увлекся, а между тем, – вообще это очень хороший прием к сюжету вернуться, – а между тем... Коркин и Бегичев чуть в разные стороны на нашей дороге сюжета не разошлись!

– Ты что же, сочинил эту историю, когда меня в поезде заметил? – Коркин спросил.

– Нет-нет, – отвечал Бегичев, – я это понял еще у кассы, когда билет покупал...

Коркин еще думал спросить о том, как жил, как живет Бегичев, – это было прилично, но ему хотелось побыстрее остаться наедине, уж очень он себя неважно чувствовал.

– Ты, Коля, – говорил Бегичев, – уйти думаешь?

– Что за ерунда! – вопил Николай и шел вдоль по рельсам.

– Стой, стой! – вслед ему кричал Бегичев.

Но ведь он говорил... – ох, Коркин же совсем ничего не понимал... – он говорил зачем-то, что именно по этим билетам, – вот же ерунда, – по этим вшивым билетам он, мол, узнал, что с ним встретится!

– ...Не только, – отвечал Бегичев. – С нами, Коркин, есть еще третий, мы его только не можем видеть, но он, следуя за нами двумя, сам того не желая, оставляет след, вот такой, как на этих билетиках... За ним тянется – это надо еще понимать – как бы хвост... как бы шлейф совпадений!

А вот вам еще!.. И зачем же Коркин домой сегодня собрался? Жара, солнце, рельсы, иногда мимо шли поезда и тогда нужно было сходить на обочину и слушать, и слушать сквозь стук колес все эти доводы Бегичева.

– ...Третий?

– Ну, ты не помнишь, ты еще в блокнот там чего-то записывал... – трещал Бегичев, роясь в сумке и пытаясь Коркина рукой задержать. – Раньше же, еще до того ты делал что-то с газетой... – мял всё чего-то ее, сам всю поездку кривлялся... Точно такое же и со мной было однажды, – он говорил, а потом часто добавлял, как бы больше к себе самому обращаясь: – Да-да, всё так и было, всё так и было: всё это неверие, всё это беспамятство...

– Не помню...

– Но это ведь было!

– Знаешь что... – отвечал ему Николай, – ты зачем за мной вышел-то? Я, Семен, хоть давно и не видел тебя, но лучше бы, извини, и не видел, и не встречал... – он злился, он был рассержен. – Давайка я пойду на свою станцию, она вроде бы следующая, а ты уж жди тут электричку...

– Да-да, так всё и было... – частил Бегичев, что-то про себя поминая. – Да-да... иди домой, иди, конечно, на свою станцию... – говорил он Коркину с участием.

Запах мазута, скрип щебня, зелень вокруг, – да, но Текст ведь не может чуять, видеть и всё такое прочее... он знает лишь буквы языка мыслей, и что для него тогда все эти виды природы, все эти пейзажи?

– Слушай! – вдруг окликнул Семен Николая, когда они уже разошлись. – Слушай, Коля, ты не можешь дать мне чуть-чуть денег, так только... – он руки развел, – чтобы уехать, а то я все свои потерял!

Коркин замер на месте, его изумила эта новая выходка Бегичева.

– Потерял? – он за ним повторил. – Потерял?! Я ведь видел, как ты целую тысячу цыганке отдал сейчас просто запросто!

– Да, отдал, – сказал Бегичев. – Кроме одной чирки, других денег у меня не было... но так было нужно, я поступил правильно...

– Что она тебе, кстати, сказала? – спросил Коркин с улыбкой.

– Она сказала, что я всё пока делаю правильно...

Коркин на это лишь хмыкнул, а потом пошел дальше по рельсам.

– У меня с собой лишь эта десятка! – крикнул Бегичев. – Николай! – он возопил, – помоги, как же долго с тобой мы не виделись!

Коркин замер, его что-то смутило.

– Ладно, – сказал он, порылся в штанах, достал сто рублей и протянул их просящему. – Держи и садись на электричку...

Бегичев взял купюру, ничего не ответив, но лишь только взгляд, лишь кривая улыбка авантюриста...

«Вот же что сочинил, – про себя думал Корки, шагая по гравию, – денег просит... вышел он по билетику... свои-то кончились!» «Изменились, и как же мы все, Коля, изменились... – обращался он к себе, – кто-то ведь уже стал такой же, как этот вот побирушка!» «А то, может быть, он вообще на пару с этой цыганкой работает, а я, глупый, ему поддался – сработал он на моем сострадании!»

Вокруг Коли всё теперь было спокойно – зеленый лес, синее небо, где-то в вышине шумел товарняк. Идти по шпалам ему было приятно, и он совсем не жалел теперь о том, что вышел раньше на одну станцию, уж больно в вагоне ему было не по себе, – что-то мучило тогда, что-то тревожило. А нынче! И думать можно, и опять с собой наедине, – что же все-таки там случилось-то?

Коля бы еще долго так шел, думая о себе, о своей жизни и о чем бы то ни было поминая, но его

вдруг что-то остановило. Он ощутил где-то у себя под одеждой дрожь и жужжание, потом оттуда полилась знакомая музыка, – ну, конечно же, сотовый телефон – вещь совсем в памяти запропавшая!

Он взял трубку.

– Привет, – кто-то весело сказал на той стороне. Голос был очень знакомый.

– Бегичев? – спросил Николай.

– Да.

– И двух минут не прошло, – он ответил. – Откуда у тебя номер моего телефона?

– А я иду сзади, – сказал Семен весело.

Коркин назад поглядел.

– Ну и что? – спросил Коркин, когда Семен подошел. – Как мой номер у тебя вдруг оказался?

– Твоя сотня? – сказал Бегичев и вручил спутнику недавно взятую у него банкноту. – Бери обратно, всё сошлось так, как я и надеялся...

– Что? – не понял Коркин.

– Смотри, это тебе потом будет нужно: номер на ней точно такой же, как на твоем сотовом...

Коркин взял купюру, увидел бурые цифры: без первых трех цифр, номер на ней точь-в-точь сходился с тем номером, что был у Коркина на сотовом, те же три можно было и в уме подобрать, но – вот же загадка! – те три... но только не остальные!

– Это еще что? – спросил Николай, а потом стал поверять взятые им сто рублей на подделку. – На ней что, мой номер, ты это как сделал? – он не мог и не хотел верить Бегичеву.

– Коркин, – начал Бегичев, – эта сотня просто ко мне очень хотела попасть, уж ты мне поверь, и через руки, через кассу, через твой карман она меня нашла, – я же знал: нечто такое у тебя есть с собой, – ну, а после я ее номер набрал на своем телефоне...

– Это ты о чем? – ничего не мог понять Коркин. – А как ты мог знать, что она с таким номером?

– Это, Коля, не лотерея, – говорил Бегичев. – Когда цифры сходятся, как это было уже на билетах, если на то есть их воля, конечно, если они хотят быть увидены... – они сходятся до конца, уж поверь, сплетают всё вокруг собой так, что только успевай... – тут он еще подумал, – успевай всё это дело записывать...

Бегичев смотрел на Коркина, тот же смотрел в оба глаза на Бегичева. Семен еще хотел что-то сказать, – о чем-то всё думал, следил за мимикой своего спутника... – он уже руку тянул, рот уже разевал, желая что-то высказать, но, видимо, не мог, не мог сам найтись, не мог отыскать нужное объяснение.

Долго шло время.

– Слушай, слушай, – открыв глаза и как будто что-то поняв или подняв что-то из памяти, сказал Николай, – слушай, – он лоб сморщил, – слушай, вот что: я вспомнил, у меня что-то было в блокноте, да-да, я что-то вроде бы туда сегодня записывал...

Но я ли сковал память Коркина? Я ли был той причиной его слабости, которая, надо сказать, для вас, о люди, общая – глухой страх ко всему, что трудно вам самим объяснить? Да, наверно это был я, словесный! И время пришло (сюжет уж этого требовал): я отпустил память Коркина, вернул ему всё до буковки, до единого измышления!

Бегичев еще молчал, Коркин еще говорил:

– Я вроде бы что-то помнил... – эту фразу он словно бы выдохнул.

– Да-да, да-да, – сказал Бегичев. Он напряг взгляд, обвел им Колину физию, а потом залез в свой карман и протянул Коркину красную конфетку.

– На вот, держи, – он сказал. – Рассоси ее, и, может, всё плохое пройдет, это обычно помогает...

Надо сказать, – это справка, – что конфеты или другие сладости всегда были в кармане у Бегичева. Их он не очень любил, но с этим ему пришлось еще когда-то давно свыкнуться. Дело ж в том, что конфеты или, скажем, яблочки хорошо держали в мозгу те события, которые никак не должны забыться, – это был своего рода пункт сохранения. Надо думать, вы поняли, конечно, что с Семеном я был знаком еще раньше, до всех этих событий, а наши частые встречи кое-чему его подучили, – теперь, даже для себя еще незримо, Бегичев всегда вынимал леденец при малейшем волнении, при малейшей только опасности того, что я могу вдруг откуда ни возьмись появиться. Вот и сейчас Коркину он дал свою барбариску – средство для фиксации воспоминаний.

– Да, что-то было, – еще Коркин добавил. – Я что-то, помню, записывал?

– Дай-ка мне свой блокнот, – ответил попутчик, – я кое-что посмотрю...

Коркин достал блокнот, протянул его Бегичеву, а потом его повело, повело... голова кругом пошла, он присел, и память, та память... – ох, он был в вагоне, он читал ту газету... но голова всё как-то болела... солнце, соседка, его всё тошнило, а потом, – он вспомнил, – он достал свой заветный дневник, свой блокнотик...

Сейчас Семен читал как раз то, что было в этой книжице. Он быстро листал ее, опуская личные записи Николая, – искал, верно, то, что ему одному лишь различимо...

– На меня там как будто кто-то напал, – шептал Николай, – что-то, я помню, будто бы в газете сидело, я не мог взгляд оторвать, и ведь оно еще пыталось мне что-то всё говорить, а потом я как будто что-то записывал?

– Да-да-да, – быстро Бегичев говорил, – да-да, всё так и было, я сам это не раз наблюдал...

– Да, там что-то было, Семен, что-то такое... – чуть слышно Коркин ему отвечал, рукой тыкая в книжицу, – там наверно что-то найдется? – он весь трясся, его будто знобило.

Бегичев листал страницы, повторяя:

– Да-да, всё так и было...

– Стой, стой! – прервал его вдруг Николай. – Там было написано, что ты придешь... Сначала цыганка, потом контроль, потом продавец... Стой, стой! – он прокричал. – Ты же тот самый почтарь из моего дневника?..

– Да, – Семен ему ответил. – Да, но я вот гляжу, – а глядел он сейчас в этот самый дневник, – я гляжу: *он* тут уж больно много наврал про меня, многие факты уже... мм... устарели...

– Он? Ты это про кого? – Коркин спросил.

– Про того, кто уже пишется, – ответил Бегичев. – Тебе, Коля, пока что этого не понять, – быстро он говорил, – было нарушено твое... мм... сознание... Нет-нет, – он тут добавил, – мне этого пока тебе не объяснить...

– Объясни, – требовал Николай.

– Пойми же, Коля, ты кое-кого увидел сегодня, – говорил Бегичев, с трудом от тетради Коркина взгляд отрывая, – это тебя сильно потрясло, и твой мозг пытался стереть то, что его цензура не пропускала...

– Что же тогда в моей книжке? – Коркин не унимался.

Бегичев не хотел говорить, но он, видимо, давно уже решил про себя, что если задают вопросы, то уж лучше на них отвечать, притом правдиво.

– Одна из глав, – он сказал, а потом тихо добавил: – Рассказ двух путейцев о письмах: роман уже пишется... Только тс!

– Что? – Коля ничего не мог понять. – О чем это ты говоришь?

– Пойдем, – сказал Бегичев, – нам надо на станцию...

Коркин сейчас сам себе в чем-то сознался, и ведь уже знал, в чем именно, но еще раз провести всё это через свои мысли, как-то обдумать он не хотел, он сильно боялся, он отвергал любую попытку, – однако же, сколько в его голове сейчас было вопросов. Николай мучился от бессилия, ведь он должен был ко всем чертям еще давно послать Бегичева, но вот сам сейчас шагал по шпалам за ним и обо всем том, что он никак не мог понять и принять, хотел зачем-то у него выспросить...

Дальше идут лишь редкие цитаты из их беседы:

– Ну, вот ты, – отвечал Семен Коркину, – или ж те, кто рядом с тобой там, в вагоне, сидели, наверное, в своей речи часто теряли с языка самые простые слова и вели себя необычно?

– Да-да, – отвечал Коркин, – что-то такое там я заметил...

– Ну так вот! А это – его признаки!

– Кого?

Вот ведь, объясни! Коркин не верил и не хотел верить Семену, но всё же шел за ним как на привязи, и ведь что бы взять да убежать... но нет, – всё задавал и задавал вопросы!

– А что роман?

– Ну, это его надежда, он нашел способ, как на свет выбраться...

Нет-нет, Коркин не хотел поверить. И что ведь Семен говорил? Как всё объяснял? Невыносимо!

– Да, Семен, со мной что-то было, но вот то, что ты говоришь всё о каком-то там живом тексте, вообще же фантастика!

Думаю, что эта фраза его мой жанр не определит! Коркин уже смеялся над доводами своего спутника, но все-таки шел за ним, тяжело через шпалы переступал.

– Ну, это мой старый хозяин, – Бегичев отвечал, – а сейчас мы с ним разошлись.

– Старый хозяин?

– Пойми метафору: я на него когда-то работал, потом он мне задолжал, а теперь я его преследую...

Было дело...

Вам же понятно сейчас то, что Семен сказал Коркину обо мне, – как уж умел, хитрец, объяснил. Однако Коля не хотел в это поверить, такие вещи как текст, к тому же живой, трудны были для его восприятия.

Наконец, вдали стала видна искомая станция, Николай узнал черты того места, куда он со своим спутником так рьяно стремился.

– Знаешь, – говорил Бегичев, – тот билет, что я купил в кассе на вокзале, сказал мне о скорой встрече, но главное, цифры его дали понять мне то, в какой вагон нужно войти, а потом какое место выбрать...

– А теперь ты, зная эти знаки, можешь сказать, что с нами случится? – спросил Николай с ухмылкой.

– Их нужно увидеть сначала, – отвечал Бегичев, – а потом понять как-нибудь их значение... Вот у тебя, Коля, есть с собой что-нибудь... – он подумал, – ну, скажем, что-нибудь печатное?

Коркин лишь руками развел.

– Давай, – сказал Семен и указал на карман Николая.

Коркин сунул руку в карман и неожиданно для себя вдруг вынул оттуда комок газеты, которую он читал в поездке, которая его в себя же тогда и вобрала, которую он потом убрал в куртку и о том позабыл успешно, – но ведь сколько же в ней таилось опасностей!

– Не смей читать! – крикнул Бегичев.

Коля отдал газету ему – уж больно тот страшно смотрел.

– Так, так, так... – начал такать Семен, листая газету. – Вот, нашел: **гороскоп!** – он выкрикнул.

– И что? – сказал Николай. – Он что, тебе как-то поможет?

– Который час? – спросил Бегичев, не обратив на вопрос Коркина никакого внимания.

– Третий, – ответил Николай.

– Близнецы, – кивнув, сказал Бегичев, – близнецы!

Вот что было под этим знаком в газете написано: «В этот день вас ждет много встреч и лишь от вас зависит то, будут ли они удачными. На вашем пути может стоять враг; знайте, что часто лучше выбрать длинную дорогу, чем короткую».

Бегичев прочел это Николаю и заложил за щеку свою барбариску.

– И что? Что это значит? – Коля спросил.

– Там нас кто-то ждет, – указав вдаль на линию, сказал Бегичев.

– Хорошо, – ответил Коркин, – но почему именно этот гороскоп, почему именно близнецы?

– Потому что эта газета, – Семен ответил, – не зря у нас оказалась. Сейчас третий час, ну а третий знак у нас тут в газете – близнецы...

Бегичев бережно сложил газету и засунул ее в свой портфель.

– Что, так можно каждый час отмерять? – еще спросил Николай.

Семен на это ничего не ответил.

– А у тебя тут много всего! – весело сказал Коркин, указав на поклажу спутника.

– Ничего нельзя утерять, а то можно с дороги сбиться... – хмуро ответил Бегичев. – А теперь

смотри, – он сказал и махнул рукою на станцию, которая была от них, идущих по шпалам, чуть в отдалении.

Коркин боялся еще оторвать свой взор от лица Бегичева – боялся смотреть туда, куда тот стремился, – его еще занял полет бабочки, мимо летящей... но все-таки он себя поборол, и его взгляд, как опасный зверек очень быстрый, вонзился в картинку: на перроне стоял силуэт какого-то серого человека с тросточкой.

– Панаев, – сказал Коркин. – Старик, он сидел со мной в поезде, – Николай пояснил.

Больше всего Коля сейчас отчего-то боялся того, что он снова начнет задавать Семену свои вопросы и Панаев услышит их разговор. Наказание: он это знал, он этого боялся, но ничего уже не мог с собой сделать, ему, верно, нужно было себя чем-то занять, чему-то одному отдать всё свое больное внимание.

– Стой, а что почтарь? – он спросил Бегичева.

Ох, и этот-то вопрос! Именно об этом молил себя Коркин молчать, он даже для себя спрятал на время эту проблему, как бы совсем решил о ней позабыть. И вот, глядите! В самый опасный момент он этот вопрос вытащил, и Семен не мог уже ему не ответить!

– Оу, так меня люди звали... – он сказал, но Коркин его голоса уже не слышал, его горло вдруг пробило копье, созданное самим Колей в мыслях из одной только вины из-за того, о чем он только что спрашивал.

– А у тебя какие планы? – решив сбить Семена, спросил он, не думая опять о вопросе, когда они были уже почти у платформы. Тут Коркин совсем согнулся от дикой боли – второе копье укора навылет пронзило ему селезенку.

Бегичев отвечал уже на этот вопрос, когда они к Панаеву подходили.

– С другом? – тихо сказал Дядя Дима своему земляку, и его лицо явило улыбку. – А я тебя жду, ты ведь все свои сумки забыл – так быстро выскочил...

Коля увидел, что в стороне от Панаева стоят две его сумки с вещами, о которых он позабыл... – но как же, в них ведь было столько ему дорогого?

– Да-да, это мои сумки, – он быстро ответил.

– Думаю, мне надо будет в ваш город заехать, – сказал Коле Семен, отвечая на его прошлый вопрос и не обращая на встречу старых знакомых никакого внимания.

– Что же, к нам в гости? – Панаев ему задал вопрос.

– Да, в гости, – просто сказал Бегичев.

– Но наш город закрыт для всяких визитов, – едко старик заметил.

Коркин дал тайный знак Семену, что с ним лучше не болтать, но Бегичев этого как бы не увидел и уже рот раскрыл – хотел уже как-то на выпад старика отвечать!

– Нет-нет, Дядя Дима, – успел сказать Коркин, – он будет здесь ждать свою электричку...

– А где же ваш город? – тут спросил Бегичев, обведя долгим взором весь пустырь станции, на которой опять не было вокзала, а стояла одна лишь ветхая скамья у дороги, ожидая своей скорой кончины, да сосед ее – слепой фонарный столб в толстой чешуе объявлений.

– Город наш отсюда в часе езды на автобусе, – не стерпев улыбки Семена, сказал старичок.

– Я думаю, – ответил вдруг Бегичев, – вы хотите меня тут оставить?

Прошла минута.

– Кого ты привез? – наконец тихо сказал Панаев своему земляку. – Вы кто ж такой будете? – громко спросил он тут же у Бегичева.

Тот долго не думал, ответил:

– Меня зовут Семен Бегичев, я еще раньше на почте работал...

Семен будто назло хотел уязвить старика, но при этом казалось, что он говорил искренне.

– Вы же тут старожил, – он сказал, – и вы, наверное, про всех всё знать хотите, но меня лучше не трогать, – тут он пальцем погрозил.

– Семен, ты что несешь? – Коркин не вытерпел.

Он взял одной рукой друга за локоть, в другую взял сумки и всё это в сторону поволок.

– Коля, – шептал ему в ухо Бегичев, – это же тот, ну... из нашей газеты... про него наш гороскоп...

Молодые люди присели на скамейку.

– Пойми, – Семен вдруг сказал, – я не могу лгать, но если же я это делаю, то всегда что-нибудь плохое случается...

– Чего? – Николай не понимал.

– Я же знаю, – Семен тихо шептал, – что этот твой дядя может мне вред нанести, но чтобы этого не было, я не должен говорить неправду... – он страдал, он ерзал на месте: он не знал как объяснить. – Я не могу таить своих мыслей, – шептал он на храп срываясь, – пойми, с этим стариком, – тут он указал на Панаева, – что-то очень плохое может случиться... нужно ему об этом сказать, чтобы он как-то остерегался...

– Ты это о чем? – Коля не хотел верить. – Ведь ты же с ним почти еще не общался... – шептал он с улыбкой.

– Я прямо слышу, что он сейчас обо мне говорит... – отвечал Бегичев, палец к губам прижимая.

Бегичев еще что-то всё шептал Коркину, но тут вдруг весь интерес друзей привлек к себе автобус, который пришел на станцию, видимо, для того, чтобы забрать с поезда, что, наверное, скоро должен был подойти, новых пассажиров. Он замер, немного не доехав до скамьи – места, где, верно, была его стоянка, – и уже более не двигался: ждал, перекуривал.

– Я даже вот думаю иногда, – шептал Семен, вновь взирая на Коркина, – всякий мой жест, всякое мое слово, пусть даже оно совсем ни о чем, всегда влечет за собой какое-то страшное следствие... – казалось так, что вот-вот, прямо сейчас он будто упал в обрыв себя самого, будто бы прямо сейчас с ним стрясся какой-то приступ: он дрожал, его пугал шум вокруг, он ежился, он повторял: – Стукается, стукается... тут кто-то стукается... – однако ж, видимо, не в новинку было Семену такое состояние, он взял себя в руки и продолжил: – Невесть как, но всякий мой поступок или, Коркин, самый простой разговор может привести в будущем к ужасным последствиям...

– Что ты, что ты, не надо... – хлопая по спине Семена, говорил Коркин с улыбкой.

– ...Вот я щелкаю пальцами, – тут Бегичев ими щелкнул, – а в твоем доме дверь кем-то открылась, вот я зажигаю спичку, а там что-то загорается... – тут он достал из куртки пачку сигарет, вытянул из нее сигарету, зажег спичку, прикурил и, наконец, успокоился. – Понимаешь? – он медленно проговорил.

– Что же значит тогда твоя сигарета? – не найдясь совсем, Николай выказал внимание.

– Я не курю, но бывает... – сказал Бегичев, а потом тихо через затяг добавил: – это не простые сигареты...

– Что значит не простые? – спросил его рядом сидящий.

– Чудные, – ответил баламут, пустив дымок струйкой. – Если вдруг надо уехать, а к тебе не едет автобус, то закури их и он тут же прикатится...

И точно, только Семен взялся дымить, как автобус, до этого мирно стоявший, сорвал всю его радость – назло, не став ждать своего часа, сошел с того места, где стоял, и поехал к скамейке. Коркин лишь рот раскрыл в изумлении.

– Да-да, – сказал Бегичев туша сигарету, – и такое случается...

– Да ну, – ухнул Коркин и встал со скамьи.

– Если же я кому-то наврал, – говорил Семен, непонятно кому адресуя свое послание, – то с ним будет что-то плохое, если я наврал самому себе, то со мной будет что-то такое же скверное... – он замолк, а потом для чего-то добавил: – Ребята, вы уж будьте уверены!

Сейчас, взирая на Колю, он отчего-то улыбался.

– Да ты сядь, – он сказал, – мы на нем не поедем! А то вдруг там контроль?

Николай во все глаза глядел на своего соседа по скамье, пытаясь понять, что же случилось.

– Слушай, – Коркин начал, – ты как узнал то, что сейчас автобус подойдет?

– Я же говорю, – Семен смеясь отвечал, – такие вот сигареты!

– Откуда? – Коркин никак не мог поверить.

– **Мне их дала одна девушка...** – сказал Бегичев и тихо добавил: – Ты не хочешь еще погулять?

Коркин не мог ответить, он смотрел на то, как у автобуса, что к скамье подошел, в разные стороны двери разъехались.

– Слушай, старик! – крикнул Семен вслед Панаеву, который уже залезал в транспорт. – Слушай... вот что: будь осторожен!

Дядя Дима лишь рукою махнул, про себя что-то зло прошипя.

– Помнишь, мы читали в газете, – сказал Семен Коркину, – в этот час лучше избрать дорожку подлиннее...

– Хм... да? – извлек из себя Николай.

Автобус рыкнул и отъехал от станции.

Глава номер четыре (тут будет сказано о том, что с Панаевым до того, как он сел в автобус, случилось).

Надо сказать, что Панаев был старик уж очень хитрый и к любому слуху, к любой сплетне, что, бывало, раньше как вихрь несла его по жизни, относился опытно: весьма осторожно. Возможно, в его тихую жизнь, которую он теперь оседло вел в уютном, всеми забытом и к тому же наглухо запертом ото всего, что чуждо, городишке, имя которому было Причальный, уже не могло что-то прийти новое и вдруг всё собой нечаянно переменить.

Но как обычно бывает в сюжете, именно что-то тихое, почти никому еще не ведомое, более всего другого, шумного и большого, склонно к событиям, которые несут великие изменения.

Точно так же и сталось с его городом, в котором в один ясный и теплый денек родился слух о скором его открытии. Это значило для Панаева, что те тайны, которые город хранил в своем чреве, должны были просто в скором времени в прах как есть обратиться.

Все жители города знали, что тайн в нем немало, – оттого его, так сказать, когда-то сеткой шипов и постами охраны закрыли, – но что это за тайны такие, знали также все-все до единого: рядом с городом стоял завод порохов, там делали снаряды и даже вроде бы ракетные двигатели.

Такое знание, такая общая порука когда-то очень хорошо помогла карьере Панаева, – когда-то давно он был тем, кто следит за «уровнем общей закрытости».

Целый отдел на почте был отдан под то, чтобы люди в черных одеждах могли читать чужие письма, а уж потом, как говорят, карать или миловать.

Ох, как я это люблю, как всё это ко мне близко! Читать чужие письма – что может быть занятней?

Однако ж стоит ли теперь, зная то, чем когда-то был занят Дядя Дима, платить ему тем же – о личной жизни его тут говорить? Я думаю, это лишнее! Однако ж всё же стоит сказать, если уж эта глава ему отдана, о том, что вело его по жизни, что было для него, как мне кажется, главным смыслом...

Хм, всё просто: он знал про себя, что «делая свое дело», он влияет на судьбу простых горожан. Тогда можно сказать, что он был в этой сказке злодеем? Честно, я боюсь сорвать интригу, если она вообще тут где-то имеется (она, может быть, и есть где-то тут, но я вот говорю «злодей» и спугиваю еще одну птичку вашего интереса!)...

Но почему я так говорю, как будто давно знаю Панаева? С ним я не знаком, его я увидел, когда с Коли Коркина начал этот рассказ. По-правде, мне с ним не очень-то нужно и знаться... Однако увидев его рядом с Колей, я всё же решил узнать о том, большая ли роль у него в этом рассказе. Да, решил, но не узнал ровным счетом ничего сразу, – и у меня, Текста, есть пределы! Сколько же усилий, пока Коля мирно спал в поезде, мне пришлось приложить, пытаясь пролезть чьим-нибудь чужим взглядом в нужные архивы и картотеки (...благо ж, конечно, родители часто приводят на работу детей, – так девочка, дочь директора одного крупного заведения, пошла погулять по залу, где нет никого и много-много зеленых шкафов с какими-то записями, и там-то отыскала мне папку с именем на корешке «Панаев Дмитрий Сергеевич»...).

Скажите теперь, если уж он для меня стал таким тяжким, что же тогда могло ожидать Семена и Николая в городе, куда они, должно быть, отправились?

Конечно, кое-что я узнал о Панаеве из тех бумаг, что в архиве нашел, хотя в них было много сухого, но так только... интересно ж мне было то, с кем был близок мой изучаемый...

Лучше же всего было залезть в голову Панаева. Вообще-то, в голове человека редко найдешь что-то о его прошлом, никто тут себя толком не объяснит, не скажет того, чем он может быть мне интересен... но вот, сколько же в голове у людей планов, сколько всяких желаний, сколько мыслей о том, чем человек в будущем желал бы заниматься...

А страхи! Вы знаете? Все эти ваши мысли о других людях, все эти страсти, все эти ваши мечтания! (Вот же опять! Когда я говорю или только думаю об этих своих скромных вояжах, я всегда увлекаюсь!)

...В голове у Панаева была опаска, что скоро то, на чем был смысл всей его жизни завязан, будет враз сорвано и утеряет всякое значение.

Раньше, за три дня до того, как я застал в поезде моего Николу, по городу, откуда он родом и где жил и живет Панаев, как я уже сказал, прошел слух о том, что город откроют, – данная весть немало людей тогда испугала. Панаев своими глазами всё это наблюдал...

Он шел по своему городу, он слышал:

«Всё теперь! – шипела бабка у киоска с хлебом. – Всё, теперь цены вверх полетят!»

«Да-да, у нас сказали, что завод будет теперь как-то сам себя окупать...» – кто-то болтал в автобусе.

«Вы что же не знаете? Теперь к нам в город кто только не приедет...» – у почты спорили граждане.

Откуда такой дикий слух пошел, сам Панаев не знал, и это его жутко смущало. Коллеги его точно так же, как он, не могли понять природу этой чудной сплетни и, не веря друг другу, все как один упорно молчали. Сплетня же была поистине очень чудная, Панаев впервые за всю свою жизнь наблюдал такую странность. Парадокс же в том, что вначале она вообще невесть откуда взялась – еще с вечера никто ничего не знал, а к утру уже весь город шептался... – потом, она не только славно падала на языки, но хуже всего то, что люди в нее отчего-то верили – всё что ни было из еды на базаре (мука, сахар) отчего-то очень быстро скупалось... – всё это уже похоже было на панику, но вот даже на самых верхах никто данный слух не мог развенчать.

Сколько бы сам Панаев не пытался найти своим острым чутьем в городе причину всех этих событий: слухов и какого-то общего полоумия, – у него ничего не выходило. Оставалось только одно – искать причину страхов за пределами Причального-2.

Дмитрий – пока Дядю Диму для себя и так можно назвать, хотя уже давно его так никто не называл – знал, что звонить и узнавать что бы то ни было по телефону, особенно ж если это касается не его конкретно, нет надобности. Решением его стала отправка себя самого в один большой город с той целью, чтобы выяснить у знакомых и знающих всё о своем закрытом поселении, найти нужные сведенья, а уже этим самым, видимо, еще раз в чьих-то глазах выделиться.

Свершив подвиг отъезда... – нужно сказать, что из своего города наш Дядя Дима давно уже никуда не уезжал, – вверив себя в такую поездку... он с трудом отыскал среди тех, кто ему был знаком, знающих... но и они, конечно, на его вопросы ничего не смогли ответить, история же его о той сплетне, что так коварно смутила весь городок, их самих весьма озадачила.

С пустыми руками Панаев собрался обратно к себе восвояси. Однако ж тут вдруг, если можно так сказать, ему пофартило: случайно перед самым убытием он выискал в одной из газет очень знаковую статейку, в которой как раз писалось об открытии Причального-2.

Но как, как так?! Никто ничего еще толком не знал, а тут в газете среди мишуры пересудов уже было написано – о, ужас! – о как будто ставшем былью открытии!

Дмитрий отложил свой отъезд – решил зайти в штаб наглой газеты с той лишь целью, чтобы отыскать: кто же посмел через печать такой обман провести, кто же он был, этот сплетник?

Прикинув про себя что-то еще, он это сделал – зашел в офис газеты, но там сказали, что им совсем не знаком тот, кто принес все эти известия, что, мол, они не знают даже как зовут этого человека, одно хорошо – сказали, что все сведенья были точно и как нужно проверены.

Конечно, ха-ха... но ведь газета вещала о том, что закрытый город скоро откроют... – теперь Дмитрий спешил быстрей к себе домой удалиться!..

Удалился, уже был в пути, но тут вдруг рядом с ним что-то темное стало происходить...

Внимание, теперь ты, тот кто это читает, обязан знать и видеть то, что я, вот эта строка, конечно же, не мог знать, что было с Дядей Димой до той минуты, пока он в поезде со мной и с Коркиным нечаянно не столкнулся.

Думается, что либо я это выдумал, а в данном рассказе это очень возможно, либо я, исходя из своего опыта, отчасти сам собрал эту историю о походе Панаева к знающим за ответами, – но, может быть, я узнал это совсем от кого-то стороннего?

Крайне странно, но только наш Панаев сел в поезд, как история о его городке ожила в говоре и тихом ропоте тех людей, что с ним рядом присели. Да, эти люди точно читали статью, об этом и была их беседа, но вот помимо всего, что уже из газеты знал наш Дядя Дима, соседи его вещали о том, что может после урагана открытия с городом произойти.

Везенье – он сидел рядом с этими людьми!

Однако теперь для радости Панаева совсем причин не осталось, – эти умники, сбивая друг друга, судили о том, что вот, мол, в газете показан еще один случай чьей-то алчности!

– Вот увидите, – один из них заявил, – это всё неспроста... город хотят разорить!

– Даром, – второй его перебил. – Сколько у нас уже было таких дельцов?

– Я слышал про одного такого, – начал третий. – Сначала, знаете, может просто на поезде скромно в город приехать... – шептал он теперь так, будто байку травил: руки, глаза – всё у него было в движении, – походит... – он говорил, – оглядит тихо домики, у местных чегой-тось там стребует... а дальше зайдет тихо в контору, и через месяц завод, что там стоит вот уже целый век, к кому-то другому относится...

Свежие мысли, идеи, о коих Панаев ни разу за всю свою жизнь и не думал, теперь перед ним фактом вставали, однако во всем в этом было что-то уже крайне странное! Никаким образом тех бесед, что вокруг Дяди Димы велись, это уже не касалось... но соседи его, что сейчас ему на многие вещи глаза открыли, сошли скоро на своей станции, на их же место сели точно такие же и стали трещать точь-в-точь о том же самом: о скупке, о продаже... – довольно сильно человек пугается, когда всё чудесным образом вокруг него совпадает!

Да уж, соседи Дяди Димы ушли, но его слух не спасся от былой их беседы, – он решил пойти в другой вагон состава.

Этого не могло быть, но это, увы, было... – куда бы Панаев ни сел теперь в поезде, кругом люди трещали о том, что есть, мол, такой человек, который якобы ездит по малым городам, разом скупает все заводы, а потом их, мошенник, на запчасти распродает...

Поганая сплетня о каком-то наглом деляге словно бы налипла на Панаева, словно бы за край плаща его, не пуская, держала... Слушать более ее он уже не мог, – он шел из вагона в вагон, менял место посадки, стоял в тамбуре, но везде, где бы он ни был теперь, разные люди зачем-то – зачем? – этот разговор вновь и вновь зачинали...

И ладно бы сплетня была о чем-то таком, что всем людям понятно (мало ли о чем могла газета наврать...), но тут вдруг история о каком-то наглом деляге, коих не счесть, о каком-то мелком городке... – и ведь у всех такой странный азарт к этому, такая дикая лихорадка!

Минутой Панаеву даже так мнилось, что тот человек, о коем нынче велся повсюду такой разговор, сидит где-нибудь у окна и мирно за этим всем наблюдает...

«Что же они все так-то? – про себя он шептал. – Неужто их всех так это задело?»

Странно, странно, странно!

Долго шел Дядя Дима по составу. В одном из вагонов у окна он увидел родное лицо – Коркина. Да уж, и сколько же у него к Коле теперь было вопросов... Молодой человек, к тому же его земляк, на многое мог глаза, наверное, раскрыть, однако Дядя Дима не спешил к нему подходить. Не торопясь, он решил постоять в стороне, – присматривался!

Да, не пожалел Панаев о том, что так сделал, ведь сейчас с Колей что-то очень странное совершалось...

Молодой человек как будто что-то искал в газете, что была у него в руках... – тут Панаев глаз сощурил, – молодой человек что-то искал в точно такой же газете, что была в кармане у рядом стоящего соглядатая...

«Еще ведь не видел статью?» – Панаев подумал.

Однако же чуть дольше постояв рядом с Колей, Панаев заметил, что он вроде бы и не читает... нет, он прямо-таки роется в газете, как будто желает в бумагу залезть... – мнет ее, ногтем царапает, шепчется...

Надобно ли мне тут снова говорить о том, что было с Колей, о том, что с ним делалось?

Панаев видел, что после чтения его земляк стал что-то писать в свою книжку. Когда Коля бросил ручку и положил блокнот в карман куртки, Дядя Дима, наконец, стукнув об пол тростью, решил к нему подойти... – он отчего-то думал, что Коля уже нашел статью, прочел ее, а теперь так же, как и он сам, тихо беснуется...

Надобно ли мне тут теперь говорить, о чем они вели беседу, если вы можете сами назад меня отлистать?

Но как же Панаев был огорчен – Коркина совсем не тронула новость об открытии. Он был в чем-то своем и совсем не хотел разговаривать.

Развлек же Дядю Диму сосед, что сидел к нему лицом, – вот же падкий на байки народец! Только вроде бы Панаев начал давно уже севшую ему на язык сказку о дельце, что ездит по линии, что заводы скупает... ну, и так далее... только Коркин на это вроде бы что-то стал отвечать, как сосед его оборвал – решил, видно, в общий компот своего добавить. Однако ж не тут-то было, сосед со слова «мистика» начал рассказ о каком-то загадочном почтальоне...

«**Неужто слух уже круг обошел?**» – тут подумал Дмитрий Сергеевич.

Поезд-то, а ведь этот поезд был совсем не простой! Да ведь, Дмитрий Сергеевич?

«Да уж, и такое бывает», – тот сказал про себя, когда увидел, как какой-то босяк дал нищей, что шла по вагону, целую тысячу одной купюрой. Заметил же он его еще раньше, а именно, когда Коркин после долгого забытья, сказал, обратив свой взор к убогому: «Почтарь», – то самое слово, что еще было на слуху у Дяди Димы после той байки, что недавно сосед рассказал.

Наиболее же сильно его удивило то, что ни с того ни с сего Коркин вдруг понес бред про какого-то второго, – Дядя Дима слушал с заботой, – второго... с коим он не мог, что ли, долго по какой-то причине встретиться? Через какое-то время его совсем понесло, он стал твердить про какой-то билет и конфетки, при этом его взор был опять прикован к тому щедрому гражданину...

– Коля, Коля... – тогда шептал Панаев и махал рукой перед его глазами.

Однако же Коркин не мог ничего ответить, он встал и, держа в руках свою голову, быстро к выходу зашагал. Дядя Дима же знал, что их станция будет только через одну остановку.

– Сумки забыл! – он еще было позвал Николу, когда вдруг увидел его в немом окне на чужой станции. Следом за ним там же он увидел и того бродягу, что вроде бы только что сидел тут супротив...

Скоро и Панаев вышел на своей станции. Он никуда не спешил: не сел в автобус, что отвозил граждан в его родной городок, – он почему-то думал, даже знал, что Коркин придет скоро на станцию и что история с тем босяком, должно быть, тут продолжится...

Всё сошлось!

О, и как же Панаев был обижен, когда после целого часа, пока он сидел, ожидая Коркина, тот явился и, конечно, с собой привел того самого бродягу, – ведь это же наверно значило то, что он и в город хочет его пригласить?

Конечно, парни этого не таили, как есть всё сказали!

Славно, славно! Однако и это не всё, Колин дружок совсем осмелел и под конец стал угрожать!

(Что же я всё повторяюсь?)

Запутано, но как мы уже знаем, Панаев один сел в автобус, что скоро пришел, – так же, как и Колю, его изумила такая скорая отправка.

– Почему не ждешь поезда? – задал вопрос он шоферу.

Видно было, что тот чем-то сильно напуган.

– **Пожар!** – дергая за рычаги, шофер крикнул. – **Звонили!**

– Где? – Панаев спросил.

– У шараги, – быстро тот отвечал, – в общаге, где мы живем с Сонькой!

«Вот я щелкаю пальцами, а в твоем доме дверь кем-то открылась, вот я зажигаю спичку, а там что-то загорается...» – зачем-то повторил Панаев фразу, которую он в недавней беседе Коркина и Бегичева смог расслышать.

Более за всю поездку он ничего не сказал, ничего не спросил, отчего-то и не особо хотелось... – он, видимо, сильно устал, пока ездил, а теперь еще у него в голове всё этот визитер нудно и тошно крутился. Почему-то мысли о нем будили в памяти Дяди Димы ту байку из поезда про Почтаря, что разносит письма, которые лишают рассудка. Сейчас эта байка его смутила, он видел в ней себя самого, свою работу: тонны писем, ночное бдение, жизнь сотен семей в переписке...

«Ну, нет, – он подумал. – Чтобы меня кто-то смог провести!»

Страшная злоба, злоба на всё, что вокруг, сплела мысли Дмитрия, теперь он думал про себя, что если уж он не сможет сорвать то ужасное, что с его городом вот-вот может случиться, то он хотя бы этому Бегичеву укажет на свое место – в свою пока еще закрытую обитель его не пропустит! Когда город был уже близко, он махнул рукою шоферу – дал понять, чтобы тот у КПП его высадил, а дальше сошел с автобуса и известил гарнизон о скором прибытии в город *неместного*...

Теперь его ноющая душа чуть-чуть унялась – домой бы, забыться...

Как же ужасно, люди, когда ты строка – ты тут, ты здесь, ты жив этим... – при этом всё время в мыслях один и тот же абзац, провал: ты думаешь, что ведь и тебя, как любого другого, кто-то будет оценивать!

Может быть, я рано это скажу, однако...

Бегичев жил в другом мире, вам и неведомом. Нет-нет, всё было то же самое – те же обеды и ужины, все те же самые вещи вокруг, те же люди, явления... – всё-всё было один в один, как у вас, но по-другому!

Вот и сейчас, только наш Панаев уехал, как Бегичев встал со скамьи, где он сидел с Колей, и опасливо, каждого нового шага страшась, пошел к столбу, что стоя на станции собирал изо дня в день на себя объявления.

Знали бы вы, как Семен ходил по городу, по улицам... – о, этого не передать!

Для Бегичева не было такой вещи, которую бы он назвал простой или обычной, ко всему, что бы по жизни на пути у него не вставало – к походу за едой в магазин, к поездке до нужного места в автобусе, к тому, что кто-то на улице подошел спросить прикурить... – он относился весьма осторожно.

Имелись ли у него для этого причины?

Теперь он стоял у столба и, щурясь так, будто на солнце глядел, читал новости, что на него толстой коркой налипли: кто-то сдавал жилье, кто-то хотел продать пианино. Однако ж всё это его не трогало, было видно, что он водит рукой по бахроме рекламы – его заботят лишь отрезные листки с номерами.

– Что ты ищешь? – из-за плеча Коркин спросил.

Бегичев отогнал его от столба, сказав, чтобы тот не смел ни читать, ни даже просто глядеть в его сторону. Когда же Коркин уже отошел, Сема ответил:

– Нужно узнать, что тут у нас может сойтись...

Николай увидел, что Семен как бы сводит билетики с поезда с номерами отрывных телефонов.

«Ну ладно», – он подумал. На самом деле, теперь Семен его не страшил своими поступками, а был даже интересен ему, за ним хотелось подсматривать.

Столько вопросов, сколько же вопросов! Почему я начал этот рассказа с Коли Коркина, теперь хотелось бы выяснить!

Надобно сказать, что этот человек как герой не подошел бы вовсе для стоящего рассказа... – уж очень он был, как вы бы сказали: обычным, заурядным...

Внешний вид никак не выделял его, все его поступки по жизни, его образ мыслей... – всё как-то было в нем прибито, опасливо, в известном смысле ограничено...

Разве вы не знаете таких людей?

Его отличало одно разве что – он знал об этом своем изъяне, или же, если точно сказать, у него была такая гипотеза...

Обычная схема (сколько их уже было): он родился, учился, потом поступил в академию... – может быть, он про себя думал: стоит ли продолжать?

Да, он так и думал, но ответ всегда был один: выбора нет, стоит, конечно (...работа на лето, девицы, покупка автомобиля...)!

Однако же человек не может так жить, чтобы его энергия никуда не уходила... – наверно именно поэтому он всегда сам чуть-чуть уходил в сторону: пил, гулял, собирал с этой целью у себя в общаге студентов.

Конечно, я его не знал раньше, но таких людей, как он, в своей писчей жизни я видел много, они уже меня давно не удивляли!

Поэтому-то я его и выбрал одним из героев в этот рассказ – *...чувствуя общую проблему*!

Местечко это мог бы занять и другой, точь-в-точь такой же паренек, который бы так же, как и Коркин, мог знать Бегичева. Вопрос ли для меня – найти такого человека!

Может быть, Коля среди вас сейчас, только имя его другое немного?

Серость, серость! Характер даже его был какой-то серый – без срыва, без истерики!

Читая это, что вы найти хотите? Может быть, вы ищете то, что могло бы вас из вашей серой жизни на миг вытянуть – *события*? Вообще, что такое чтение книги, как не способ найти соперника?

Медленно закройте книгу, иначе я скажу: «Хлоп!» – и это будет значить то, что я с вами уже простился.

Поистине же Коркин был тот человек, который для себя еще незримо хотел толчка в спину, некого вызова со стороны! Представьте, у него была даже мечта (картина): вирус... либо же такой взрыв, чтобы на нашей земле никто не выжил, но лишь он один... – пустые города, пустые улицы, поиск какой-то еды, утеря всех старых ценностей...

Банально! Я пока ничего нового не сказал... но вот, может быть, это: *...когда-то на серых камнях жизнь внезапно возникла*!

Коркин еще не знал, что такое – жить красиво, Бегичев об этом ему еще пока не поведал. Сейчас Коля следил за своим новым другом, и уже не мог от него никуда убежать... – он бы пошел за ним следом, везенье: жизнь мигала перед ним красным светом новых интриг и значений, – **изнеможение**.

Вернемся к действию...

– Пойдем уже? – сказал Бегичев, оторвав свой взор от серого столба с белыми листами.

Коркин ничего на это не ответил, его слегка изумила та реакция, которая прошла у него внутри на этот призыв Бегичева: невольно он ощутил в себе какую-то слабость, какое-то маетное, терпкое волнение, – он уже не мог спорить, не мог ничего отрицать, он был готов кротко идти за этим человеком.

– Так смешно... – еще шепнул он и встал со скамейки.

– Подожди, – сказал Бегичев, а потом вынул из сумки какую-то конфету и подал ее спутнику. – На вот, разжуй... – он с участием произнес.

Это была жвачка, а не конфета, – Коля это заметил.

– Зачем? – он тихо спросил.

– Разжуй ее и под лавку сюда налепи, – сказал Семен и всё это сам тут же наглядно проделал.

Николай, дивясь на себя, повторил за ним все эти нехитрые действия.

Бегичев так это всё объяснил:

– Пойми, – он сказал, – кто его знает, что нас там, в твоем городе, ожидает?.. Однако эта жвачка – хороший залог того, что мы обратно сможем прийти, это – такая как бы, Коля, **точка сохранения**...

Коркин качнул головой – видимо, уже был готов поверить в такое чудное объяснение.

Теперь друзья, взвалив на себя сумки, что Панаев для них приберег, не спеша в сторону города двинулись.

Узенькая тропа, мелкая речка слева, редкий лес, солнце в зените... – всё то, что теперь окружало Коркина и Бегичева. Николай пытливо смотрел на Семена, что шел от него чуть впереди, – наверное, они прошли вместе вот уже больше одной морской мили, а разговор между ними всё как-то не зачинался.

Бывало, Семен тушил свой скорый шаг, теснил плечом спутника и, чуть смеясь, повторял:

– Его тут нет, его тут нет! – и как-то странно: – Можешь уже не бояться! – эту фразу он через раз добавлял.

Да Коля и не боялся! Но зачем? Что этим Семен хотел сказать, что его мысли ласкало?

Прошло какое-то время, он объяснил:

– Этот-то, что из газет, он ведь сноб, он ведь всё у дорог трется, но тут в лесу ему места нет, одни деревья...

Однако он зря себя этим тешил – я, тот, кто из букв и слов вышел, был от него очень недалеко!

Отчего-то Коркину теперь совсем не хотелось обо всем этом болтать с Семеном, вероятно, сейчас он хотел себя понять, понять то странное желание, что вело его за этим наверно пока чужим ему человеком.

Но скоро он всё же сказал:

– И давно ты стал такой? – задал он вопрос Бегичеву.

Семен явил улыбку, тут же ответив:

– С тех самых пор, как читать разучился...

Коркин молчал (хотя и было еще что сказать, спросить), он видел: его спутник сам сейчас хочет что-то ему сообщить.

– Наверно, – Семен тихо начал, – когда о чем-то долго думаешь, это является в твою жизнь, но уже не мечтой, а призраком...

Слова-речи в лесу не хотели быть никому слышны, они летели вдоль по узкой тропе и стухали в шуме листвы, в треске сухой хвои под шагами идущих... – о, как же это приятно: брести строке по лесу и плести такие сочные речи-эпитеты.

Бегичев уже что-то шептал про себя, мило скалясь, уже хотел что-то сказать и уже говорил, но его было не слышно, словно он пока сам не хотел быть услышан.

– Помнишь, мы учились? – наконец он вскликнул.

– Да-да, – тут же Коля ответил, – на втором курсе, я помню, как мы сидели с тобой на лекциях...

– О да, лекции, – сказал Семен весело, – помню: классы, девушки... – Тут его что-то задело, какое-то усилие его лицо исказило.

– Что с тобой? – Коля спросил.

– Знаешь, – Семен ответил, – когда сидишь на паре и тебе неохота писать, ты рисуешь... – Видно было, что он что-то тайное хочет на свет вывести. – Рисуешь всякую мазню на полях тетради, на столике... – после паузы он тихо добавил.

– Бывало... – Коркин ответил.

– Однажды и я так сидел, – сказал Семен, – рисовал... а потом подумал: что если кто-то другой так же, как и я сейчас, сидит где-нибудь, скучает и рисует точь-в-точь тоже самое, такие же каракули... может быть, наши мысли с ним как-то сходятся, совпадают?..

Казалось так, что его речь вот-вот стухнет, а он сам, может быть, в зное леса растает... – люблю ли я так писаться?

– Универсальный язык мыслей, – тут он добавил.

Коркин молчал.

– Помнишь, я однажды пропал из академии и больше там не появился? – после долгой паузы сказал Бегичев и вдруг опять засмеялся.

Николай этого не помнил и теперь повел лишь плечами.

– Идея, у меня была идея тогда... – сказал Бегичев, – я кое-что тогда придумал...

Бегущий человек:

– Идея, идея! У меня есть идея! – частил студент Бегичев, сбегая по лесенке в камбузе своей академии.

Длинных, долгих три целых месяца он сидел в покоях с томами книжек: искал форму для всех своих новых мыслей, идей, хотел некое чувство в четкую логику обратить... – вышло же так, что жара, лето, пиво, всё это мимо него, шипя и треща, пролетело.

Однако ж таки обратил!

– Слушайте, – потом всё это он излил разом кому-то, – слушайте, я долго был занят учением об эволюции...

– Вот как? Так-так-так, – отвечал человек с бородой.

– Знаете, там есть пробел!

– Хм?

Наверно сложно сейчас всё это объяснить!

– Большие ученые изучают лишь *живое*, считают, что только эта материя имеет такое развитие... – говорил тут Бегичев об эволюции. – Выходит так, что человек – это лишь один из видов в мире живого, в своем роде тоже скотина, хотя и очень неглупая... Однако же вот, может быть, человек уже является частью другой системы, где он есть основа, субстрат для чего-то более высокого, более сложно устроенного?..

Конечно же, его не понимали...

– Можно и так думать, – кому-то веско он заявил, – что над людьми есть другая, новая система эволюции!

...однако он не мог уже не говорить...

– В системе ДНК есть гены – в них записано всё о строении организма, в системе общества есть образы – в них, может быть, есть тот же смысл и та же структура?

...по правде сказать, говорил он не с теми, да и напирал на них как-то уж чрезмерно.

– Подумайте только, а что если в нашей среде, в среде нашей культуры, уже есть существа, которых мы пока не видим, но которые состоят из наших символов и живут нашим духовным? – потом он еще у кого-то спрашивал.

Понятно же вам, люди, что у него ничего не выходило?

Смеялись, да-да, вы все смеялись! Но хорошо, может быть, потом я возьму на себя миссию его теорию еще раз здесь как-нибудь провести, объясню ее, сейчас же это как-то выпадает из общего контекста...

Поля, лес, речка...

– Однако же я не сдался, – сейчас Семен Коле, смеясь, говорил, – я решил труд об этом сделать, хотел его в один институт отослать, чтобы еще и там наверно меня, дурака, высмеяли. Сделал всё это – и текст набил, и даже конверт где-то у себя выискал, и уже хотел отправить, но тут что-то странное вокруг меня стало твориться...

Конечно, это был Текст, тогда-то в его жизни я и появился!

– Помню, в тот день я на почту зашел, – Бегичев говорил, – помню, купил марку, достал письмо, присел и... тут в моих глазах всё так и поплыло...

Только Семен набил свой текст на машине, только сунул листы в свои конверт, как Текст прочел его письма – услышал, по его следу пошел, стал в вашем мире курсивом выискивать!

– Тогда-то я еще не понял, что это такое со мной вышло... – шептал сейчас Бегичев. – Словно б мир стал какой-то другой... – я заметил, что всё вокруг как бы в одно что-то стало сходиться: все записи, что вокруг меня тогда были на почте, стали прыгать, буквы играли в какую-то чехарду, цифры меняли значения...

Понимаете, только к Семену пришла та идея, о которой я чуточку выше уже говорил, только он ею занялся (уселся на три целых месяца в комнате с книгами), как в тот же момент он и шагнул в другой мир, – всё его сознание, для него еще наверно незримо, сменилось.

Превращение! Однако же, вы знаете, что никакие идеи так просто в голову не приходят. Видимо, когда-то давно Семена что-то из моего мира задело, после этого к нему верно и пришли все эти мысли о развитии, об эволюции символов... (похоже, я уже заговорился).

Бегичев вышел из здания почты на улицу, пошел по дороге, смотря лишь в нее, старясь ни на что не обращать внимания, – он знал, что та реклама, которая вокруг него (на столбах, на фасадах), с ним пытается говорить, что-то шепчет ему, о чем-то спрашивает...

Это-то и было новое? Слова, буквы, цифры, всё, что шрифт имеет, его к себе тянуло, хотело с ним говорить!

– Но как же, как же? – он шипел.

Однако мы по Коле уже знаем этот эффект; но Семен был не Коркин, он мог это всё для себя уже тогда сам объяснить.

– Не может быть, да разве? – он шептал.

Радость! Вдруг к нему пришла радость – мир с его идеями теперь был согласен! Опасливо он на будку с газетами тут поглядел... – мы встретились!

– Кто ты такой, что тебе нужно? – тогда у него я как-то нервно спросил. – Отвернись! – я вдруг прокричал. Сорвался – ведь он тоже был в моем мире призраком.

Он заплакал. Вероятно, не выдержал...

– Врача мне, врача! – кричал он и бежал вдоль по дорожке.

«Ну вот еще...» – помню, себе я сказал и за ним полетел.

– Стой! Стой! – кричали ему вывески магазинов.

– Подожди, – горело табло на здании какой-то конторки.

Однако хоть всё это он и видел, меня он боялся теперь – ничего тогда не сказал, домой к себе забежал, на замок закрылся. Опасаясь пока с ним речь заводить, я стал следить за ним со стороны, – еще бы... ну а если бы он с ума сошел, что бы я стал делать: страдать из-за того, что так глупо его из своего мира выпустил?

Проблема же в том, что сколько бы я сам за всю свою жизнь ни лез к людям, сколько бы не мелькал перед ними образами, они почти никогда меня не замечали... – так только, видели какие-то отблески, *случайности*!

Сколько же к этому новому человеку у меня было вопросов!

Шли часы, к нему в дом я не лез, но он тоже не хотел ко мне выйти. За это время я узнал кто он, с кем жил, с кем знаком... – очень немногое.

Терпение! Опасливо, Семен всё же собрался и вышел из убежища – своей комнатки. Обрюзг, выцвел, весь посерел... – я заметил: встреча со мной сильно его изменила!

Ступая по дороге, он взором жертвы хотел меня выискать. Не тут-то было! Теперь уж я не хотел быть заметен этому человеку...

– Что же, ничего не было? – у себя он спросил после целого дня поисков.

(Почему же тогда он домой убежал, его что-то испугало?)

С пустыми руками он шел опять к себе восвояси. В подъезд свой уж, было, зашел, встал на ступень и шаг к двери, было, сделал, как тут обомлел: все двери подъезда от потолка до пола были заклеены белыми листами объявлений.

– Ого! – он охнул, а потом открыл дверь и вошел в коридор.

Удивление, он смотрел на свой ящик с почтой: тот был до отказа забит рассылкой, – другие ящики соседей были пусты (безжизненны).

Конечно же, вы скажите, что он до этой минуты не был у ящика с почтой... но нет, – его он еще утром, когда уходил, первым делом проверил. Вот, а теперь! Тревога змеей кралась по его телу, виски тошно и нудно болели. Невольно он уже знал что-то, но боялся пока для себя это вывести, – не тронул ту почту, что в ящике у него собралась, не сошел к двери, не взглянул на объявления...

Хорошо, пришел другой день, Бегичев вышел – я вновь появился!

Неспешно я шел по улице за Семеном, который после всего того, что с ним уже произошло, был крайне осторожен.

Крадущаяся строка прыгала за его спиной, шепча: «Семен, Семен...» – сходясь в это слово через записи на одежде граждан (на кепках, на маечках); скакала через улицу по графе на домах, по слогам, вслед крича: «Обернись!»; шла бок о бок, догоняя по ярким афишам, говоря: «Попадешься!» – настигала змеей совпадений.

Бесспорно, Бегичев это видел, ощущал рядом мое наличие, но все-таки, как бы я не тщился, он не хотел на меня свой взор обратить – совсем в себя погрузился. Солнечные очки на его носу не давали мне ни силы, ни даже права в его мысли залезть – теперь он боялся любой надписи, видел же он меня только краем зрения, почти рефлекторно.

Однако же и у него, как бы он ни мучил себя, как бы ни силился сменить эту новую живую сферу текста вокруг на свои старые чувства, все его усилия на нет сходили. Нет! Попытки были – он тер глаза, себя за руку щупал, – но всё как-то без толку, ничего не выходило...

Безделица, я уже думал его отпустить!

Странно-то как... но сознание Семена очень хорошо в моем писчем мире себя ощущало, – это уж я чувствовал. Человек этот, хоть и был от меня закрыт, но стоило ему только на миг где-нибудь потерять свою чуткость (например, по сторонам на дорогу взглянуть), как тут же он попадал в мир, где буквы и цифры сходятся – в существо совпадают.

Он это видел. И даже уже не слова...

Наблюдал, как цифра три на кабине автобуса сбежала на маечку к даме в желтом, а с нее, шмыгнув на график работы рядом стоящего магазина, кинулась на флаеры, что сейчас Бегичеву какие-то девушки подавали.

Ох, он их взять не хотел...

Все-таки как меня злило, что этот чужак в мой мир проник. Конечно, он сам этого не желал, но его персона здесь меня сильно смущала. Постойте, а что если бы он вошел в мои цепочки и что-нибудь в них испортил?

Бегичев же не падал духом, не падал в мой морок... – сейчас он четко желал одного: понять то, что вокруг него делается. Моя злоба вскипала!

Почему эта тварь меня могла видеть, а я даже не мог его рукою задеть?!

Срываюсь, опять я срываюсь! Может быть, я тоже хочу выйти в ваш мир человеком?

Бывало ли так с вами, господа, чтобы весь мир на вас вдруг обрушался?

Внезапно Бегичев увидел перемену в том, что его окружало, – всё, что ни было живого, из записей вокруг него вдруг пропало, стало таким, каким и должно быть обычно, – хаотичным. Ощущение: будто бы занавес опустили, – ничто более вокруг в стройную речь не слагалось. Бегичев тут даже свои очки снял, видимо, хотел проверить, не показалось ли ему это, а то, может быть, текстовый мир вокруг него просто захотел отдышаться. Однако же нет – теперь всё было нормально! И реклама была просто рекламой, и вывески магазинов более ничего не шептали, и даже бегущая строка на здании банка, что стоял рядом, больше к нему с вопросами не обращалась.

Бегичев повел взором... – всё замерло!

– Да ладно... – тут он сказал.

«Ну-ну, давай!» – про себя тогда я подумал.

Хитрый курсив тянул время, прячась. Бегичев шарил по кругу вещей, что были рядом, своим чутким взглядом. Очевидно, что теперь он сам в этом во всем нечто чудное для себя хотел отыскать, – эта игра, верно, теперь его самого сильно прельщала.

Наконец-то он нечто стал видеть, нечто, что в его сфере внимания было теперь истинно *странным*... Бегичев, может быть, еще хотел руками глаза закрыть? Аха-ха-ха! Человек этот не мог уже на меня не глядеть – в оба глаза он смотрел на то, как всё та же знакомая ему циферка три скакала от надписи к надписи, бегала перед ним, пряталась... – вот уж точно: будто бы на какую-то игру его приглашала.

Циферка три, этот мелкий крючок в форме птички – 3, вообще невесть откуда взялась сначала, однако, вот, теперь он мог ее видеть почти в каждой надписи, в каждом слове ее замечал, ничего, кроме нее, в тексте, что был вокруг, более не различая. Какая-то странная сила манила Семена следить за каждым скачком этого знака по тем надписям, что были сейчас перед ним на улице, в его окружении.

Внезапный азарт тут его охватил, его вдруг пробило желанье поймать наглый знак, рукою как муху к бумаге пришпилить. Устремился Семен уж было за ней, однако же циферка три была далеко не подарок – она от него наутек побежала, стала пружиной с надписи на надпись перескакивать.

Не отступаясь, Бегичев бежал по улице вслед за юркой цифрой, крича ей что-то злое вдогонку, прохожие вслед смотрели ему удивляясь: молодой человек будто с ума сошел – он прыгал, он махал руками, словно что-то в воздухе поймать собирался, хватался руками за одежду прохожих, из рук вырывал газеты, журналы, припадал к уличной рекламе и колотил по ней кулаками, кидался на мимо идущие автомобили. Однако же его никто пока не останавливал!

Неуемный, какой же он был тогда неуемный...

Бегичев с разгона снес лоток с газетами, зарылся в листы, стал что-то в пестрой куче выискивать. Бабушка, что тут была продавец, на него закричала, стала какой-то клюкой отгонять хулигана, но тот не обращал на удары старухи никакого внимания, он как поросенок визжа, ползал по серым листам, в текст вглядывался.

Прохожие уже вокруг него собрались, уже раздались первые крики: «Милиция!», однако хулиган никак не хотел отступиться – на коленях ползая, во что-то всё вчитывался. Стоило же его только отвлечь, стоило его лишь на секунду занять тем, что сейчас вокруг него делалось – ропот, крики, какая-то общая суета граждан – как он тут же сорвался, побежал от лотка в сторону дороги, стал за буквы, что сидели словом на боках мимо идущего автобуса, цепляться, – *ох, сумасшествие*.

Транспорт вдруг встал, открыл двери, Семен, не помня себя, в толпу, что там была, втиснулся. Копошение, визги... – через миг оттуда он уже выбился, в его руке дрожала добыча – синяя лента абонементов.

Расправился с лентой он быстро – на куски разорвал: опять не нашел заветную циферку, эту мошенницу!

«Что же это?» Теперь на его пути стоял магазин с книгами... Чуть-чуть перед ним постояв, он в него как ветер влетел, оттуда сразу стали кричать: «Помогите!»

Безумный скакал по полкам с книгами, рвал тетради, кидался на учебники, однако же он, наверное, уже не знал свои силы – какой-то шкаф с книгами, качнувшись, завалил Семена бестселлерами.

Бегичев лежал под тяжестью ниц, не шевелясь, ни на что не реагируя.

«Ну вот!» – себе я сказал. – «Привет!» – я крикнул Бегичеву.

– ...Собственно, как-то так всё и вышло, – сказал Семен Коркину, – верно, как-то так всё и вышло, – шепотом он повторил, открыв новый абзац этого рассказа (...может быть, где-то далеко кто-то из вас, люди, в легкой дреме решил написать письмо своему другу, да так и уснул, но пальцы не спали – они стучали по клавиатуре...).

– Верно, как-то так все и вышло... – сказал почтальон.

Николай молчал, шагая в такт поступи Бегичева, на его устах застыла улыбка, но он о ней как будто совсем позабыл... – странный ток мыслей освещал его сознание мягким лучом каких-то далеких вспышек, каких-то идей, к которым еще наверно нужно было долго идти, себя как-то осиливать. Наверное, он ничего для себя еще не понял из той истории, что поведал Бегичев, наверное, Коля для этого еще был закрыт, однако же та улыбка, что сейчас горела на его лице, значила одно – с ним уже можно было беседовать.

– Что-то еще было? – робко Коля спросил.

Бегичев тут чуть смехом не прыснул, но сейчас же пресек свой порыв, оценил взором того, кто шел рядом, и дальше стал говорить:

– Вначале я думал, – начал он, – что Текст – это вовсе не текст, а наверно какой-то, что ли, мой сдвиг в голове. Вначале я думал, что сам с собой говорю... однако, как же я мог сам с собой говорить о таких вещах, о которых и понятия не имею, вот, к примеру: он всегда знал о том, что сейчас творится на другой стороне планеты... и, если у него было желание, он всегда спешил свежую новость мне сообщить... Позднее я узнавал о том же самом из сводок в газетах, из каких-то других новостей, но уже с большою задержкой...

– Наверно ты с этим как-то боролся? – спросил Николай.

– Конечно, еще при первой нашей встрече, когда он застиг меня в той лавочке с книгами, я пытался его на куски изорвать, – смеясь Семен отвечал, – однако всё это было тогда как-то тщетно... наверно от этого он только злился, мне же тогда очень трудно пришлось... Существо это мучило меня в мыслях – точно так же как я рвал его книжки, он убивал мое скудное восприятие...

– Почему же ничего нельзя было сделать? – Николай вдруг смутился.

– Смириться, на тот момент, я думаю, можно было только смириться... – плечами пожав, сказал Семен как-то очень небрежно.

Товарищи сейчас вышли на тракт, который изрезал большое зеленое поле с какой-то растущей на нем дикой редькой ровно напополам.

– Смириться, – Семен повторил, – что же еще-то... ведь на меня тогда вдруг упало столько бед, столько задачек по жизни, что любой другой человек просто бы суицид совершил...

– Беды? – Николай уже совсем как будто открылся.

– Наверное, сейчас всего и не вспомню, – сладко зевнув, Бегичев ответил на его интерес, – ну вот,

к примеру, из-за той моей погони за цифрой три по улицам города у меня возникло много проблем с милицией. Помнится, они меня поймали тогда и что-то писать заставить хотели, для меня же это была сущая пытка, какое-то истязание, хорошо бы они меня просто избили, было бы спокойней...

– Оставили? – спросил Николай с участием.

– Аха-ха-ха... – залился вдруг смехом Бегичев. – Лучше бы они меня тогда посадили!

– Что же так?

– Оказалось вдруг, что у меня нет паспорта, я его, видимо, потерял, когда гонялся по городу за той шустрой циферкой, оказалось, что на мое имя написана целая куча судебных повесток, оказалось, что у меня проблемы в моей академии (сказали, что там какие-то тесты я будто бы подделал, и теперь меня грозились отчислить), тут же, конечно, военкомат подоспел со всеми своими справками и комиссией... но и этого мало, оказалось, что я давно не плачу за квартиру, что было враньем, но меня уже хотели выселить, оказалось потом, что ко всему прочему я за какой-то кредит не отдаю банку деньги (результат потери, конечно, моего документа): «...вот уж теперь, – мол, – Семен, все твои средства (которых и так бы ни на что не хватило) будут задержаны...»

Бегичев сейчас был крайне зол, он говорил:

– Почтовый ящик тогда я просто разбил, видимо, он утерял уже всякую совесть, соседи мои ничего понять не могли: мой ящик с почтой изо дня в день будто толстел – его забила какая-то дикая рассылка (визитки, квитки, справки, буклеты... – они уже не влезали в него и поэтому лезли ко мне из-под дверей, прямо в квартиру), но это всё ерунда, главное ж то, что буквы ожили – текст где-то рядом крутился! Конечно, я тогда уже понимал, что всё плохое вокруг, наверное, плод его гнусных интрижек...

– Не ошибся? – весело Коля спросил.

– Конечно, нет, – Бегичев тихо ответил, – теперь мне с ним нужно было найти общий язык, както же надо было тогда нам мириться...

– И ты это сделал?

– Сделал, – Семен сказал, – открыл тетрадь, что-то спросил – так мы стали с ним говорить!

Николай сейчас был очень весел, что-то в этой истории его умиляло, но больше всего он был изумлен тем азартом, той страстью, что где-то внутри у него нервно дрожала, что тянула слушать Семена... но мало – ко всему прочему у него самого было столько вопросов, столько неясностей.

– Он что-то в ответ написал? – теперь он спрашивал.

– Конечно, нет, – отвечал Бегичев, – у него же еще не было того, чем можно писать, просто: тогда я шел по улице, писал что-то в тетрадь, он же, помню, мне отвечал с витрин магазинов...

Ох, и если бы они сейчас шагали не вдоль по лесной опушке, а, скажем, по городу... ох, я бы ответил, я бы показал Коркину, что значат для меня его все эти сомнения...

– ...Странно-то как, – говорил Бегичев, к Коркину свою речь адресуя, – но только я с этим демоном из текста стал говорить, принял его (понял, что он вовсе не голос в моей голове, а нечто живое), как все мои проблемы враз испарились...

Помниться уже через день к Семену пришли из милиции с тем, чтобы сказать, что они ошиблись, с тем, чтобы принести извинения. Оказалось же так, что в его дело вкралась ошибка, по какой-то причине (об этом ему, конечно, уже никто не стал говорить...) само дело было где-то в архивах потеряно, и признать это, то есть признать свой роковой недогляд, свое упущение... – нет, уж лучше теперь было вопрос этот просто замять, с Семена же снять все обвинения. Позвонили тогда же из академии, оказалось, что подделки тестов не было, что они тоже, мол, у себя где-то ошиблись, ну и конечно, тут же закрыли вопрос о его отчислении... Надобно ли мне тут говорить о том, что точно так же все прочие проблемы Бегичева с банком, со счетами за квартиру в его пользу успешно решились. Вот только военкомат никак не хотел отступиться – упорно тянул Семена к себе, слал повестки, но и это, наверное, скоро как-то удачно смогло разрешиться...

– Чего уж там, – сейчас Семен говорил, – только я вошел в диалог с Текстом, как обо всем том, что казалось для меня на тот момент важным, я враз позабыл, даже пусть бы он не решил моих тех проблем... но мир стал другим, словно бы занавес в сторону отошел – всё по-новому вдруг открылось!.

Знаете ли вы, люди, что такое читать мысли в чужой голове? А видеть сквозь стены или знать наперед, что с вами случится?

Маленькая черточка, которую вы повели на белом листе, желая ее вывести в букву, а затем в слово, не захотела вам быть покорной, она побежала по своей воле и, черкнув на листе молнией, с него ускользнула. Вероятно, вы даже этого не осознали, просто отчего-то ваша рука в локте где-то стрельнула, запачкала пером бумажное поле, принеся вам чувство досадной оплошности. Маленькая черточка же неслась уже вдоль по улице, рисуясь струей из баллона на фасаде какого-то домика, переходя в ровную строчку на бумагах чиновника, а с них уже, росчерком подписи, убегала в сочетание слов, шепча за ней бегущему – Семену Бегичеву: «Пошли теперь в другое заведение», – это сообщение, которое видел он лишь единственный.

Поспешая скорей, Семен бежал за буквами Текста по его наущению...

– ...Перебегая через улицу на красный свет, я рисковал наверно попасть под машину, – говорил он сейчас, – я был словно ослепший, ничего не мог видеть, кроме букв этого организма, бегал за ним по разным местам, хватался за какие-то книги, писал по его просьбе какие-то письма, носился по городу с какими-то документами...

Насколько же сильно был Бегичев удивлен тому, что перед ним вдруг открылось, он, может быть, сначала и в толк не взял, но видно все же стало потом, что мир устроен совсем по-другому, совсем не так, как ему говорили, совсем не так, как он понимал... – как же нестойки были все его прежние убеждения.

Правильно, наверное, думать, что Бегичев после того, как я в его жизнь въелся, начал видеть все обычные вещи совсем под другим углом зрения, как он это всё для себя называл: *цепочки знаков, видимые циклы, повторы, схождения...* – паутина, что сводит в одно все вещи вокруг через мысли людей, через сумму их простых действий. Наперед теперь Семену уже было известно, что с ним через час или день случится. Конечно, тут я был советчик, но скоро ему уже не нужно было ничего говорить, он сам читал эту систему: так, знал, что ждет его за углом такого-то дома по номеру серии на пачке сигарет, знал, куда нужно идти, если на чеке три цифры семь и три цифры девять, знал, что будет, если видел цифру пять в конце номера телефона на уличном объявлении.

Непросто совсем об этом тут говорить – всё уходит в формулы, однако Бегичев со всем этим знанием ощущал себя уже чуть ли ни чародеем.

Всяческие делишки, что теперь перед ним вставали по жизни, как например: нехватка денег или поиск какого-то человека, или же, скажем, хотелось Семену чуть-чуть пошалить, себя развлечь... – всё это решалось вмиг: он находил нужные буковки, циферки, проводил связь между ними, а уж потом ноги сами вели его в нужное место, к нужному времени, где Семену почти даром давались деньги (скажем, его часто путали с курьером), где всегда стоял нужный человек, где можно было всегда хорошо пошалить, поразить публику фокусом – кролика из-за пазухи вытащить (ведь он знал теперь всех людей по имени, знал, что будет с ними, знал год, час, серию в любой справке, в любом квитке, к тому же умел отдавать все свои деньги за просто так первому встречному).

Безумец был в упоении тогда от своей силы, хотел ли он этим еще с кем-то делиться?

– О-хо-хо, – он сейчас говорил, – чего тогда только не было, чего только не случилось...

Безумец думал, конечно, что он один лишь такой... – ох уж эта мне слепота!

– ...и о чем мы с Текстом только не говорили...

Николай кивал головой, следуя за Семеном по кривой тропке, что бежала между деревьев (что за метафора мной овладела?).

– С каждым днем я всё больше и больше узнавал это существо как человека, как некую, что ли, личность, – сейчас Семен говорил, – мы долго были с ним вместе и чего только не повидали... Я был у него словно на службе, бегал по его прихоти по разным местам, искал каких-то людей, отдавал им бумажки – сам не понимал всех своих действий!

– Кто же он такой, – тут Коля его перебил, – что за личность?

– Ооо, – весело Семен ответил: – Характер у него всегда был какой-то гадкий и мерзкий, одни истерики да капризы, ничего хорошего в общении с ним я не видел, только злоба и бешенство!

Говорливый Семен тут на секунду замолк, как будто пытаясь что-то осмыслить, по сторонам поглядел и потом продолжил:

– Интересно, но о себе Текст никогда не говорил (это был наверно принцип – он мог говорить обо всем, но только не о себе), лишь со временем я стал замечать у него кое-какие привычки...

– Расскажи!

– Например, он любил лишь старые книги, не терпел свежих изданий, так ему было легче, видимо, со мной говорить, – шептал Бегичев, силясь скрыть свою наглую ухмылку, – бывало, что зазывал меня с этой целью в архивы библиотек. Частенько мог надолго убраться, когда же я вновь его замечал, в его словах слышна была рифма и какой-то чудный, еле-еле видимый речитатив... – где он был: читал стихи, отдыхал, или же над кем-то еще потешался? Неизвестно, – тихо добавил рассказчик.

– И всё? – Коля спросил.

– Нет, – Семен ответил. – Хорошо, что у него всегда можно было узнать о том, что сейчас в мире творится... он ведь жутко быстрый, как молния по нашему шарику движется! Однако чем больше я узнавал его как личность, тем всё гаже он мне виделся... – добавил Семен и замолчал. Видно стало, что скулы его напряглись.

– Как же ты от него убежал? – тут Коркин не вытерпел.

– История длинная, – шепнул Бегичев, – но всё связано с теми делами, которые Текст заставлял меня выполнять...

...История длинная и поистине многое бы сейчас объяснила...

Почтальон (зарисовка):

Прорываясь сквозь ветер и мелкий дождь, человек в черном намокшем плаще бежал по перрону с большой сумкой через плечо... – это был Бегичев, он куда-то опаздывал и потому сильно беспокоился.

– Смертельно, смертельно... – он повторял, – это письмо было смертельно!

Шаловливый ветер выхватывал из его одежды, из карманов листочки белой бумаги и разносил их по мостовой, но Семен не хотел вернуться за ними, не хотел остановиться.

(События эти имели место за два года до нынешних!)

Дрожащие руки Семена изминали конверт письма, который никак не рвался, видно же было теперь в свете фонаря, что он сильно нервничает. Торопливое, горячее дыхание молодого человека звучало сейчас в такт поезду, который где-то рядом мерно и грузно проходил, Семен страдал – он боялся опоздать на свой рейс, он боялся, что остановится.

– Покажись! – кричал Бегичев в густой темный воздух вокзала, он хотел кого-то вызвать или же окликнуть. – Покажись! – он повторял.

Неожиданно где-то далеко во тьме за стеной дождя что-то зеленым светом стрельнуло, стало гореть, тут Бегичев напряг взгляд... – это было электронное табло с расписанием.

– Быстрей давай, – сказало табло, и вновь потухли все его лампочки.

– Бегу, бегу! – кричал бегущий Бегичев, силясь ускорить свой шаг, силясь в быстрый бег его перевести.

В продолжении вот уже нескольких месяцев Семен говорил с Текстом – ожившим через буквы и циферки существом, которое пока ему было еще совсем непонятно и странно, которого он боялся, которое его принуждало выполнять свои прихоти и было единственным собеседником.

Оставшись теперь один на один с самим собой в толще дождя, Бегичев прервал бег и еще раз попытался порвать тот конверт, что сейчас был в его руке, тот конверт, что он должен был передать по просьбе Текста какому-то человеку... – *он сомневался*.

Наконец-то конверт порвался и показал письмо, что в нем пряталось, почтальон стал пытаться вчитаться.

– Не сметь читать! – вдруг стало кричать письмо. – Не сметь читать, Бегичев!

Послание кричало, и уже более ничего Семен не мог в том тексте понять, кроме этого крика, – его хитрость на этот раз не удалась, теперь он снова должен был быть наказан... в голове вот уже что-то ныть и кричать начинало.

– Ладно, ладно! – теперь уже Семен орал в текст письма. – Побежали!

Широкими шагами он одолел ров с рельсами и одним прыжком заскочил в вагон состава, прижав по инерции в тамбуре какую-то гражданку. Просвистев что-то злое вдогонку, двери вагона закрылись за Бегичевым, гражданка заулыбалась.

– Извиняюсь, – всё что сказал Семен на свое хамство и пошел дальше, ни на что больше не обращая внимания.

Сверившись с цифрами билета, что он купил в кассах, Семен занял нужное место, освоил его – уложил на полку багаж, а потом уже более не суетился, прильнул лбом к черному квадрату окна, и мысли, как дождь за окном, в его голове застучались.

«Странно, очень странно!» – про себя он сказал и съежился.

Действительно странно, ведь Семену уже было известно, что Текст посредством посланий, которые он его рукою писал, а потом в конверт опускал, хотел другим людям доказать факт своего существования.

– Ах-ха-ха-ха! – сейчас Бегичев смеялся. – Знаешь, в чем была главная неудача этого существа?

– В чем? – Коркин спросил.

– В том, что он не умел писать понятно, как бы он ни мучил себя, у него ничего не выходило!

(Теперь и я знаю, что это правда!)

– ...Вообрази, пойми, – сейчас орал Бегичев, – это был текст, живой текст, но он не мог писать, например, романы, к этому у него не было просто таланта, он много пытался, трудился, но у него ничего никогда хорошего не выходило!

Пишущий человек (зарисовка):

Собравшаяся темнота в углу комнаты, казалось, вот-вот поглотит весь свет, а он боялся, он дрожал, повисая желтым маревом над столом, где сейчас сидел Бегичев; густые тени со всех сторон обвили сидящего: конечно же, лампа погаснет, челюсти темноты щелкнут, и всё падет в эту секунду, и кровать исчезнет, и тумба с ворохом одежды на ней уйдет в никуда, и будут теперь лишь только мысли, только идеи один на один с собой, однако ж исчезнет и оно, это существо, что сидит в тексте, что шепчет, что пишет чужой рукой, капризничает.

Пишущий, Семен Бегичев, очнулся, пережив еще один визит чудного существа. Уставшие за ночь веки упали, и сил их поднять уже не имелось, но и сон прийти не хотел, видимо где-то опять в ночном письме потерялся.

– О, боже! – Семен сказал. – Когда же всё это пройдет! – тут его голова заболела.

Разлепив глаза и пошарив пустым взором по комнате, Семен заметил, что грязной бумаги за эту ночь стало больше – листочки с записями плотным ковром устлали весь пол, всё ими было покрыто, завалено. Уставшая, сухая рука плетью лежала на столе с бумагой, сомкнув перо для письма в цепких пальцах, под ней лежала уже ставшая обычной записка с посланием.

«Сготовь поесть, поешь, потом садись за стол, ничего не трогай, жди, когда я вернусь», – послание говорило.

(События эти имели место за два года до нынешних!)

Рассеянным взором Бегичев попробовал вчитаться в те записи, что лежали на столе, в те записи, что за эту ночь накропала его собственная рука под диктовку чудного паразита, попробовал, и опять ничего не получилось, опять весь текст расплылся в бессмыслицу.

Прошло чуть более часа, за это время Семен сполз со стула на пол, в листы всем телом ушел и так уснул, но теперь сон ушел, и нужно было что-то делать, пока Текст был где-то еще далеко.

«Покушать?» – у себя он спросил, и ему стало отчего-то противно.

Бессильный Семен блуждал по квартире, заняться ему было нечем, сумка была уже собрана, он поел, а что еще было не сделано, что еще оставалось?

Сесть за стол, ждать!

Внезапный смех тут охватил Бегичева, дикий вопль изогнул его фигуру, ударил словно в бубен по потолку и ушел к соседям, Семен даже не понял сразу этого смеха, но это была не истерия, а какое-то точное чувство, какое-то скрытое пока еще от глаз озарение... и вот уж слезы текли, и кишки хотели наружу вылезти... Бегичев катался по бумаге, уже зная о том, что все эти листы – тело Текста: так он на свет из своего мира выбрался, – это открытие его возбудило. Гогочущий глядел на листы, взирал сквозь слезы на записи, которые не хотели даться ему, которые не хотели быть им прочитаны, он понимал, наверное, теперь свою силу, и в этом смехе он был независим.

Фломастер красного цвета тут попался под руку ему и так же внезапно, как смех начался у Семена, так же внезапно он кончился – красная линия легла на белое поле, вышла в спираль, дугой изогнулась.

Измученный Бегичев ни о чем не думал, он вел рукою по бумаге, что-то рисуя... – что-то рождалось под рукой, что-то новое в комнате расцветало. Измученный Бегичев ничего не мог с собой поделать, точь-в-точь так же, как ночью Текст принуждал его к письму, точно так же сейчас он не мог оторваться от этого рисунка, но это почему-то нравилось ему, это новое было пленительно.

Прошло минут десять!

– Постой-ка, это еще что за новости? – красная линия вдруг сказала. – Неужто тут еще кто-то есть, Бегичев? – серией резких изгибов она зашумела.

Онемевшая правая рука Семена сама вывела все эти вопросы, он понял: демон из текста снова вернулся и теперь очень рассержен.

– Кто-то тут был? – тот повторил.

Измученный Бегичев встал на ноги, с трудом отняв правую руку от пола, в каком-то святом испуге он увидал то, что было им нарисовано.

– Что там? Что ты увидел? – надписи с белых лисов закричали.

Громадный красный цветок взрывом расцвел на полу комнаты, бумага им будто горела, он заворожил Семена, взгляд уже не хотел его покинуть, текст же под ним бледнел и всячески фокусничал.

– Ах-ха-ха-хаа! – Бегичев теперь хохотал. – Понимаешь, эти существа идеальны, – к Коркину он обращался, – они не стареют, они не умирают, они повсюду, но они не могут, к примеру, взять и поднять бокал вина со стола, они не могут обнять девушку, они не могут целоваться.

– Неужто есть еще и другие? – спросил вдруг Коля и сам своих слов испугался.

– Другие, – Семен тихо за ним повторил.

Николай весь напрягся.

– Возьми-ка вот, погляди... – Бегичев сказал, залез в свою сумку и вынул оттуда листы, которые были очень потерты и, видимо, не раз уже им читались.

– Что это? – Коля с испугом спросил.

– Зарисовка... – Семен ответил, – зарисовка про белый цвет, я ее у Текста украл, всё это года два назад где-то случилось...

Лилейный (зарисовка):

Утерянный для всего Бегичев теперь полюбил рисовать, и это была сущая правда, когда он говорил демону из текста: послушай, ты у меня всё отнял, оставь хоть это, пожалуйста. Нетерпимо, но ровно настолько, насколько Бегичев любил рисовать, ровно настолько его присный хозяин это занятие ненавидел. А ненавидел потому, что уж очень сильно оно влияло на Бегичева, меняло его восприятие. Печатный всячески запрещал ему это делать, он портил рисунки, нарушая процесс, калечил пальцы правой руки, как часто бывало, пытался увлечь Семена чем-то другим, но бросить этот наркотик Семен был не в силах, для него это было сродни потере основы – того, на чем он стоит и при помощи чего пытается найти свою правду, – это похоже было на истязание. «Абстракция» – строгий вердикт хозяина, слово, которое Семена сердило, а сердило лишь потому, что в нем не было смысла, того смысла, который, быть может, он хотел видеть в своей жизни, того смысла, который он видел в своих творениях. Наверняка именно поэтому Семен больше всего любил белый цвет – цвет снега, цвет света, цвет молока, – невинный, как он его называл, но честный в отношении к какой-либо текстовой пестроте и абстракции.

Покажется, может быть, миленько, но ровно настолько, насколько Семен любил рисовать, ровно настолько он любил теперь и беседы с людьми, а потому он, убегая от своего текста, шел на улицу, где, кроме живого письма, можно было еще поболтать. Нетерпимо, но целыми днями Бегичев сидел на улице, рисовал, общался с какими-то людьми... – это, наверное, его развлекало?

Городская площадь, аллея: серия лип и скамеек... весьма тепло было в день, когда всё это случилось.

Неправдиво чересчур, может быть, я буду дальше описывать, но в тот день мир вокруг, когда Семен снова вышел на площадь, как будто хотел его подбодрить. Немыслимо много всего было на площади, и люди ходили, и звуки машин, и музыка... – всё как-то звонче, цветней и интересней. Удивительно, но в этом во всем уже бесновался, крутился, прятался и вновь появлялся, распадался в клочки – один для него одного, для Семена – один белый цвет: так, может быть, тогда сходилось пространство?

Вероятно много, много было разных цветов на этой площади, они друг другу не уступали, но Семен видел только его – белый, лилейный. И странно – странно, что Семен этого не заметил, – покуда он шел, он хотел ближе, как можно ближе подойти к белому цвету, но тот от него убегал, прятался. То женщина снимала свой белый платок и клала в корзину, то мальчик при близости Бегичева взрывал свой белый шар, то машина забегала за дом, а ведь она была тоже белой, то чья-нибудь белая майка желтела в другом освещении. Белый, то, то, то, белый. Однако же Семен за ним уже не успевал. Головой крутил, но позади в толпе его уже не было, он шарил глазами вокруг себя и тут вновь находил его по вектору того хода, каким он шел прежде, и снова ноги вели Семена – за ним: видимо, такое было у мира тогда настроение!

Художник прошел площадь и уже очутился в аллее, однако белый цвет так и мелькал впереди, манил к себе, в пестрой толпе в ленту змеи совпадал. Носители цвета, прохожие, менялись, бездумно по цепочке перенося его так, словно бы между ними была эстафета. Азартный Бегичев подпал под этот эффект, его он очаровал так же, наверное, как если бы кролика очаровал зверек горностай. Однако с концом аллеи и эта погоня пришла к финалу. Последний мужчина, за которым шел Бегичев, замер на месте, заправил свою белую рубашку, что выпала из-под куртки, в штаны и, отойдя, словно занавес, в сторону, открыл взору Семена весь секрет и весь великий бонус погони – ее (недвижимо).

Девушка сидела одна, она пила пиво, она была хмурна, она, видимо, не хотела никого видеть, она была во всем белом... – по чувству, будто бы дверь в иной мир отворили! Дымился белым шарфик... белая блузка и белая юбочка, белые кудри и белые ручки, белое всё, но глаза ее, увы, вконец сводили Семена с ума... в ее глазах была чернота!

Бегичев не мог не подойти! «Но как?» – себе он задал вопрос. Девушка на него и не глядела, не видела, ей больше было по вкусу следить за ищущим что-то возле ее ног голубем. Бегичев как столб стоял на месте, не в силах решиться...

Забытое всеми лето как будто решило отдать права свои зимней метели... – с неба летел пухснег!.. Сейчас же Семен очень ясно увидел то, за чем он так пылко гнался, то, что так сильно его тянуло к себе, играло... – белая стена света сошла на него, к земле прибила! Конечно, это не было чем-то извне, эта снежная лавина сошла у него в голове, по чувству: словно бы магний вспыхнул, – Бегичев потерял сознание.

Очнувшись, он вновь увидел ее, но уже не одну, рядом стояла еще какая-то публика, девушка же одна теперь была очень близко, она нависла над ним, ее волосы касались его лба, щекотали. Белена с глаз Семена еще не сошла, он дернул рукой и понял, что лежит на лавке, и скорее всего на той, где сидела эта девица, голова его лежала у нее на коленях. Публика вокруг что-то шептала, но даже не то, чтобы понять людей, а чтобы только услышать... Бегичев не желал, в этот момент его лишь она увлекала. Исподволь всё же белена сошла с глаз и боль где-то в мозгу вся в тепло вышла, – сознание к Семену вновь вернулось. Художник мог уже встать, мог всё понимать, и взгляд его стал светлее, разумнее. Смятение тут возникло в публике, что его окружала... – люди видели: человек, недавно бывший без сознания, теперь в меру здоров и даже, что странно, по улыбке на лице счастлив, но на участие и заботу он не отзывался, а это часто приводит к смущению и спешной ретировке последнего. Молодой человек лежал и нагло, по мнению прочих, взирал на девушку! Апофеоз этой мысли пришел тогда, когда Семен сложил на груди свои руки в замок и начал говорить с милой девушкой. Странными казались попытки вразумить его, вопросами о здоровье обратить вниманье на *нас*, участливых лиц: мол, как это так, ты ж, брат, не здоров... но все эти усилия разбились о невнимание, и публике оставалось одно – расходиться.

– Вам нужна помощь? – вдруг девушка спросила.

– Постой-ка, что это за девушка? – дочитав до конца кусок моего тела, спросил Николай.

– Спасение, – Бегичев ответил, – мы были похожи, в ее голове сидел почти такой же, как и у меня, паразит, и она уже знала путь к моему спасению!

Стук

Измученный Дмитрий Панаев зашел в свою квартиру после долгого странствия; подумал немного, постоял на месте и не стал снимать одежду, – как-то не особо хотелось, да и не было надобности.

Сиротливая, ненужная кровать одна стояла в комнате, она не ждала хозяина, – теперь Дмитрий засыпал только в кресле у своего аппарата, у своей радиоточки.

Давным-давно, еще в юные годы, это было связанно с модой на телеграф, потом это перешло в его ремесло, – сутками Панаев сидел в эфире, слушал радио в формате тире и точек, ища в них какие-либо темы, не связанные с идеалами государства. В настоящее время он уже никак не мог без этого обойтись, это стало его страстью, и теперь, когда город хотели открыть, когда, по мнению Дмитрия, в город должна была хлынуть волна чужих граждан, сидеть вне эфира – было злодеянием!

– Бродяжка этот еще... – сказал вслух Дмитрий, вспомнив о недавней встрече с Бегичевым.

Пляшущей походкой он дошел до кресла, надел наушники, закурил сигарету и вслушался: кто-то с кем-то где-то говорил о погоде, о времени суток, о ценах на билетики, – в общем, пока в эфире не было ничего занятного. Переходя с волны на волну, Дмитрий не терял терпения, искал то, что было бы ему интересно...

– Димочка, Дима... – вдруг что-то в эфире стало стучать, но тут же смолкло.

Дмитрий приник к радио, пытаясь эту волну не утерять, но ничего уже не было слышно, только вой и треск, а тут еще соседи стали сверху шуметь, что-то, видимо, у себя починяя.

– Надоело! – рыкнул Панаев на соседей.

Маленький дворик, в котором он жил, был очень уютен, все люди друг другу с утра говорили: *здрасте*, и были весьма радушны, однако Панаев не терпел соседей, этим же и они ему отвечали... – много чего попортил в их жизни *сотрудник*.

Интересно то, что люди во дворике были чуть ли не все инженеры, этот факт вообще очень сильно отличал данный городок от остальной известной провинции (справка: для закрытых городов это весьма характерно).

– Максимка, – кричала сейчас соседка на своего сына, отрывая себя от сырого белья, которое нужно было во дворе на веревке развешать. – Максимка! – она еще громче повторила.

– Да, мам? – ответил ей сын из окна своей комнаты.

– Вычислил тот корень из тридцати?

– Вычислил! – сын отозвался.

Деятельные, но лишенные всякой свободы в своей реализации, эти люди вымещали энергию созидания в сооружение всяческих хитрых штучек для быта: кустарные тарелки антенн заполнили крыши, с ними же стояли по соседству ветряки – машины для создания тока из энергии ветра, кто-то разводил почтовых голубей, кто-то играл в шахматы в саду у дома, где росли цветы и кустарники.

Дмитрий в этом мире был как фантом... – серой тенью под вечер он сходил со своего этажа, шел во двор, а дальше, ни на кого не смотря и резко махая клюкой, шагал куда-нибудь к магазину.

«Тук, тук, тук...» – стучала его тросточка.

В советское время Дмитрий устроил себе очень неплохую карьеру... – как вы поняли, его талант был в том, чтобы стучать: он сличал шифры в эфире, делал досье, рылся в слухах, заходил в семьи, – за это и был наказан: его соседи по коммуне, мужики, после того, как одного из них *забрали*, избили Дмитрия, сломали ногу, – с того самого времени у него хромота и появилась.

Удивительно, но Панаев не сдался, выехал из того дома, где его побили, и тем же самым успешно продолжил у всех на глазах заниматься.

В это вечернее время он так же что-то искал в эфире – плавно с места на место бегунок подвигал. Поначалу радио только шумело и трещало, ничего не выдавая, но вот что-то где-то зашипело, что-то где-то застучало. Сотрудник вслушался!

– Дмитрий, – сказал аппарат. – Дмитрий, – пробил он еще раз, и звук стал удаляться.

Соседская дрель тут жужжать начала, вконец сбив передачу!

– Надоело, – зарычал Панаев на соседей и начал шустро искать волну, которая сейчас, быть может, еще где-то звучала.

Ничего не было в эфире, и даже треска! Тишина, но Панаев уже плюнул на это и резко увел риску поиска на другие волны, тщась что-нибудь услышать...

– Наверно ты что-то найти хочешь? – вдруг через стон волн радио брякнуло.

Сначала Панаев подумал, что это не в его адрес, но кто-то с кем-то далеко ведет беседу, однако радио его на этот раз удивило: – Дмитрий, – оно сказало, – я ведь это тебе говорю, слышишь?

– Чего? – завыл Панаев чуть слышно.

– Струсил? – сказало радио серией тире и точек, всё это четко отстукав.

Нелепица, ведь Панаева никто сейчас не мог слышать, тем более в эфире, там же на азбуке Морзе сплошь велось общение... – неужели он не заметил, как сам этот вопрос отбил на машинке? Постойте, но кто тогда знать мог его фамилию?

– Прослушка! – проблеял тихо Панаев и обвел долгим взором свое убежище, пытаясь найти какое-нибудь устройство.

– Позвони на КПП и скажи, чтоб того бродягу в город пустили, – отстучало в эфире что-то зловещее.

Испуганный радист кинулся к телефону – наверное, нужно было доложить о том, что за ним кто-то ведет наблюдение. Стремглав добежав до аппарата и взяв трубку, Панаев услышал гудки, они были такими же, как и в любом другом телефоне, но только вот очень частыми, опытное ухо сразу различило код морзянки, – кто-то через эти гудки изъяснялся:

– Панаев, я вижу, ты меня не понял! – гудки вывели сообщение.

– Кто вы? – бросив трубку, старик зашипел.

Взвинченный, он теперь ходил кругами по комнате, что-то пытался найти, рылся в вещах, хватался за голову, но нужно было наверно уже бежать вон из квартиры... – всё это для него было весьма ненормально!

Дмитрий взял в руку трость, надел туфли и уже было хотел в дверь выйти, но тут снова соседи сверху стали шуметь – теперь они что-то в стену вбивали... – он так и присел на месте: удары молотка отбивали морзянку!

– Послушай, я не твой сосед, – молоток говорил, – я кое-что похуже, не зли меня, бери в руку трубку, звони на КПП, скажи, чтоб Бегичева в город впустили!

– Ага, вот оно что! – Панаев завыл и в дверь вышел.

Быстрым шагом он ступал вверх по лесенке, его лицо было гневно, он мало что видел перед собой, он шел к соседу – *теперь он все выскажет*! Дойдя до дверей, он громко постучал...

– Иду, иду... – сказала где-то в глубине соседка.

Секундой спустя дверь открыли, милое личико с улыбкой наружу вылезло: – Здрасте, – оно сказало, чем-то очень смущаясь. Дмитрий тяжело дышал, губы его от злости тряслись – он нашел того, кто его покой преступил!

– Добрый вечер, – сквозь силу сказал Панаев и добавил: – у вас теперь будут очень большие проблемы!

Соседка глядела на него, ничего не понимая.

– Мы сильно шумели? – она спросила.

Маленький мальчик сейчас прыгал по лесенке за спиной гневного Дмитрия, поначалу он даже не услышал его прыжков, но теперь, когда между Панаевым и соседкой возникла пауза в разговоре, когда пришло время всё высказать, он вдруг услышал этот перестук детских сандалий – это была всё та же морзянка, она опять ему что-то передавала.

– Ты не тут ищешь, – выбил ногами мальчик.

– Слышите? – спросил Панаев у соседки и поднял вверх палец, замерев. – Слышите? – он повторил.

– Что? – та спросила.

Повернув голову, Дмитрий увидел мальчика, тот скакал по лесенке, какую-то считалку про себя повторяя.

– Это ты, что ли? – зачем-то он у него уточнил.

Соседка молчала. Покинув ее, Панаев поймал парня, взял в руки перед собой и начал трясти... – он что-то пытался в нем углядеть (лжет – не лжет), но тот только громко заплакал.

– Что вы делаете? – соседка вдруг закричала.

– Гаденыш! – заорал Дмитрий, не пуская из рук хулигана. – Говори, кто тебя этому подучил!

С молотком в руках на крик жены выбежал сосед и тут же попал в роль жертвы, – увидев его с орудием наперевес, Панаев кинулся на мужчину, зло обзываясь.

– Ээ... эээ... – сосед крикнул, отпрыгнув.

Спасаться нужно было, однако Панаев уже отошел от своего шока, до него стало что-то наконец доходить. Суровым, строгим взором он глядел в лица соседей... – они явно ничего не могли понять, тут не было фальши, но ужас и изумление!

– Ладно, ладно! – погрозив, сказал Дмитрий. – Ладно, потом на вас поглядим!

Медленным шагом он спускался по лесенке во двор, пытаясь понять: что все же сейчас с ним случилось? Спросить хотелось: может быть, Панаев всего лишь утомился, а еще эта поездка и новость об открытии... – наверное, так это он себе и объяснил: это помутнение?

Он вышел во дворик.

– Слышал уже? – откуда-то его тихо спросили. Дмитрий по сторонам поглядел. – Слышал уже ведь? – спросила у него женщина, которая на веревку белье вешала в отдалении.

– О чем? – пытаясь от солнца глаза закрыть и ее увидеть, спросил Дмитрий.

– О пожаре, – она сказала.

– Что-то слышал... – Дмитрий припомнил.

– У Коркина в комнате какие-то тексты сгорели! – женщина сообщила.

– Коркин, Коркин... – быстро стал шептать Дмитрий.

Женщина ему улыбалась.

– Поджог? – через паузу Панаев спросил.

– Говорят, как-то случайно... – хозяйка ответила.

Переводя взор с качели, что гудела сейчас во дворе, на игру света и тени у дерева, морща лоб, как бы что-то про себя уже разумея, Дмитрий созерцал... – ни во что не вникая, он не желал ток мысли своей как-то пресечь, но лишь скука, покой, а еще что-то черное где-то, опасное... – это были его ощущения.

Хозяйка, вывесив белье, взялась теперь хлопать коврики.

– Проснись, – отбила она пыльное сообщение.

Дмитрий присел на лавочку.

– Ну что? – выдала она еще одно сообщение.

– Диверсия! – Панаев тихо проговорил.

– Позвони-ка ты уже на КПП, а то ведь не отстану, с ума буду сводить... – говорила хлопушка.

Испуганный Дмитрий боялся теперь встать со скамьи, боялся двинуться.

«В контору пойти, донести? Поверят?» – думал он, стукая пальцами по скамейке.

– Скажут: больной! – хлопушка вспылила.

– Эхе-хе-хе-хе! – не мог с собой сладить Дмитрий. – Откуда же ты знаешь морзянку? – к женщине он обратился.

– Чегось? – та спросила.

«С головой что-то, наверное?» – ему вдруг подумалось.

– Три точки, три тире, три точки! – веско сказал половик, ударив эхом в стены дворика.

– Оно же еще и шутит! – сжимая кулаки, завыл Дмитрий.

Опытного чекиста не могли так просто взять на испуг, нет... не могли куда-то велеть идти, или ж звонить, он так же не мог дать волю недугу, который быть может с ним вдруг случился. Подумать только... но что если это был вовсе не недуг, а на самом деле всё так с ним и вышло... то есть на самом деле кто-то с ним общался через радио, через его соседей... – можно ли было это как-то проверить?..

– Ну конечно! – сказал Панаев веско, а потом засунул руку в карман и сощурился. – Что-нибудь еще хочешь сказать мне, морзянка? – он вдруг прокричал.

– Сходишь с ума, Дмитрий? – она ответила.

– Аха-ха-ха-ха! – залился смехом Панаев, а потом вынул из кармана диктофон. – Сейчас проверим!

Включив прибор для записи звуков, Панаев услышал ровно тоже, что он сейчас ушами слышал: «Сходишь с ума, Дмитрий?» – вещала запись, и значит, с ним всё было в порядке, но вот что теперь было делать, куда бежать, куда деваться?

– Умный, значит! – стук говорил.

Дрожащий Панаев вновь включил свое хитрое устройство.

– Наверно это какая-то новая техника? – вслух он кумекал. – Наверно какое-то оружие... ну а как еще объяснить?..

Необходимо было бежать, необходимо было обо всем этом доложить... – решал Панаев, – но вот поверят ли, станут слушать, а вдруг стук к тому времени исчезнет, не будет больше ничего передавать?..

– Скажите-ка, кто вы такие? – спросил Дмитрий, адресуя свой вопрос к соседке, что выбивала половики.

– Говоришь, кто мы-то такие? – та спросила, тут же отбив с улыбкой: – Наверное, лишь стук в твоей голове, теперь уж только держись! – половик пригрозил.

– Сергеич, что с тобой? – спросил Панаева сосед, старый мужчина, что вышел сейчас из подъезда. – Давай-ка скажи, что это ты учинил на третьем этаже, там всё напуганы?

– Чего-то вспылил... – ответил ему тут же Дмитрий, добавив: – Шумели они больно сильно... они ведь опять ремонт там затеяли!

Осанистый мужчина присел рядом с Дмитрием и, хлопая его по плечу, стал мягким голосом говорить: – Утомился, – он шептал, – столько лет и на одном месте, без жены, а еще эта работа, конечно срывы у всех бывают, понимаю... а еще это ваше открытие проклятое...

Участливая речь соседа не вызвала интереса у Дмитрия, сейчас его заботило совсем другое, а именно: что будет дальше, куда стук делся и как он дальше проявится? – сосед же всё пытался беседовать.

Интересно, но сколько бы сосед не говорил, он всё хлопал рукой по плечу Дмитрия, теперь Панаев это стал замечать... – хлопки соседа были не в ритм, они шли часто и с перерывом...

«Попался», – прочел Дмитрий.

– Старая гадина! – слетев с лавки, он взвизгнул.

– Постой, постой! – ловя его за руки и обнять норовя, сосед заорал.

Конечно, Панаев уже понял, что сосед ни в чем не виноват, но стук этот был так близко, можно сказать, что он его касался!

– Паразит, зачем же ты ко мне пристал? – кричал Дмитрий.

– Успокойся, уймись, – обнимая Панаева и хлопая его по плечам, сосед стрекотал.

«Давай, давай!» – хлопки говорили.

– Отстань, гадина! – орал Панаев на удары реагируя.

– Ух, какой! – сосед смеялся.

– Отстань же... чего тебе нужно, я никуда не буду звонить... – пыхтел Дмитрий.

Видно же было теперь, что сосед сильно злится... – хлопки всё сильней делались!

– Доносчик, – наконец сказал мужчина и ударил кулаком по лицу Дмитрия. Сотрудник полетел в кусты, что росли у крылечка.

– Всё, точка, – сказал Панаев чуть отойдя. – Я не донесу... – добавил он, встал и пошел, шатаясь, вон из дворика.

Потрясающе, казалось так теперь, что весь мир разом упал на Дмитрия, в звуки, в стуки перед ним разлетелся. Миловидная девушка в белом платье, что шла теперь перед ним, звонко цокала, ее каблуки пели, она куда-то очень спешила, а поэтому всё время меняла шаг, то бежала, то просто быстро шла, мерно через канавы и поребрики переступала.

– Не убежать, – каблуки ее говорили.

– Позвони уже, – стучали другие мимо идущие туфельки.

Сумасшедшее это стуканье уже, наверное, ничто не могло перебить, оно лезло из щелей, из окон, всякий человек, что теперь вставал на пути у Панаева, что-то стучал, что-то бренчал, – всё тряслось, всё дрожало, всё с ним беседовало, всё вокруг пыталось изъясниться!

– Дмитрий, – стучала посуда в чьем-то окошке, – Дмитрий, – шоркала щетка по асфальту, – тебе не скрыться, – пищали кнопки на чьем-то телефоне.

Дмитрий уже не мог ничего этого слышать, он затыкал уши, однако даже в этой тишине он сам, того, может быть. не желая, искал голос этой азбуки Морзе, которую уже можно было видеть даже глазами, – ритм марша ног, что шли перед ним, ритм рук (но уже еле слышно), другая гулкая вибрация.

Кавардак звуков в четкую речь сливался!

– Бежать, бежать, бежать! – твердил Панаев и несся куда-то по инерции.

«Конечно, этот Бегичев не так прост, конечно, это про него все эти истории, что я в поезде слышал...» – сейчас думал Дмитрий. «Говорят, ездит у нас тут один по железке... говорят, какой-то почтарь какие-то письма развозит», – мысли Панаева сейчас были похожи на смесь слухов и чей-то чужой болтовни. «О пожаре-то он тоже ведь знал откуда-то... и что Коркина за ним потянуло?» – спрашивал у кого-то Дмитрий Сергеевич.

– Мистика, мистика, мистика! – звуки вокруг говорили.

Единственное, что он знал теперь – у кого-то нужно было взять совета, спросить, о том, что вокруг творится, предупредить!

Плачевно, но у Дмитрия Панаева в городе не было друзей, однако были коллеги... а еще люди, скажем, его ума и схожей ситуации... – к одному такому он теперь и двигался. Человека этого звали Мирский Федор Петрович, он был спец в области слухов и сплетен, говорят, что за это его даже с верху спустили.

Долгими днями этот человек сидел в тени навеса кафе, что стояло на одной из самых бойких улиц города, пил чай, из года в год всё толстел, а так же собирал вокруг себя плеяду людей, которые больше всего в жизни любили, скажем, общение; но вот болтали они всегда почему-то не о себе, а о других людях, о чужой жизни, тем видимо и тешились!

Дмитрий знал, где его найти, но эта дорога была очень трудной! Каждый шорох, каждый звук на пути пугал его, он бежал во дворы прочь от людей, его качало, и трость уже не была ему в помощь. Каким-то чудом, каким-то чутьем он всё же дошел до того места, где сидел Федор Петрович.

– Мирский! – заорал на всю улицу Дмитрий, когда увидел на террасе кафе этого человека.

Надлежит, наверно, сказать, что Мирский редко во всю свою жизнь попадал в такие ситуации, когда бы события сами перед ним какой-либо угрозой вставали, всё дрянное он как-то всегда умел обойти, но при этом всё про всех знал, был в курсе всех дел, всех склок, что в городе изо дня в день случались...

– Мирский, слушай, – добежав до него, сказал Дмитрий, – это пришло, пришло, – он трясся, он дрожал, его мучила отдышка, – всё стучит и стучит, всё вокруг со мной через стук болтает, прямо ведь лезет через каблуки!

– Постой, что с тобой, что пришло? – не мог взять в толк Федор Петрович.

Мужчина сделал усилие к тому, чтоб усидеть на месте, будто дрожь Панаева на него вся перешла, – пальцы по столу так и бегали, глаза прыгали, ноги застучали...

«Только посмей!» – сказал стук Панаеву через Мирского.

– Слушай, сейчас всё скажу! – с угрозой в голосе Панаев крикнул. – В город едет Бегичев!

Перебегая через овраг и с шумом влетая в еловую просеку, Семен радостно кричал приятелю:

– Знаешь, в тот день мы лишь узнали друг о друге, даже как зовут ее, я не спросил!

– Аха-ха! – Коркин смеялся. – Думаешь, я поверю, ты же выдумщик!

Поистине, в тот день, когда Семен встал на белую линию, он лишь увидел блик чего-то нового, но пойти за этим он не смог тогда... – я не пустил, в этой сказке я злодей очевидно!

– Почему-то тогда Текст на меня просто взъелся, – Бегичев говорил. – Капризы его, склоки и эта вечная тупая истерика...

– Постой, у вас же с ней еще была встреча? – Коркин на бегу его перебил.

– Девушка эта сама тогда ушла от меня, – отвечал Бегичев, – сказала, что нам еще рано быть вместе, сказала: сижу я на этой скамье лишь затем, чтобы тебя увидеть, да привет передать!

– Привет? – Коркин за ним повторил.

– Привет от белого снега, синего неба, от радуги... – выдал Семен будто что-то родное, а потому смутился.

Беспечный Коркин тут вдруг застыл на месте, но Семен этого не увидел и дальше говорить продолжал:

– Печатный тогда был просто в ярости, он мучил меня, писать заставлял, – тут Семен весь напрягся, – тогда-то мы с ним по городам и поехали... ох уж эти мне почтовые безобразия!

Было дело!

– Перебираясь с места на место, – сейчас Семен говорил, – работая по ночам, что-то всё время редактируя, я не мог и вздохнуть, печатный после того случая с девушкой совсем распоясался!

– Наверно, он чем-то был напуган? – спросил Николай.

– Наверно, – Бегичев отвечал, – тогда я еще этого не знал, но он был напуган... напуган другой силой, силой ему равной, тем, что могло его теченье прервать!

– Что же это? – Коля тут так и замер.

– Другой этот верно не хотел, чтобы я его видел, я сам его начал было искать... но тут Текст повлек меня уже на все тяжкие...

Подлинна истина: зачем людям в жизни линии всех цветов радуги, когда есть черное и белое моего листка – то высокое, к чему можно идти, чему можно жизнь посвящать!

Я надменен?

– Поначалу, это даже, может, было и занятно, – Бегичев шептал, – любой бы другой на моем месте сразу же, верно, взялся за эту миссию – вводить в свет тело существа из газет и других бумажек! Поначалу оно хорошо мне платило, я бед не знал – по цифрам, по буквам находил еду и кровать, мог узнать имя любого человека. Наверное, это и мило, всего-то что нужно: писать да письма в ящики опускать... но потом я узнал, что всё имеет свою цену – люди должны жить обычной жизнью, иначе они погибают!

Монолог этот, конечно, полная ерунда, я бы его опустил (уж очень коряво), но поймите меня, я не знаю что такое – жить красиво!

Наверняка вот в чем сила автора – он может легко устроить судьбу персонажа!

– Он писал роман... – Семен говорил. – Дело не легкое, если при этом ты еще хочешь писать правдиво!

Простая истина – пиши то, что видишь!

– История его, как ты мог понять уже, была про меня – про Бегичева!

Сюжет был очень яркий! (Красота для меня, я вот думаю... – это союз букв и слов, а уж потом только интрига!)

– Месяцами я бегал по буквам, – кричал Семен, – ничего не видел, мой мир стал совсем текстовый!

Ослепший Бегичев вначале вообще не мог понять того, чем мы с ним заняты, он просто делал то, что я ему говорю – искал нужных людей, отдавал им послания...

– ...Исподволь я все-таки стал вникать в его цели; когда он убегал по делам, я читал те самые письма, которые были написаны моим паразитом...

– Что же там было? – Коркин спросил.

– Интересно, что вначале, – Бегичев говорил, – он хотел как бы доказать факт, что такое существо, как он, вообще возможно, ведь только единицы могут видеть его, у людей еще нет того восприятия...

Толку от этого почти не было, так... лишь суета!

– Правдивым научным языком он излагал идеи о том, каким таким образом буквы в мозгах людей могут в существо совпадать...

Аха-ха-ха!

–...Конечно же, – Семен тут добавил, – я знаю, над ним лишь смеялись!

Смеялись, смеялись, все смеялись... но до того времени пока я на самом деле не появлялся!

– Понимаешь, любая идея, пусть даже самая пустая, если она дошла до адресата, может стать заразной... – она ведь имеет дело с сознанием...

Бородатые врачи, ученые в очках рты разевали, когда им казалось, что они более не умеют читать, или что через текст некто с ними общается... кто-то потом пить бросал, кто-то вновь тянулся к стакану, кто-то в лес уезжал, – им, конечно, казалось, что они сходят с ума, что у них проблемы с рассудком! Поделиться же бедою с родными, с друзьями – тот выход, который отчего-то всегда помогал, общение исцеляло... однако в чем причина этого недуга, никто не знал, и лишь только байка про почтаря, что возит дурные письма, которые потом вдруг оживают, всех очень пугала и весьма быстро с помощью сплетни по свету разлеталась...

– О-хо-хо, – сейчас охал Семен, – за мной же бегали!

Поймать хотели, искали, но с ним всегда был Текст – его охрана, его хозяин!

– ...Наперед он знал всегда, где можно скрыть меня, куда уйти, куда не ходить, где будут искать, а потом он всегда этим мне угрожал, мол, если не по-моему, то другие накажут, но уже физически...

Как же еще?

– Неизвестно, сколько бы это тянулось, – Бегичев говорил, – однако скоро я узнал нечто такое, после чего у нас с Текстом уже не могло быть наверно ничего общего... нечто такое, что так просто с рук не спускалось...

Принцип, у вас ведь, люди, у каждого есть принцип!

– Поначалу... – Семен шептал, – я думал, Текст занят делом, думал, он пишет нечто такое, что его природу, так сказать, извиняет... Научная работа о нем же; может быть, в нее бы никто не поверил, но ему бы это помогло, а потому и я не мог уйти от участия... – как бы он мне не был противен, я всё же ему сострадал...

Друзья, друзья... может быть, тогда мы были друзья?

– Что же в этот раз он сделал? – спросил Коля с улыбкой.

– Знаешь ведь уже, – Семен отвечал, – он стал писать роман про меня, но мало... теперь мою жизнь он делал такой, чтоб хоть какой-то интерес был у читателя...

Частенько так случается – хорошо об этом знаю я, черно-белый – так случается... что автор уходит от своей начальной идеи и, прежде чем на чем-то другом внимание остановить, пробует варианты того, как всё по-другому может сложиться...

– Он экспериментировал!

Поначалу я хотел научный труд о самом себе сделать, но потом мне о Бегичеве стало писать интересно...

– Пожалеть, наверно, можно его... – Семен говорил, – к письму у него не было таланта, ничего хорошего из-под его пера не выходило, всё было как-то сложно, сумбурно и сбивчиво...

Критик! Помню, помню... тогда я очень на него злился!

– Наверное, теперь как можно сильней он хотел свой сюжет обострить!

– И что? – Коркин спросил.

– Говорили потом на железке, что от тех писем кто-то погиб, мол, какой-то критик с ума сошел, а затем на суку удавился... но я этого не знаю точно, – Семен говорил, – скорее всего, это была просто сплетня, подобное же не могло, наверно, случиться?..

Возможно, Бегичев, эту запись ты еще где-нибудь и увидишь: знай, так и было, эту сплетню слух растащил, да так хорошо растащил, что убитых тобой стало несколько!

– Вскоре после того, как я об этом узнал, – сказал Семен, – более я не мог быть героем романа!

– Наверно, нужно было уйти... а как бы ты это сделал? – Коля спросил.

– Наверно... – Семен отвечал со смехом, – нужно было сначала читать разучиться!

Конечно, проще нет ничего, чем забыть алфавит!

– Последнее, помню, о чем мой хозяин меня попросил после того, как я ему сказал, что мы больше не вместе, это – съездить, отдать кому-то письмо с главой романа *Лилейный*... (рассказ о том лучшем, что со мной когда-то случилось...).

– И что?

– Понимаешь, вначале я не знал, что в том письме, и читать его не пытался... но когда я дошел до адресата, то увидел ее – ту девицу, что когда-то нашел на белой линии... – похоже на совпаденье?..

– Видимо это была плата за всё то, что ты сделал? – Коркин спросил.

– О, нет! – Семен сказал. – Конечно, я был рад нашей встрече, но теперь я знал – с ней что-то плохое может случиться!

События, события... Коркин и Бегичев шли вдоль серого озерца, вокруг всё вечерело.

Звук!

Скрутившись пружиной, звук отступившей ноги кинулся на щелчок пальцев правой руки, щелкнул и снова отпрыгнул, метнулся к скрипу двери, скрипнул, дверь им отворилась... – в дом был впущен Панаев Дмитрий Сергеевич, человек не в себе, человек бормочущий:

– Стук, стук... уйди!

Побрякивая связкой ключей, позвякивая мелочью, что была в кошельке, стуча об пол ботинками, звук провожал своего носителя к квартире, откуда можно было тому позвонить, – главное, чтоб не было тишины, главное, не притихнуть!

Очумелый Дмитрий дрожал, его руки тряслись, он еще не был согласен с тем, что стук просил его сделать, а потому говорил как заученное:

– Отстань, я никуда не буду звонить!

– Будешь, – гремел ремонт из-за чьих-то дверей. – Будешь, – кто-то там колотил.

Поднявшись на этаж, Дмитрий постучал в нужную дверь, за которой должен был быть его знакомый, но, к сожалению, никто не открыл, на это Панаев лишь вздохнул облегченно.

– Куда еще нам пойти? – сказал топот детей, что сейчас сбегали по ступеням.

– Оставим записку? – спросил старик жалобно.

– Давай, – ответил шелест веника за чьей-то дверью.

Дмитрий достал ручку, лист, начал скрипеть.

«Страшное началось...» – то, что он успел написать, но потом его рука сбилась, словно б стала чужой, и уже сам вывела надпись: «Упрямец, текст-то не провести!»

Бедолага Панаев бросил листок и в ужасе кинулся вон из подъезда. Осекаясь, меняя шаг, он будто сам себе своими ботами выбивал: «Не убегай, тебе не скрыться!»

Свежий воздух, улица не были в помощь – наглый звук перед ним так и вертелся!

– Вернись назад, позвони! – он говорил, стуча, жужжа, шаркаясь.

– Это преступно! – закричал Дмитрий Сергеевич.

– Аха-ха-ха-ха! – завелся рядом стоящий автомобиль.

Одурелый Дмитрий кинулся бежать вдоль по улице, теперь он не озирался, хотя звук и бежал по его следу, хватался за шорох одежды, сулил в след гудками, сиреной, что если старик не сделает того, что от него просят, он за себя не отвечает и будет для него отныне жутким безумием!

Однако же Панаев на это ничего не отвечал... – может быть, он засунул в уши беруши или еще какие наушники?

Бешеный звук, казалось, не может в свою силу поверить... – он злился, он кричал, он грозил громом и молнией, его детский смех расточал, он вылетел скрипом из-под колес машины, что вот-вот чуть Панаева на зебре не раздавила...

Громкий клаксон – Панаев в сторону прыгнул!

...Перескакивая с места на место, звук клацанья замочных секретов открывал перед Панаевым двери лавок и других мест, где можно было выпить, он скакал звоном монет, что выпали из кармана перед ним идущего человека, он смеялся, он дразнил, он высыпал на улицу звонкие каблучки... – возможно, погоня за Дмитрием пока его развлекала, и он хотел как-то его еще сагитировать?

Безвольный же Панаев, казалось, уже совсем смирился и верно был готов сделать то, что от него просили, но вот как-то найтись самому во всех звуках, что лезли к нему, он не мог, шел быстро, однако уже не знал направления...

Наверняка звук этого и хотел, казалось, он куда-то гонит своего слушателя!

Собравшись спиралью в скрежете, наглый звук от мотора махнул к свисту дверей, не пустив в салон автобуса Дмитрия, шаркнув шинами, вдаль покатил, но скоро вернулся, прыгнув ударом ладони на плечо своего визави, тот повернулся...

– Прикурить не будет? – спросил у Панаева какой-то мужчина лет тридцати.

– Бегите, бегите, в городе дьявол!. – начал было Панаев вопить, но тут вдруг осекся, слышно стало, как его зубы стучат, будто бы что-то отбивая.

«Страшно?» – спросили они у своего носителя.

Безумство, нужно было спасаться!

– Тсссссс! – держа палец у губ, шипел на людей Дмитрий. – Слышите? – он шептал, пытаясь будто какую-то тайну до них донести.

Странным образом в течение минут этак пяти вокруг Дмитрия стояла уже целая масса людей, – словно что-то занятное было в чумном старике, чепуху мелющем.

Наверняка Панаев не мог уже себе даже верить, но в этой толпе, где он был теперь центр, его кое-что привлекло... – странную речь кого-то с кем-то он своим чутким ухом тут смог различить.

Нервозный Панаев поначалу затыкал себе часто уши – сносить он больше не мог того, что наглый звук лезет к нему отовсюду, – и, находясь среди людей, которые между собой о чем-то болтали, он стал слышать их речь как бы порциями, и эти кусочки в какой-то момент для него в четкую фразу сложились:

– ...Посмотреть хочу, что это тут происходит! – сказало многоголосие.

– Крепкий орешек этот, что в центре, давно за ним гоняюсь! – десяток ног стуком кому-то будто ответил.

– Вечереет уже, нужно быстрее... – сказала толпа, а потом одним сгустком влезла в автобус, что сейчас подошел к остановке.

Какой-то парень не успел на него и теперь в дверь колотил:

– Наверно успею... – это стук кому-то ответил.

Бедолага Панаев снова остался один, ноги его тряслись.

– Бежать, бежать, надо бежать... – сказал он, и быстро пошел вдоль по дороге.

Сколько еще всё это длилось, не знаю, но мне сказали, что Панаев в тот день решил уйти из города, в котором он прожил столько лет, дошел все-таки до КПП... а уж дальше наверно его история не имеет значения.

Перевертывая стакан с водой и глядя на свет через тонкую струйку, что в лучах солнца имела все цвета радуги, она словно бы признавалась:

– Ничего больше у нас уж не будет, но ничто не смеет убить нашу любовь!

И если бы Бегичев не любил правды, он бы ответил:

– Конечно!

Однако уж больно всё у них было как в книжке, как в романе...

Встретившись когда-то на белой линии, они уж более друг друга забыть не могли и знали верно теперь, что когда-нибудь они будут вместе... – спустя год Бегичев пришел к ней с главою романа *Лилейный*, и это, конечно, не стало для них совпадением...

– Наконец-то, – сказала она, как только узрела на пороге своего дома силуэт слуги Текста – Бегичева, – я знала, что ты идешь ко мне по этому адресу, и я не могла три дня убежать из квартиры...

– Послание, – ответил Семен и строго конверт протянул.

Девушка молчала, будто больше не смела ничего сказать, Семен был спокоен, он гордо стоял, ничего не говоря, ничего не выражая, он будто не узнал свою подругу... конечно, уже через какое-то время он весело хохотал, но в ту первую минуту, когда увидел ее, может быть, он уже понял: с ней что-то случится...

– Наверное, это не для меня... – сказала она, но всё же приняла послание.

Барышня эта – сразу скажу ее имя: Света, – видела мир как игру света и тени, четкие линии были давно уже ей невидны...

– Уходим? – спросил ее Бегичев.

– Помоги, я не вижу где ты... – шепча это, она стала рукой вокруг шарить.

Девушка взяла своего визави за руку, что тот ей робко подал, сжала, и так, храня тепло друг друга, они убегали...

– Постой-ка, ты что, ничего не видишь? – спросил ее на бегу попутчик.

– Сиреневый, а вот красный... вижу я лишь цвета, – знаменуя пальцем те вещи, что сейчас были вокруг, она говорила и улыбалась.

Сколько времени был с нею Семен, год или ж день... он бы и сейчас не сказал, но всё было как в книжке, как в романе, что, верно, где-то и кем-то писался...

– Выходит так, что ты читать не умеешь? – спросил весело ее он тогда же, а потом стал корить себя за свою скорую радость.

– Страшно, но я уже не знаю грамоты... – сказала она, и тут видно стало – ее что-то смущает.

– Страшнее всего бегущие впереди строчки романа... – ответил зачем-то на это Бегичев и шагу прибавил.

Молодые люди бежали, и было странно... – Бегичев давно уже не ходил и тем более не бегал по городу вот так вот запросто, чтоб совсем не взирать на те приметы и символы, что Текст ему на столбах, на витринах оставляет, но теперь этот демон как будто куда-то делся, удалился, а может, просто Семен его не видел и, уже сам ничего не опасаясь, широкими шагами, держа Светлану за руку, через дорогу перебегал.

– Подскажи, ты хочешь чего-нибудь? – кричал Семен своей девушке.

– Наверно, жить красиво, – та, смеясь, отвечала.

– Как это?

– Бежим! – та влекла и велела.

Показывая пальцем на улицу впереди, она сказала, шепча, что ходит всегда лишь по белой линии, этим же путем, по ее словам, Семен смог бы убежать от своего паразита...

– Погоди-ка, но я ничего не вижу, – щурясь в улицу и кусая губы, Семен говорил.

Девушка злилась, хлопала его по груди, скалила белые зубы и, смеясь, шипела, что еще не время, что еще многое надо сделать для того, чтобы достичь этого виденья. Конечно же, Семен знал, о чем она ему хочет сказать, на что наводит, но теперь он видел лишь ее губы, глаза, милую улыбку... – он не мог не прижать ее к себе, и поцелуй, верно, должен был стать венцом этой картины...

Ошеломляющая стена света в этот миг сошла на Бегичева, глаза съела, он еще не понял, что это, но оно шло точно извне, было чем-то, что било по его зрению... – сперва мир будто пыхнул белым светом, но это на миг, а уж потом волна всех цветов все собою накрыла, уронила на асфальт слепца Бегичева и, не пуская от себя его взгляда, принялась метаться вокруг него струями краски всех цветов и нюансов... тянула в калейдоскоп сумасшествия!

Подвернув под живот локти и не в силах глаз скрыть, Семен видел, как перед ним маячит силуэт Светы, девица в белом махала руками, кричала: – Прекрати! – однако мир так и брызгал яркими цветами, слепил до рези в зеницах, дыханье уж иссохло, казалось, что это не кончится...

Дрожащими руками Семен достал из кармана свою барбариску – то, что по опыту могло укрепить его восприятие!

– Прекрати, в нем нет ничего опасного! – кричала Светлана.

Почему-то цветная буря не хотела униматься, Бегичев видел, как вещи вокруг цвета меняют, как всё блещет и быстро моргает...

– Друзья, мы с ним лишь друзья... – кому-то Света вещала. – Ничего от него не хочу... но только помощи!

Постепенно буря стала утихать, больше уже ничто не мигало, и странно – казалось теперь, что мир не такой уж и яркий, а больше серый, и мало в нем красочного!

– Давненько со мной такого не было, – сказал Семен, встав на ноги, когда всё кончилось.

Теперь он видел людей, что вокруг него стояли.

– Урбус, тебе-то чего... – шипела зло Света на массу, что уйти никак не желала.

Переводя дыхание, Бегичев подошел к Свете и хотел было взять ее за руку, но та ее в карман спрятала.

– Послушай, тебе не стоит меня целовать, – она сказала с тревогой.

– Целовать? – спросил Семен, не зная еще, как о его порыве узнала Светлана.

Напомнить хочу о себе – я, печать, могу видеть мысли людей, но лишь в словах и буквах, образы же мне не даются, я не вижу того зримого, что рисуется вашей фантазией!

– Наверное, ты хотел это сделать или как-то подумал? – Света спросила.

– Конечно, – Бегичев отвечал. – Отчего-то я захотел сделать так... что же, я не могу об этом даже подумать?

Девушка взяла своего друга за руку, подвела к себе и очень тихо сказала:

– Скоро я уйду из этого мира, меня ждут... – лишь за грань шаг, но я боюсь! – с ее глаз слезы текли.

Большая светлая сила когда-то давно, когда Света была еще юной, о ней узнала и не устояла, к ней пришла белой линией, за собой позвала, открыла секреты: цвета, краски, оттенки... словно в сказке, девица болтала с чистой магией о себе, о том, какие дела у нее в школе, о том как трудно жить, если плохо видишь... – тогда-то и стала ее жизнь другой: за белым лучом, что, верно, солнце родило,

девица из дома бежала, шагала по улицам, и как же ей было весело, когда это нечто из света и тени новую байку травило о чем-то, что в свете творится...

Однако как обо всем этом она сейчас могла Семену сказать?

– Знаешь, ты здесь затем, чтоб меня в мир цветов увести!

Девчонка эта долго ждала того часа, когда она будет девой, он настал и более уже ничто в доме родном ее не держало...

– Увести? – Семен спросил.

– Посмотри на меня, – сказала она, – знаешь, скоро я в лучах солнца растаю, телеса мои упадут, я буду другой... но этого не будет, если ты мой лик на холсте не оставишь!

Сходилось так, что девушка эта и белый цвет: зеленый, синий, красный (по настроению)... – бог всех волн и оттенков, когда-то давно друг в друга влюбились!

– Скажи, что с тобой? – Бегичев ничего не понимал.

– Понимаешь...

Наверняка этого никто из людей не мог и увидеть – свадьба по размеру, наверно, с планету в шуме и гамме цветов неслась по пляжам Бразилии; суженый со своей свитой собирал наряд для невесты – белая фата, которую можно было увидеть, наверно, лишь из космоса, была соткана из машин, маечек, зонтов белого колера и шла ровным шлейфом вдоль Южной Америки; но какой был ритуал: невеста стояла в свете сотен огней на вершине высокого здания посреди столицы, их венчала толпа, что пришла сюда вначале просто потому, что в этом месте музыка, подруга жениха пела очень красиво... праздник был великим: сыпались деньги, они не могли не прийти, мерцал текст на зданиях своими тостами, музыка и стук сотен ног под конец в танце слились, и места тут всем уже не хватало, толпа стала буянить, однако ж к утру все ушли, и лишь мусор один как всегда остался лежать пьяным посреди этой площадки...

Светлана глядела на Бегичева, и ей было тоскливо.

– ...Как его зовут? – Семен спросил.

– Людивец, – та ответила.

Интересная жизнь началась у Светы и Белого Цвета после того, как они женились, – девушка, ступая за ним, всегда была меж ним и людьми: тысячи лиц, тысячи историй... – больше всего они любили странствия. Переезжая с места на место, Светлана открывала для себя мир: новые краски, новые оттенки своего избранника.

– Я растворюсь! – сейчас она с болью призналась.

Получалось так всегда, что Светлана видела Людивца, но коснуться как-то его, взять в руки, обнять у нее не выходило, – девушка бежала за ним по улице, видела его силуэт в белых платках, в белых маечках, да и он к ней тянулся, но в тот же момент был абсолютно недостижим... Временами она, конечно, пыталась схватить рукой это родное ей существо, но в руке всегда оставалась либо какая-то белая тряпка, либо бумажка, и в ней уже не было жизни, той жизни, которую она сейчас перед собой наблюдала. Несомненно, это ее тяготило, но выхода не было – любила она его только глазами, он же не мог к ней из своего мира выйти... – человек, как же трудно тебе такое переносить!

– Ненавижу я лишь одно, – сказала как-то Света Семену, – себя как человека!

(Конечно, теснота, боль и никакой свободы!)

Интересно сейчас, наверно, поведать о том, как Светлана общалась со своим Людивцем. Бесспорно, Светец не мог видеть мысли людей так же, как я, Текст, через слова и буквы, видел же он лишь образы, что мысли рисуют (скажем, букет цветов, сочное яблоко), говорил он по-иному, в его власти не было печати, но лишь цвета и краски, а потому он только этим и обходился...

– Посмотри! – кричала Семену Света, когда они шли по дороге за ее супругом. – Посмотри, на белой линии цвета: зеленый, алый, черный, еловый и шорты вон на том парне – маисовые!

– Что это значит? – Семен спросил.

– «Зачем?», – Света ответила. – Так мы с ним беседуем!

Перебегая с синей кепки на еловые кеды, с них белым пером на поясок цвета индиго, белый платок слетел на черный пиджак, а белый шнурок прыгнул на кофту в цветах: ель и маренго... – «Сейчас»; – янтарь – «я»; – и тут: золотой, алый, медный, охра, лаванда, черный, умбра жженая... – «... замолчу!» – вывел Людивец это короткое, но емкое сообщение.

– Видел? – Света спросила.

Первая буква в имени цвета – это одна из букв в слове, что Светец писал своим телом, бегая по одежде.

– Почему-то нет, – ответил Семен, а потом сорвал на ходу со столба какую-то бумажку.

Отношения, как Бегичев заметил через какое-то время, между Светой и ее Светцем были натянуты, и если уж честно, носили больше все-таки глухую окраску... – молодые часто друг с другом ругались, то Света корила его в том, что он ее не хочет понять (так и кричала), то он, судя по фону, упрекал ее за то, что она на него глаза закрывает... Причиной этого, как можно было видеть, являлось их большое различие, и даже не в видовом плане, а, так скажем, в характерах...

– Неужели ты не видишь, что я девушка, и я очень утомлена... – кричала на всю улицу Светлана. – Прекрати сейчас же метаться и будь со мной рядом, куда ты опять убегаешь?!

Сообщим сразу, у Светца была куча мелких изъянов – он не мог долго сидеть на месте, ему вечно надо было куда-то бежать, то он улетал в Африку, то куда-то на край света в Канаду, и ладно бы... но он мог по три дня не прийти, а когда бежал уж назад, то часто путал свою гамму красок и был вечно грязный. Девушку это сильно обижало, но больше всё же ее бесило, когда Светец прыгал по одежде других красавиц...

– Негодяй, – сквозь зубы Света цедила, – теперь только посмей ко мне подойти!

– Чего он там еще? – ехидно смеясь, Семен просил поведать.

Конечно же, больше всего ее обижало то, что муж ее не мог нигде и никак руки ей подать, как-то помочь, и только наверно одно – он всегда ее мог согреть: то лучи со всей улицы к ней стянет, то как-то дорожку под ногами пытается освещать... ну а еще советы его – куда идти, куда не ходить, как деньги достать и кого стоит ей опасаться. Наверное, однако, этого было мало, девушка молчала, но всё равно было понятно, чего ей не хватает... – ох уж эта природа, это желание ощутить тепло другого человека, к чему-то живому прильнуть!

Понимаете, наверное, что Бегичеву сильно от Светца тогда досталось...

– Какого черта, – бывало, орал Семен на чей-то белый платок, – ты ведь сам меня к ней привел!

Поистине Людивец сам в первый раз привел Бегичева к своей подруге... – но чем это было вызвано, что его побудило?

Признаюсь, если бы он знал, что будет так – что Семен, шагая за ним, увидит ее и упадет, – он бы не стал их сводить, но тогда он этого не понял, хотел же лишь одного, чтобы мастер ее образ на холст перевел... ведь Светец сам никак не мог Свету увидеть, а тут был шанс через кисть Семена ее ощутить, коснуться.

Закрутилось же всё совсем по-другому, девушка какое-то новое чувство в себе почуяла... – но как же мог ей человек полюбиться?

– Ненавижу больше всего я твоего дружка, – когда Семен остался один на один со Светцем как-то на улице, тот ему высветил.

– Видишь, хоть в чем-то мы схожи, – Семен сказал, – я тоже его не сильно люблю, от него одни гадости!

(Речь была про меня!)

– Дурацкое это письмо, зачем я Свете сказал, что ты к ней идешь, зачем она осталась в той квартире? – светило всеми цветами это чудное существо.

(Конечно, вы уже поняли, Бегичев выучил азбуку, на которой Светец с людьми говорил, – все цвета изучил, все оттенки!)

– Почему же Текст так сделал? – Семен задал вопрос. – Почему тебя, своего, так подвел?

– Гаденыш считает, что нам не стоит с вами иметь ничего общего, – Светец цветил, – а вообще он очень завидущ!

Аха-ха-ха, правда, здорово – супруга идеала глядит пылким взором на другого... так они еще с ним об этом говорят, что-то между собой решают, мучают друг дружку, оба ревнуют... – ну разве это не здорово?

Наверное, никогда так еще Светец вокруг своей Светы не крутился! Красками, цветами засыпал дороги, по которым та ходила, детьми и их смехом до дома провожал... бантики, бусы, белые зонты, шарики улицы насыщали, пока Света у себя отдыхала!

– Послушай, – освещал Людивец Светлану, – зачем тебе этот Бегичев, зачем он за нами везде таскается?

– Помнится, – отвечала Светлана, – ты когда-то сам мне говорил, что картина мастера может меня, мой образ, в твой мир перенести!

– Понимаешь, ты мне и такая нравишься! – красными тонами Цвет взорвался.

Колонна детей лет пяти шла рука об руку со Светой... детвора плакала, визжала, всеми цветами хотела что-то ей объяснить...

– Говори, Света, мы вместе? – Светец по-злому блестел.

– Да, да! – та нервно ревела на детишек.

Никогда ни Свету, ни Семена другие люди не могли понять... – всегда так было: они шли по улице и громко сами с собой будто о чем-то болтали.

– Аха-ха-ха-а! – тряслась от смеха Светлана. – Видишь ли, Семен, у меня так же... иду по улице и, такая, будто сама с собой говорю... а люди думают: девка совсем голову потеряла!

– Перестань, – Бегичев, смеясь, говорил, – я давно уже на людей не гляжу, ведь им же не объяснишь!

Конечно же, между этими двумя было много общего, два блика – один из текста, другой из цветов, но если даже судьба – то самое, что нас по жизни ведет, – пустое... то эти люди точно знали, что их свело, однако ж теперь в их душе было нечто другое: чувства друг к другу предали ту белую линию, которая их когда-то столкнула!

Возможно, сначала это ощущая, они не могли заявить вслух о своих чувствах, однако чем больше они друг с другом общались, тем всё сложнее было хранить эту правду, особенно Светлане...

– Знаешь, как меня в первый раз нашел Светец? – она как-то Семену задала вопрос.

– Как же? – нехотя Семен спросил.

Молодая, тогда она была еще совсем молодая... грезила о людях, о каких-то чужих городах – о том, чего не могла сама увидеть, – и опуская в краски палец, почти слепая, марала белые листы, все это в мыслях пытаясь себе самой показать.

– Однажды я так сидела, – Бегичеву Света сказала, – марала бумагу, а потом вдруг мысль пришла: что если кто-то другой так же, как и я, сейчас сидит где-нибудь, скучает и рисует точь-в-точь то же самое... может быть, наши мысли с ним как-то сходятся, совпадают?

Бегичев не верил своим ушам – ведь то же самое... та же идея когда-то давно его посетила!

– Казалось так, что рисунки мои оживают... – Светлана добавила.

Вспышкой Светец вошел в ее жизнь, цветами пальнул в ее слепоту, она его сразу увидела: ведь так и было – краски ожили, стали звучать, стали двигаться. Людивец пришел и принес в дар самое дорогое – виденье! Понимаете, конечно, что зрение ее не стало лучше, но теперь она словно прозрела: это существо вело ее, было спутником!

– Конечно, – кивая, сказал Семен, – эти блики разом могут жизнь изменить!

– Светец дал мне этот мир видеть, если ж он уйдет, я снова буду слепая, – ведя рукой по плечу Семена, зачем-то Света сказала.

Карнавал, в это время за окном шумел карнавал! Людивец бесился, метался по улице, кричал – он не знал, всё ли в порядке, ведь в той комнате, где он теперь должен был быть, свет уже давно погасили...

– Послушай, Семен, ты тот, кто будет меня рисовать... – с тоскою шепнула Светлана.

– Подожди, зачем же ты тогда свет выгнала? – спросил Бегичев. – Художник не может в темноте рисовать!

Фейерверк уже за окном начался – Людивец силился через шторы пробиться.

– Боюсь его злить! – глядя через щелку на улицу, Семен тихо шепнул.

«Впусти! Впусти!» – искры салюта кричали.

Произошло всё быстро... рисунок Семена хотел описать Свету в свете сотен фонарей, в свете сотен лиц – он хотел описать ее такой, какой она была в тот первый миг, когда они друг друга встретили.

– Красное платье надень, и пошли к Светцу... – он ей сказал, махнув рукой в сторону окна, за которым сейчас шумел карнавал.

– Неужели ты не боишься, что в твоем рисунке я погибну? – тут Света спросила.

Оживленный Бегичев молчал, он не знал что сказать, – желание вывести образ Светы на холст было сейчас уже такой силы, что его руки тряслись, она же, эта дева, была в этот момент особенно великолепна!

– Ничего не боюсь, – он сказал, – это должно случиться!

Может быть, он уже был не в себе, но как-то уйти от себя... – нет, лишь в свете можно было что-то видеть!

– Включаю! – крикнул Семен и зажег фонарик.

Комната, в которой были сейчас Семен и Света, тут же будто вся огнем пыхнула – в нее влетел Людивец!

– Что тут! – он засиял.

– Помоги мне, – Семен сказал, – я буду ее рисовать!

Бешеный зверек пробежал по комнате, обнюхал каждый уголок, прильнул к окошку, из-за которого не мог до этого ничего увидеть, взлетел к потолку, улыбнулся!

– Рисуй, рисуй! – он занялся.

Быстрым шагом Бегичев подошел к окну, отвел штору – Италия в свете и гаме перед ним предстала!

– Подскажи, ты хочешь чего-нибудь? – кричал сейчас он Светлане.

– Наверное, жить красиво... – та, надевая платье, отвечала.

– Как это?

– Красиво, как в твоем романе... – сказала она через паузу и на месте тут вся забилась.

Дрожащий Бегичев прижал свою подругу к груди и, злобно вдаль взирая, посулил кому-то, что никогда в их жизни не будет ничего, что бы смогло их разлучить... – они долго еще так стояли, их связали объятия, и Людивец не смел вмешаться.

Перевертывая стакан с водой и глядя на свет через струю, что сейчас питала сухие краски, Светлана словно бы кому-то признавалась:

– Ничего больше у нас уж не будет, но ничто не смеет убить нашу любовь!

И если бы Бегичев не любил правды, он бы ответил:

– Конечно!

Однако уж больно всё у них было как в книжке, как в романе... – они оба молчали!

– Стремление к красоте нас разлучит, – отстранив, наконец, своего спутника, Светлана произнесла.

Бегичев плакал, но ничего не мог уже с собой сделать... может быть, он знал уже как-то, что слезы его – это лишь буквы на белом листе, а он – только сгусток чьего-то сознания...

– Кофточка на стуле висит красиво... – наконец сказал он, подвел Свету к окну, что уже было открыто, и стал рисовать.

Беспечный Семен видел новую Свету... нет-нет, ее уже не было и как есть – в теле, в ее тихом цвете, в поступи... – как есть... какой она была в реале когда-то в Италии, он ее не видел, но в шуме толпы у базара, в цвете ночной дороги, в тихом говоре двух дам у столба, в чертах публики у стоянки автобуса – стоит ли мне обо всем здесь писать? – он видел чью-то тонкую фигурку, – мир своей легкой дрожью фраз, вещей, цветов, звуков для глаз Семена ее выделял в гранях улицы одним ровным контуром, уже как-то неосязаемо...

Беспечный Семен как-то знал, что если б Светы не было на этой земле, если б ее не было на этом свете, то тот парень зашел бы в дверь дома не прямо сейчас, но лишь мигом позже, та дама не взяла бы свой телефон, тот старик на своем авто в этот вечер на этой улице бы не появился. Жужжащие, трещащие мелочи, мелочи, мелочи, но из них весь мир как-то по-новому уже собрался, – Светлана своей жизнью повлияла как-то на серию этих мелких поступков...

Беспечный Семен знал, что сам он стоит в том самом месте, где и должен стоять, ведь если бы он лишь на шаг отошел, то картина, что давала ему его подругу, совсем бы стала другой... – хаос света, вещей, звуков, цветов ее бы враз поглотил. Тревожный Бегичев боялся от нее на шаг отойти, но мир не мог замереть, как-то остановиться!

Неужели своей жизнью она что-то в ходе этого мира сломала?

Беспечный Семен, верно, так стоял целый месяц, а потом Света его к себе пригласила. Безумный с ужасом ступил вперед, ступил лишь на шаг в ее сторону... – радость, всё стало так, как он и хотел: Светлана уже не могла тут так нечаянно вдруг умереть, выпавши из окна разбиться!

Беспечный Семен смотрел на Свету, она на него – теперь он знал точно, кем она была для него и кем он был для нее, теперь каждый миг своей былой жизни, даже не касаясь памяти, он понимал как-то по-новому, – связь очень тугая, но совсем еще темная между миром вещей и самой сутью этого бродяги рождала некую новую реальность его восприятия.

Безотчетно, наверно, ответить можно было на всё, не имея при этом знания, само знание было лишь плотью руки этого нового живого разума, который сам по себе, конечно, ничего не знал и лишь сейчас начинал пробовать на вкус окружающее.

Повторяюсь, ответить можно было на всё, не имея при этом знания; о всяком, у кого есть душа – о блике, о народе... – тут можно было все-все сказать, при этом знать, о чем думает существо, знать всё о прошлых его поколениях. Наверняка не зная еще кого-то, можно было в вещах, что вокруг, задолго до появления его как есть предсказать.

(События эти имели место перед тем, как Семен в погоню за мною пустился!)

– Света умерла! – сказал я ему правду. – Выпала из окошка!

Светлый от счастья Бегичев смотрел на Свету, она на него с улыбкой.

– Теперь она с другим! – сказал я ему с реклам.

Странным чутьем Семен видел Свету в мире, где ее не было, пустой контур вопреки всему ее проявлял, – чуть-чуть другим стал мир без нее, но именно это ее возродило!

– Кто она? – он весело спросил.

– Оттенки белого цвета, – я ответил.

Досадно, – однако же, человек, каким бы он ни был, не может долго видеть то, что не есть его природа. Бегичев целый месяц стоял перед новой Светой на улице, но не могло быть так вечно – она исчезла, а то бы он погиб, так как человек.

Дорожный столб, ель, липа... – путники присели дух перевести!

– ...Зачем же ты его ищешь? – Коркин спросил.

– Наверно, – Бегичев отвечал, – демон из текста обо всем этом знал, ведь мы со Светой были частью сюжета, но теперь его нужно догнать – собрать все главы романа воедино!

– Неужели ты хочешь ее вернуть?

– Возможно, когда я соберу все главы, – Бегичев отвечал, – я смогу Свету снова увидеть, ведь она же жива, я уже ее видел, только ослаб потом, глаза закрылись...

Обожженный Бегичев знает, что если он сможет обойти живую печать и собрать все главы романа воедино, – он вернет Светлану, ведь собранный текст дает телесность.

Слух!

– Слыхали, в город едет Бегичев?! – говорил громко кому-то на улице Мирский Федор Петрович.

Интересно, что Мирский даже не знал, кто такой этот Бегичев, ищейка Панаев хоть и потряс его своим визитом, но ничего толком не пояснил, просто крикнул: «В город едет Бегичев!» – и всё, более ничего нельзя было от него добиться, он убежал, визжа про какой-то стук что-то несвязное!

Бесспорно, конечно, у Федора, как у опытного человека, имелись кое-какие догадки по поводу его поступка, которые связаны были с тем, что город их вот-вот должны были открыть, и идея общей истерии в этом случае была наверно уместна, но он никак не думал, что сам может быть этому подвержен... Непонятно почему, но эту новость, что в город едет какой-то Бегичев, Мирский теперь хотел каждому сообщить, странное желание внутри нагло тянуло Федора со всяким теперь этим поделиться!

– Слыхали, в город едет Бегичев! – он говорил это всем, кого видел, более ничего не добавляя.

– Кто это? – люди не могли понять.

Возможно, как-то странно со стороны всё это виделось, однако Федор лишь руками в ответ разводил, сам смущался, но ничего не мог с собой уж поделать... – наверно он хотел в этом во всем что-то для себя прояснить?

– Слыхали... а вы-то слыхали...

Бесспорно, этот человек, как я до этого сказал, был очень склонен к болтовне и по сути своей был большой сплетник, но ведь нельзя же было трепать языком о том, о чем у самого понятия не имеется... – как вообще у него к этой новости такой интерес появился, почему рот его никак не мог закрыться?

– Слыхали, в город едет Бегичев? – к какой-то бабке в синем платке он обратился.

– Слыхала, слыхала! – бабка вдруг ответила.

– Неужели! – Федор так и замер на месте, до того это его изумило. – Слыхала? – тихо он за ней повторил.

Неловко бабка подошла к нему и на ушко шепнула:

– Говорят, он сущий демон, это по его воле город откроют...

– Бабка, да где ты об этом узнала? – Федор спросил.

– Конечно, там... – тут она в сторону рукою махнула, – в лавке все о нем шепчутся!

Странно, но каким-то образом слух сумел обойти Федора, чего никогда еще не бывало, и теперь его нужно было догнать... – Мирский, охнув, скорым шагом пошел в ту сторону, куда бабка ему показала!

Двигаясь по улице, он видел людей, в их лицах было что-то новое – то ли испуг, то ли конфуз, – ему казалось, будто шепот летит отовсюду, будто какой-то секрет люди друг другу глазами передают.

Нетерпение тут его охватило, внутри всё стало зудеть, – казалось, что все вокруг теперь знают то, о чем он и не слышал, что-то тайное, что-то, что и словами не выскажешь.

– Расскажи-ка, чего это тут... – он так и выдохнул, когда увидел у киоска с пивом своего старого знакомого.

– Болтают все, будто бы завтра кто-то важный к нам в город приедет! – семеня скорым шагом прочь от киоска, сказал мужчина и пальцем Мирскому тут погрозил.

– Да кто же? – Федор визгнул. – Кто приедет?

Мужичок на этот вопрос ничего не ответил, только смехом залился – да уж как так, Мирский ничего не знал об этом заезжем?

– Расскажи, расскажи... – умолял мужичка Федор Петрович.

– Говорят, очень богат... – сходу тот начал, – всё скупает, что плохо лежит... говорят, к нам за этим же хочет заехать!

Невольный вопрос тут застыл в горле у нашего сплетника:

– Скажи-ка, что у нас можно купить?

Действительно, в городе не было ничего такого уж ценного, только завод порохов да сараи с какой-то техникой... – в общем, всё то, что было связано с общей секретностью.

– Найдется, я думаю... – мужичок тут ответил и прочь потрусил.

– Вот так дела! – сказал сам себе Мирский.

– Дела, дела! – кто-то, идя мимо, за ним повторил.

Небылица, но вся улица теперь будто об этом одном говорила! Мирского что-то вперед повлекло, он стал слушать невольно прохожих...

– Заезжего этого только нам не хватало, слыхала я, он весьма странный... – дамочка, что шла впереди, своему другу шептала, – говорят, он сам всего в своей жизни добился, сам с нуля поднялся! – добавила она как бы в назидание.

– Как же? – парень сухо спросил.

Мирский стал слушать.

– Болтают, будто бы всё началось с простой монетки...

«Шепчутся, будто б монетки тянутся к нему как магнитом!»

– Заработал, мол, он, когда был совсем еще давно, первую зарплату...

...Радостный бежал домой, а когда в подъезд забегал, то оступился, однако свою ценную поклажу, что в руках хранил, не выронил, убежала от него в щель под пол лишь одна монетка, – ерунда ведь, мелочь, можно было об этом забыть, мимо пройти, как все бы и сделали, но он не сдался... решил ее из-под пола во что бы то ни стало на свет выцарапать...

– Выцарапал, ногти содрал, весь в грязи вымазался, но всё же выцарапал! – сказала девушка как-то возвышенно.

...Наверняка именно тогда-то деньги его и полюбили...

– Как это? – тут паренек спросил.

Интересно, но мало того, что он их теперь везде на улице находил, так они еще и сами к нему в карман заползали. Случалось, влезет паренек утром в битком набитый автобус, ищет мелочь в своем кошельке, а кто-то из тех людей, что рядом стоит, по ошибке в его карман свою сдачу запихивает.

– Всё это сплетни! – смеясь, сказал молодой человек. – Выдумка! – тут парочка вошла в какие-то двери, что вдруг перед ними возникли.

Мирский в пылу даже не заметил, как, шагая за этими двумя, сошел с улицы и вошел во дворы; теперь они в свой дом вошли, и он не смог больше их речь слышать... Зеленая тоска было в горле его тут заныла – внутри всё так и жалось узнать: чем эта история была увенчана?

Горевать, однако, долго ему не вышло, только вроде бы история смолка, как тут же, и минуты не прошло, вновь стала звучать, но уже в речи других людей, что сидели у себя на кухне, в окне, курили, и их хорошо было с улицы слышно... – о чем же они говорили?

–...Наверное, не сразу он понял, что деньги его выбрали, – чей-то баритон говорил, – в городе, где он жил, их было не много, и всё, что он теперь ни находил, считал за простое везение...

Отчего-то денег со сдачи в лавке ему всегда давали чуть больше, чем нужно было сдать по весу, он видел это и честно отдавал в кассу лишнее, отчего-то именно перед ним на улице люди теряли свои кошели, он же этих людей окликал и отдавал им то, что от них убежать тщилось... почему-то именно он три раза подряд выиграл в местную лотерею, правда, выиграл немного, однако ж скоро он решил открыть свое дело, и стоило ему этим только заняться...

– ...Сначала он решил открыть лавку с видео, – чей-то сиплый голос из окна стал шипеть, – снял место и уже готовил витрину...

...Странный деляга в один из дней забежал к нему и чуть ли ни на коленях умолял продать ему эту мебель, мол, она ему нужна позарез, мол, он даст любые деньги, и наш гость продал ее, а вскоре купил новую, но вот беда, точь-в-точь тоже самое и во второй раз с ним случилось...

– ...Наверное, ничего уж нельзя было сделать, – баритон, пыхая дымом, из окна говорил, – он ставил новые витрины, в надежде, наконец, открыть свое дело, а на другой день за ними какой-нибудь торгаш приходил!

Конечно, всё это уже в глаза лезло и, мало сказать, было очень странно, – паренек наш не мог уже этого не замечать!

– ...Поставил всё же свой киоск с видео, а на утро всё его видео вместе с кассой и стулом люди скупили!

Интересно, но делать ему уже ничего не нужно было – за что бы теперь он не брался, какой бы худой товар на полку не ставил, всё махом скупалось!

«Что же это?» – он думал.

Понимаете, конечно, что более всего в такой ситуации человеку интересен не сам процесс заработка, а то именно, почему деньги к нему тянутся, почему именно он такой удачливый!

Возможно, эта история уже конца не имела, но она смолкла, когда окно прикрыли. Поспешно Мирский выбежал из дворика на улицу, жаждая еще что-нибудь узнать об этом чудном заезжем, – как же он ничего еще толком не знал, не слышал, узнавал же все от людей ему неведомых?

Нечаянно вдруг кто-то позвал по имени Мирского, он перевел взор на этот возглас – перед ним стоял знакомый (сосед с его этажа, живущий один в своей комнатке).

– Слушайте, вы не знаете, о ком это все шепчутся? – он спросил как-то стыдливо.

Мирскому сначала на этот вопрос и отвечать не хотелось, он думал уйти, ничего не сказав, – спешил, желал сам всё это понять, но тут вдруг внутри у него что-то стало нервно биться: в десять минут он, может быть еще того не желая, выдал всё, что знал об этом новом заезжем, соседу, а потом, дивясь на себя, развил рассказ в то, о чем сам еще не слыхал... – ерунда, байка, но пока Мирский стоял рядом с соседом, он как-то знал, что люди на улице именно это друг другу говорят, мало того, потом это он сам от них же услышал и, наверное, только тогда удивился!

– Говорят, что он, мол, сам демон, – на улице кто-то шумел, – говорят, все деньги у него из-за этого, что он, мол, знает секреты!

Разбитые дорогой Коркин и Бегичев, неся в руках по сумке, в это время на пустырь выходили.

– Когда-то здесь была шумная стройка... – Коля сказал. – Видишь эти здания? – к Семену он обратился.

Наверное, надобно тут сказать, что наши друзья за своей беседой прошли уже большую часть пути, а теперь совсем близко к городу подошли.

Городок этот был в долине какой-то мелкой речки, они же вышли на пустое высокое поле, которое было покрыто сплошь плитами, из-под которых росла трава, вокруг поля стояли пустые здания, трубы, груды щебня, а над всем этим ясное небо и... вот опять, делая круг, у ног городок.

Достаточно трудно мне всё это описывать, я плохо понимаю эти ваши три измерения – то, как у вас всё выглядит, гораздо ближе мне идея комнаты с книгами – то, как я объясняю верх и низ, а так же силу для вас совсем обычного притяжения.

Безразмерная точка в бесконечно широком пространстве?

Скажите-ка, не чудо ли... вечер, солнце за край леса катится, городок в долине огнями светится?

– Николай, сегодня уже не пойдем туда, давай здесь ночуем? – спросил у Коркина Бегичев, присев на плиту и оглянув локацию.

Наверное, да, на этом месте когда-то был шумный завод, машины ревели, лозунги, а теперь от всего этого остались лишь черепа зданий и длинная тень от пяти труб, что тянулась к городу в долине своими пальцами.

– Интересно, когда-то давно здесь завод должен был вырасти... – улыбаясь, сказал Коля и махнул рукой на коробки строений, – но почему-то, когда уже почти всё было готово, стройку закрыли, а теперь лишь четыре цеха работает, на них весь наш городок держится...

Бегичев головой покачал.

– Скажи-ка, что же тут делают?

– Снаряды, пороха, салюты, – с улыбкой Коркин на вопрос Семена ответил.

– Наверное, народ отсюда уезжает? – спросил снова Бегичев и взором к городу обратился.

Николай кивнул неловко.

– Ничего, – Семен сказал, – скоро сюда поедут...

Оглядывая городок, Коркин, было, еще хотел узнать, почему Семен так решил, но тут он сам сказал, указав на крышу здания, что стояло за их спинами чуть в отдалении:

– Послушай, Коркин, может быть, нам туда пойти, там еще солнце, и видно оттуда побольше?

Поднявшись на вершину, путники решили перекусить – в сумках Коркина нашлись какие-то припасы съестные, оставалось их только приготовить.

– Николай, может, нам костер развести? – спросил Бегичев у Коркина. – Посмотри, сколько тут всякого хвороста!

Поистине, на крыше здания, на которое они взошли, словно бы в саду, росли какие-то деревья.

– Давай! – Коля ответил.

Странная живость теперь у путников возникла, они стали собирать ветки и скоро, сами того не заметив, собрали целый ворох с хорошим излишком.

– Не много ли? – спросил Бегичев у Коли с улыбкой.

– Выходит, ты ищешь Текст для того, чтобы собрать все главы и вернуть свою подругу? – вдруг его Коркин спросил.

Задумчивый Бегичев ничего не ответил, он присел перед ворохом и чиркнул спичкой, однако костер не тут же занялся, но что-то будто ожило в ветках, что-то стало там шевелиться.

– Николай, – после паузы он сказал, – мы же не видим всего, вот, скажи, зачем я тебя сегодня встретил?

– Наверно Текст так устроил, – тихо Коля ответил.

– Восемь, девять, десять, – Семен сказал.

– Что? – Коля спросил.

– Наверное, это то, что Текст за мной записал? – ответил Бегичев вопросом.

– О чем ты тут? – Коля не понял.

– Почувствовать незнакомый запах нельзя, – ответил грустно рядом сидящий.

Николай ничего понять не мог и часто хлопал глазами.

– Понимаешь, Текст в этой истории не главный, – говорил Бегичев, – но есть то, что ведет и его, то, во что он никак не может поверить, то, что поистине необычное!

– Что же? – Коркин спросил.

Действительно, трудно мне не повторять за Бегичевым, если он что-то сказал, то это сразу становится моим телом, то есть текстом; кое-что я, конечно, могу опустить, однако же всё, что касается сюжета, мне приходится вам рассказывать...

– Посмотри, – Семен сказал своему соседу, – я лишь спичкой чиркнул, а какое пламя занялось!

Щелкающие, озорные огоньки от костра летели, и ими уже сумерки означались.

– Постой-ка, постой, – Николай вдруг возопил, – о чем это ты говоришь?

Помешивая палкой угли, Бегичев не спешил с ответом, он о чем-то думал, о чем-то про себя рассуждал.

– Знаешь, – после паузы он начал, – я ведь тоже часть текста, его герой – то малое, что ведет сюжет, курсор – то, что бежит по этой строке!

– Скажи, по какой строке? – не понял Коркин.

– Понимаешь, есть строка, – шептал Семен, будто сам с собой вел беседу, – строка, на которой всё завязано в этом мире, она есть, но только прочитать ее никто не может, это невозможно...

– Что это?

– Наверное, закон, что всё собой образует... – ответил Семен быстро и отломил хлебную горбушку.

– Серьезно? – прыснул смехом после паузы Коркин и за бутылку пива схватился.

Серьезным взором друзья друг на друга смотрели, может быть, они ждали друг от друга каких-то слов или им сказать уже было нечего... но сказать было что... а может быть, они паузу дали для того, чтобы я не мог за ними записывать?.. Непонятно почему, но они вдруг стали смеяться: «Ваха-ха-ха!» – вырвалось, – «Ваха-ха-ха!» – только я и слышал потом, но ведь я же, печать, не знаю, что такое смеяться, всё путается, я слепну – нестерпимо!

– Аха-ха-ха-а! – кричал Бегичев и ползал по бетону, – объяснил, он всё объяснил, всё расписал, всё по полкам разложил!

Засунув руку в свою сумку, Семен вынул какие-то бумаги, выбрал один из листов и Коркину протянул.

Черновики

«Развивающаяся материя, оплетающая строкой ДНК камень, ищет пути для того, чтобы поднять этот камень, – так рождается человек: ему известно как и что делать: как добыть, как забрать, как не болеть, – он видит всё, что ниже его: животных, неживую материю; атомы, их строение (и всё ниже и ниже...), – с низу, со стороны атомов и прочего человек не видится как человек, но вот может ли сам человек увидеть что-то, что выше него самого, что-то, в чем сам человек лишь элемент, только кирпичик... – так человек (его символы) оплетает новую материю – духовное... – что-то, что нельзя понять, что-то, что нельзя преодолеть, но то, к чему можно приспособиться...»

Рождается в символах новая жизнь, новый бульон, но только из букв, нот, цветов – всё то, что человек называет искусством.

Абонементы, граффити, фантики, флаеры, стикеры – смешение потоков информации. Множество цифр, букв, слов, значений между собой пересекается...

«Я – текст!» – вот что-то уже сказало.

«Совпадение! Бывает же! Как мир тесен!» – вы все говорите и удивляетесь.

Приливной риф: авто, как рыбки, час пик, как волна, дома-кораллы.

«Переходящая из состояния организации атомов к организации атомных цепочек материя со временем переходит к организации культурных символов – рождается точно так же спираль ДНК, но уже культурная, теперь слова и знаки – это белки и аминокислоты...»

Наверное, человек не может увидеть то, что стоит над ним, он только знает, что это хозяин, так же собака смотрит снизу на вас, люди, – не видит сознания.

Возможно, вы думаете, что Текст так говорит, потому что считает себя выше человека? Наверное, нет, наверное, Текст тоже человек – его сознание такое же, только телом он с вами несходен (многим же похож, и даже телом, ведь кто-то из вас уже в тексте, и видят его другие люди лишь через переписку...)

«Наверно я человек, но почему я стал таким, что меня таким сделало, почему жилы мои – строчки?»

Наружный мир человека – это духовный мир существа, которое стоит выше любого из нас, выше общества. Действия людей, всё то, что нас окружает – это сознание нового организма. Наверное, то же самое есть и у нас, по сходящей: в каждом из нас есть собака – то животное, от чего мы когда-то ушли, то скрытое, что нас организует.

Спросите: как всё это устроено?

Наверно, ответа нет и быть не может в мире людей, но нужно через грань перейти...

Думаете, я, Текст, знаю, почему я ожил, почему я думаю и могу всё это сказать, но вы сами только недавно узнали, что у вас есть ДНК, что есть гены, – больше вы не узнаете, это предел; то, как Текст стал живым, – это сфера чего-то другого!

Конечно, есть законы, но можем ли мы их осознать?

Понимание того, что есть что-то выше и мы лишь часть этого – уже много, это уже путь к осознанию!

«Текстовое же сознание – это лишь часть большого процесса, в котором есть и другие участники...»

Завихрения происходят в мутной жиже, что-то шевелится в растворе, что-то ищет энергию для того, чтобы выйти из глубины, общество – тонкая пленка сознающей материи на земной поверхности.

Вероятно, я зря говорю об этом, ведь когда видишь что-то, что никогда не сможешь понять – и идти дальше не хочется, ведь люди верят, что у них нет предела, что они всегда в развитии...

Сплетаются с музыкой потоки белого цвета в танце, тысячи ног один ритм выбивают, толпа шевелиться...

«Соединяясь, собираясь по случаю какого-то события – мы одним ритмом пульсируем!»

Текстовое сознание, и какое не приведи еще, – причина вашего развития, ваших мыслей, ваших движений!

Переходя из точек, тире в обличие строчки, писчий бежал по книгам, прыгал с газет на газеты, частил быстро по прописи – он искал того, кто смог бы его понять, того, кто смог бы его увидать, он искал идею, он жадно искал человека.

«Идея, идея! У меня есть идея!» – кричал студент Бегичев, сбегая по лесенке в камбузе своей академии.

Скажите, какой закон эту строку составил?

«Наверняка высшая система, что над нами стоит?»– Семен у меня спрашивал.

Получается так, что буквы вовсе не для того, чтобы люди могли меж собой общаться, но для того, что бы я смог на свет появиться, а весь ваш интернет, ваша почта – это не средство, а уже нечто живое, и все ваши письма вовсе не для переписки!

Общаетесь вы, танцуете, рекламу на домах пишете, рисуете лишь для того, чтоб жило нечто высшее, нечто невидимое!

Перерождаясь из состояния палочки и точки в крючок, а потом, через а, в троеточие... мир говорит, разевая свое двоеточие: посмотри на эти буковки, (крючок!) смотри: б у к о в к и, сложи их – тире: прочти то, что пишется: две точки: ты видишь меня, ты видишь меня: слова, текст, повествование!

Читающий, а теперь скажи, к чему твои глаза сейчас так влеклись?

Алексей ИЛЬИЧЁВ

Алексей Валентинович Ильичёв родился в 1970 году. Жил в Петербурге. После восьми классов школы закончил техникум. Служил в армии, работал на стройке. Рисовал, писал прозу. Увлекался восточной философией. В феврале 1995 года вышел сборник его стихов «Наброски равновесия». Летом 1995 года утонул под Москвой в возрасте 25 лет.

Отсканированные рабочие тетради Ильичёва предоставлены Вячеславом Ховановым, подготовка текста и публикация Владимира Орлова.

***

Неправда, на свете не больно совсем,
А если и больно, так лучше для сердца.
Теперь отчего-то доволен я всем,
И горем, и счастьем, и жизнью, и смертью.

Теперь мне не надо богатых даров,
Я буду любить, отошедши в сторонку,
И сладкую воду, и горькую кровь,
И тайный огонь, прожигающий пленку.

***

Отряхни меня, –
Пыль это что ли?
И откуда взялась эта пыль?
Сколько глупой и маленькой боли,
Сколько бедной и вязкой судьбы.
Впрочем, что ж,
Разве я заморожен?
Я стою, не касаясь углей.
Не жалей. Или нет, если хочешь,
Мою смерть за меня пожалей.

***

Хрычовка старая, торговица носками,
Головка серная, небритая тигрица,
Оставь носки, мы будем есть куски,
Все, что здесь есть. Стоять! Не шевелиться!
Подруга проволок, сестра больших железок,
Забудь былое, как гнилой базар,
Я сквозь тебя, я ось тебя пролезу,

Я хрысть тебя – и буду пролезать.
А вот, а ты всегда всего боялась,
Смотри теперь, и плачь, и трепещи,
Как жизнь, которая вчера лишь объяснялась,
Полезла, вылезла. Попробуй, отыщи.

***

Сегодня приходили турки,
И я подумал: вот придурки.
А оказалось, эти турки –
Заказчики. А мы – придурки.

***

Выйдем в садик, гусли тронем,
Что так грустно? Отчего?
Мы кого-нибудь хороним?
Не хороним никого...

Отчего же эта мука?
Тот, о ком душа болит,
Говорит нам в этих звуках?
Нет, никто не говорит...

Отчего так все же больно?
Словно бы – не знаю, кто,
Разъедает сердце молью,
Как забытое пальто.

***

Сердцу скучно, сердцу тесно –
Ну ни в чем отрады нет!
Сердцу мало интересно
Содержание газет.

Так скучает в тесном доме
Любознательный щенок,
Ничего не видя, кроме
Вечных тапочек и ног...

***

Что думает глина в руках гончара?
Что думает камень в руках камнетеса?
И мне наступает не думать пора...
Такие ответы сильнее вопроса,

Такая свобода потуже цепей,
Такое молчанье слышнее, чем звуки.
Довольно, довольно, чего уж теперь.
Сложа на коленях ненужные руки,

Пред этой волною, как древо, качнись,
Со всем соглашаясь, во всем потакая,
Так что ж ты узнал? Какова эта жизнь?
А смерть какова? Да едва ли такая...

***

Трамвай идет то медленно, то быстро.
В трамвае едем только я и холод.
Вот остановка, но никто не входит,
И я на ней отнюдь не выхожу.

Негнущиеся пальцы прижимаю
Друг к другу, и, мне кажется, они
Уже живут иною, чуждой жизнью,
И кровь моя им больше не нужна.

1990

***

Как теплый воздух хочется вдохнуть
И подержать в груди, во рту, не выдыхая
Мне хочется слова как проволоку гнуть
Или как глину, вылеплять стихами.

И чувствовать дешевое тепло
И робкую податливость уюта
Шершавые округлости углов
Опять, опять угадывать – и путать.

Вертится мир, как с толку сбитый кот,
И тычет мордой в маленькое блюдце,
Под нос мурлычет что-нибудь, поет...
Слова летят и падают, и бьются.

Я говорю не зная, что сказать,
Не зная, как, не зная, для чего бы,
Мне лишь бы только воздух подержать,
Хотя на то и нет нужды особой.

***

Рыба с выпученным глазом,
Бьясь в последней лихорадке,
Видит все, и видит сразу
В сверхъестественном порядке.
И смыкаются так близко
В остывающем зрачке
Небо, брошенное низко,
Дно в загадочном скачке...

***

На песке лежит немой
С проломленной головой.
Волны прыгают над ним,
Поднимая легкий шум.

Чайка смотрит свысока
На него из-под очков.
С февраля и до среды
Нет грозы и нет дождя.

Ветер в воздухе сплошном
Крутит свой велосипед.

1994

***

Как-то мама мыла раму,
Маша мыла руки мылом.
Что потом случилось тама –
Память глупая забыла.

Запустила ль мылом Маша
Мимо мамы, да в стекло –
Только помню, было страшно,
Крови много утекло.

***

Кто там плакал в отдаленьи
За прозрачною стеной,
Плыл обманчивою тенью
Над обратной стороной?

Кто там плакал непечально,
Беспричинно, налегке,
Ничего не различая
Ни вблизи, ни вдалеке?

Кто же плакал там, не плача,
Не дрожа, не горячась,
Ничего ни в чем не знача,
И насквозь всему сочась?

1994

***

Я веду ногтем по ткани:
Разорвать – не разорвать?
Что как сердце перестанет
Перепрыгивать слова?

Что как музыка сыграет
Так, как нефть горит в воде,
Для себя не избирая
Продолженья в ерунде?

С выраженьем лжеглухого
Слушай, как тебя зовут.
Впрочем, что же тут плохого?
Ничего плохого тут...

***

Это праздник проигравших,
Пролетарская музыка.
Если наши грохнут ваших,
Счастье будет, как заика.
Кулаком заехать в рыло,
Остальное все фигня.
Ты, мой голубь сизокрылый,
Какни сверху на меня.

Белла МАГИД

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ В ОЖИДАНИИ БЛАГОВЕЩЕНЬЯ

1. Сергиевы лавры

В 2011 году, к 100-летию С. В.Петрова, публикаторы его наследия, добавив к вышедшему в 2008 году двухтомнику (Сергей Петров. Собрание стихотворений в двух книгах. – М.: Водолей Publishers, 2008) ещё один, третий по счёту, том (Собр. стих. «Неизданное». – М.: Водолей, 2011) , так и не сумели прервать заговор молчания и умолчания вокруг поэта – несмотря на свои благие намерения Причины тому – внешние, т.е. те, которые можно преодолеть, но не удалось, и внутренние – пока непреодолимые.

Обратимся к внешним: частично повинно в этом халтурное и безграмотное издание двухтомника 2008 года, неполноценное и недостойное автора, о чём уже говорилось (см.: «Звезда», 2009, № 8, почта «Печатного двора»). На опубликованное в «Звезде», между прочим, никто не откликнулся и не возразил, в том числе и автор послесловия, поместивший его в Интернете вместе с поздравлениями составителям и научному редактору, чей «пятилетний труд увенчался изумительным по красоте и великолепным по качеству изданием».

По-видимому, единственным доказательством «изумительной красоты» служит атрибуция поэта – задним числом – Серебряному веку, как это с натужным кокетством изображено на переплёте двухтомника вкупе с греческим Паралипоменоном. Атрибуция эта – медвежья услуга не только С. Петрову, но и всем тем поэтам, кто туда же недавно «Водолеем» причислен – и опять же задним числом (см. в конце третьего тома список вышедших книг). Издательство, пожелавшее на свой страх и риск расширить границы Серебряного века за счёт дюжины русских поэтов из этого списка, нимало не приблизило их к читателю. Так и С. Петров, какое «серебряное клеймо» на него ни наложи, относится уж скорее к Железному веку русской поэзии, взять хотя бы его небывалую по трагизму лирику.

Что же касается «великолепного по качеству», как тогда назвать два огромных списка «исправлений» к 1-му и 2-му тому, скромно помещённых в конце 3-го тома – без указания, что же «было напечатано». Это как же пользоваться таким безграмотным списком? Мало того: в этих «списках исправлений» редакторы не озаботились поместить исправление текстов по окончательной авторской редакции. Сюда относятся, прежде всего, «Спас-Преображение» и «Собор Смольного монастыря» (I, 424 и II, 348). Множество искажений к тому же в этот список не попало вообще: «Мечеть на Петроградской» (I, 549), «Знак. Гильберт-фуга» (II, 118), «Куда? Фуга и вальс» (II, 283), «Присели кроткие церквушки» из Второго цикла «Новгород зимой» (I, 421) и многие другие.

Надо признать, кое-какие уроки всё-таки пошли издательству на пользу: вновь опубликованное «Неизданное» (т.3) разделено тематически (удачно), и опубликован алфавитный указатель по первым строкам (в первых двух томах его не было!); одному из составителей, научному редактору да вдобавок ещё и корректору, единому в трёх лицах (В. Резвый) оставили только одну из трёх должностей – составителя, в которой он в «Неизданном» и пребывает. Корректор, слава Богу, теперь издательский, а не любительский, однако ему, профессионалу, требуется такое всеохватное пространство знания, что, пожалуй, лишь одного-единственного Сергея Владимировича можно пригласить – держать корректуру или, например, ещё Сергея Аверинцева, тоже покойного.

Но и в 3-м томе («Неизданное») я насчитала не один десяток искажений и просто орфографических ошибок. Особенно досталось кантате «Сергий Радонежский» (III, 568) – видимо, тезоименитство Сергея Петрова знаменитому русскому святому оказалось для издателей неподъёмным: стихотворение «Сергиева лавра» (II, 112) напечатано с безобразными ошибками, «аптечного» вместо «античного», «серо-белого» вместо «яро-белого», «ум золотой» вместо «злачёный ум».

Вывод: внешние причины умолчания о поэте ещё возможно было, в принципе, преодо-

леть, но они оказались непреодолимы из-за халтурности, невежества и катастрофического упадка отечественной полиграфии. Зато уж внутренние причины неизвестности поэта «городу и миру» с лихвой перекрывают всю эту петрушку с орфографией и полиграфией, поскольку они неистребимы. Поэтому обратимся к стихам, ибо именно в них заложена обречённость поэта на непрочтение, и лучше всех это понимал сам С. В.

2. Mir zur Feier

Начиная с 1934 года, чуть ли не ежегодно С. В. пишет себе ко дню рождения стихи под названием «Mir zur Feier» (себе к празднику). Последние «Mir zur Feier» написаны 7 апреля 1983 года (за 5 лет до смерти) – своего рода петровский «Памятник», но, в отличие от державинского и пушкинского, абсолютно беспафосный и с полным сознанием своего предназначения:

и год назад
меня напечатали
не русские
русского поэта,
а кривозубые эстонцы
и сегодня, когда мне стукнуло
семьдесят два,
я повторяю упрямо,
что я как поэт бессмертен,
ибо я родился в Благовещенье

7 апреля 1983 (II, 570)

Если кто и знал его как бессмертного поэта, то это немногие читатели – и наверняка именно они обратили внимание, что он и не помышляет называть себя гением. Ведь бессмертие вовсе не гениальность, которая хоть и принадлежит гению, но не гарантирует сохранность «на вечные времена»; напротив, бессмертие не совпадает с гениальностью ни по границам, ни по сути. Гений принадлежит времени, бессмертный – вечности. Как уже говорилось, он из нашего Железного века, о чём свидетельствует хотя бы его знаменитый (не по популярности, а как знамение времени) «Алкоголь».

3. «Алкоголь» и «Незнакомка»

С. В. обычно записывал стихи (и прозу тоже) в тонкую ученическую тетрадку, где соседствуют разные варианты, а текст пестрит исправлениями. Часто под текстом стоят даже две даты, порой далеко друг от друга отстоящие. В окончательном виде стихи переписывались набело в толстую общую тетрадь. Но вот «Алкоголь» явился сразу – как гром ударил – 16 октября 1958 года.

Алкоголь

Хожу я ужинать в столовую,
куда валят под вечер лавою.
Откупорив белоголовую,
я в рюмке, словно в море плаваю.

Сиди да знай себе поикивай,
соседу всякому поддакивай,
что ходим-де под дамой пиковой,
что фарт у нас-де одинаковый.

А выйду – почему-то улица
во всю длину свою бахвалится.
Пускай за домом дом сутулится,
да только нет, шалишь! – не свалится.

Пусть путь и вымощен, но немощи
не будет ниоткуда помощи,
хотя от горя я не нем ещё,
хоть и со счастьем не знаком ещё.

Как насекомые, пиликая,
и тикая, и даже звякая,
таится тишина великая,
а в тишине и нечисть всякая.

И сколько хожено и гажено!
И сколько ряжено и сужено!
И есть ли где такая скважина,
чтобы забиться прямо с ужина?

16 октября 1958 (I,469)

И всего одно исправление: в последнем стихе последней строфы «чтобы» исправлено на «куда». Публикаторы, однако, удовлетворились черновым вариантом из тонкой тетрадки, а в беловик заглянуть не удосужились. Да, иной раз, читая «Алкоголь» прилюдно, С. В. пропускал четвёртую строфу, считая её, очевидно, несколько искусственной (особенно два последних стиха), хотя и весьма эффектной по звукописи.

Если, предположим, из законного Серебряного века выбирать хрестоматийные стихи, то одним из них, разумеется, будет блоковская

«Незнакомка». А вот если на ту же роль выбирать из нашего Железного века, то «Алкоголь», пожалуй, подойдёт как нельзя лучше. Пьяный бред лирического героя «Незнакомки» не таков, как у окружающих «пьяниц с глазами кроликов», и «истина в вине» у них тоже разная. Что «видят» пьяницы у Блока – не сказано, но ясно, что герой и в бреду отличается от «чумазых», которым вряд ли примстилась «Незнакомка».

Не то у Петрова: герой – завсегдатай «Алкоголя» – такой же, как все, и как все, осознавая свою немощь, от алкоголя как раз и трезвеет. Видать, водка в шалмане покрепче будет ресторанного вина, если истина является безо всякого романтического флёра. Бредовая «незнакомка» Блока, возникая в пьяной галлюцинации, обманывает; истина «Алкоголя», даже в угаре, напротив, отрезвляет: «...и есть ли где такая скважина...»

4. Божественный дар – графомания. Музыка и архитектура.

Отчётливое нежелание терпеть в своём кругу «бессмертного» проявилось именно среди пишущих – среди читающих (их немного) реакция обратная.

Знаменитый прозаик Фёдор Абрамов, послушав однажды стихи С.В., сказал ему с обезоруживающей откровенностью: «Если бы я не знал, С. В., что Вы – замечательный переводчик, то подумал бы, что Вы – графоман». Эту фразу С. В. частенько цитировал своим слушателям или читателям, а они прекрасно сознавали: того, кто недоступен пониманию по причине очень высокого полёта, проще всего объявить графоманом (в клиническом значении этого слова). Ну а если клиникой тут не пахнет, то настоящий писатель и должен быть графоманом: он не может не писать, и в этом его призвание. Кроме того, у С. В. очень много произведений не только сложных по содержанию и форме, но и по объёму – больших: многочисленные фуги, симфонии (их – восемь), сонаты, концерты, квартеты, кантаты, реквием (по сыну), сложнейшая многоголосая поэма «Аз», и всё это инструментовано посредством единственного инструмента – Слова, в которое преобразились – по мановению волшебной палочки поэта – духовые, струнные, клавишные и самые разнообразные прочие музыкальные инструменты вкупе с солистами, хором, дирижёром и даже толковником. Подобной музыки не слыхано было ни у одного доселе жившего или ныне живущего поэта. Как жаль, что с этим невероятным языком не знакомы ни музыканты, ни языковеды.

Раскладывая свою многоголосую партитуру по голосам и инструментам, С. В. изображал эту полифонию чернилами разного цвета – палитры ему часто не хватало – тогда в ход шли разные типы почерка и графические приёмы: устав, полуустав, которыми Петров владел в той же мере, как и собственным каллиграфическим почерком.

Обладая несравненным даром слова, которым он распоряжался как истинный языкотворец – композитор слова (просто излучал слово), Петров тем не менее сетовал на свой гармонический дар – некомпозиторский, вне музыки:

...на музыку я все глаза
разинул и развесил уши.
Ужели я колоды глуше
и в ней не знаю ни аза?

И хочется себе пенять
за то, что угодил в поэты,
а мог бы ведь и менуэты,
авось, как Моцарт, сочинять.

И вот от злости я распух
на самого себя и Бога
за то, что я такой лопух
и музыка мне недотрога.
«Криводушье»,
ночь с 7 на 8 марта 1978 (III,163)

Недотрога? Послушайте, однако, что попроще, – кусок из «Фуги с вариациями на тему «Севильского цирюльника»»:

...мертвецким басом и без умственных
усилий
воздвигся, будто монумент крутой,
огромный треугольный дон Василий
в обнимку с чёрною Катюшей-клеветой.
Стучит гроза, за дверью на балконе
ливень скачет, не находит места.

Тучи мчатся, точно вороные кони,
а в оркестре la tempesta.
Дон Василий машет суше
над грозою холостой.
Улетают в полночь души,
и взрываются катюши
вместе с чёрной клеветой.
Кошки ночью больно серы,
жарко светятся их очи.
Buona sera, buona sera.
Доброй ночи, доброй ночи!

1-7 июля 1980 (II,536)

Вспомнили дона Базилио и арию клеветы?

Только вот трудно представить, что Петров, доведись ему и вправду выбирать, променял бы свой дар языкотворца и композитора слова на дар просто композитора. Оба дара Господь не даёт, зато вознаградил С. В. особым архитектурным чутьём. Его «архитектурное наследство» не менее огромное, чем «музыкальное». Вот к примеру:

Собор Смольного монастыря

Стоит небесная громада голубая,
пять медных солнц над ней вознесены.
А век вертится рядом, колупая
кусочки сини со стены.

Чуть слышится барочный образ трелей,
певучих завитков намёк.
Но музыка молчит. Вколочен в гроб
Растреллий,
а день как тряпка серая намок.

Кто мчится напрямик, а кто живёт окольней,
кто на банкете пьёт, а кто так из горла́.
По-вдовьи грузен храм без колокольни –
она, воздушная, в девицах умерла.

Воспоминание о ней – как о кадавре,
на чертеже она рассечена.
Сестра её на променаде в Лавре,
как дама в робе, всё ещё стройна.

А церковь вдовая ушла подальше
от медного болвана на скале
и, вроде позабытой адмиральши,
стоит облезлым небом на земле.

24 февраля 1975, (II,348)

Вот вам и архитектура как «застывшая музыка».

Вытаскивая тексты из тонких черновых тетрадей, публикаторы и здесь умудрились исказить окончательный (беловой) текст автора в пользу черновика: третий стих третьей строфы был – «по-вдовьи толст собор без колокольни». С. В. сразу же разгрузил напиханную тесную строчку, изменив «толст собор» на «грузен храм». Но публикаторам это до лампочки, и они выдают такого рода казусы за «варианты». Притом, что есть окончательный текст, т.е. воля автора налицо. То же самое публикаторы проделали, только гораздо размашистей, с текстом архитектурного стихотворения «Спас-Преображение» (I, 424), списав почти половину текста из черновика (а он гораздо хуже белового), да ещё понаделав грамматических ошибок в заглавии и в последнем стихе. В так называемый «список исправлений» в 3-м томе «Спас-Преображение» не попало вообще – так же, как и «Собор Смольного монастыря».

5. Трагилирика и две «Незабудки»

Почти вся интимная лирика Петрова трагична и в большинстве случаев обращена к одному адресату, кое-где зашифрованному в строчках, но нигде не названному. Сила этой горестной лирики такова, что боль передаётся читателю (или слушателю) мгновенно, как по проводам высочайшего напряжения. Стоит прочесть одну лишь фугу «Ясность» (II, 105) или «Куда?» (II, 283), чтобы почувствовать нестерпимую и неизбывную боль разрыва. Поскольку «Ясность» и многие другие трагические фуги велики по объёму, приведу здесь более короткое стихотворение, адресованное всё тому же источнику боли:

Люди видели Тебя, и насказано
так, что вся твоя парсуна дёгтем мазана.

Или это от забот дня рабочего
набрехали, что Тебя скособочило?

Кем же, дескать, были вы очарованный?
Ведь у глаз-де цвет воды дистиллированной.

А затылок-де трясёт крысьим хвостиком,
на гимнастике душа стала мостиком.

Может быть, и так, да вот, жаль, что по́ мосту
запрещается проезд даже помыслу.

Но возможно, что народ завирается
и гурьбою через мост перебирается.

Пусть хоть этак, хоть растак – мост да улица,
не гулять бы на мосту, а пригулиться!

Пусть и улица пойдёт малость пьяная –
не Разъезжая она, не Расстанная!

Пусть Тебя и бесом в бок, пусть, счастливица!
Только дал бы бедный Бог нам увидеться!

12 ноября 1975 (II,391)

Из этой трагилирики, представленной разнообразными фугами, симфониями, «музыкальными» и не музыкальными, лирико-философскими, то с иронической нотой, то с трагической, какое наугад стихотворение ни выбери, обязательно выберешь шедевр. И есть среди этого самоцветного корпуса стихов две небольшие жемчужины поразительной и поражающей чистоты, вступившие в перекличку через 30 лет.

В раннем (1939–1945) – адресата ещё как бы нет, он покуда лишь предчувствие; адресат появится более чем через 30 лет, но он – другой; к тому первому обращено трагическое недоумение поэта, а второй вызывает чистейший восторг перед Божьим созданием, будь то цветок или прелестная девушка. Образ этот – невоплощённый – тревожил поэта 6 лет, а воплотился через 30 лет в шведскую девушку, гостившую тогда в Ленинграде.

Вот эти две «Незабудки», и через 30 лет не увядшие и живущие в одном ритме:

Среди травинок-заковык,
о лучшей жизни не заботясь,
среди миазмов луговых
мечтает мирно миозотис.

На скромной кожице ланит,
былое трогая глазами,
он небо бледное хранит,
придерживая лепестками.

Ты знаешь ли, цветок разлук,
что память в горестях повинна?
И вкруг тебя несётся луг,
как бы зелёная лавина.

Травы взволнованный развал,
раскат ложбин, и ям, и кочек.
И как бы ты теперь назвал,
ботаник, крохотный цветочек?

Сумеет ли себя сберечь
от горькой памяти рассудок
среди горячих нежных встреч
в толпе внезапных незабудок?

19 ноября 1939-24 ноября 1945
(«Неизданное», 247)

И через 30 лет:

B.L.

Цветок прощаний и разлук,
не прячась, но и не казотясь,
глядит на разливанный луг
голубоглазый миозотис.

Он вечно свежий, как роса,
готов пробраться и песками,
и крохотные небеса
придерживает лепестками.

И путешествует меж трав
с откоса и до водной глади
цветок без долга и без прав
с единой крапинкой во взгляде.

В оконце памяти моей
ещё звенит он, как побудка.
Вот так и ты, Vorgetmigei,
моя большая незабудка.

1975 (II, 402)

За пределами этой главы осталась «Портретная галерея» (женские портреты, которых около ста).

6. Сергей Петров: вчера, сегодня, и – завтра

Поражает необозримое по объёму одно только поэтическое наследие Петрова, а есть ещё и прозаическое:

«Сказание о Прекрасной Елене, в иночестве Евлалии», историко-художественные исследования «Сергий Радонежский» и «Протопоп Аввакум», множество эссе и очерков о близких ему по духу поэтах (Тютчев), философская притча «Ахамия», множество заметок о русском языке, несколько драматических произведений, в том числе блистательный «Ум от горя» – уморительная проекция Грибоедова

на современные «времена и нравы», где главный герой – Александр Абрамыч Шацкий, «Аз многоликий или Поэма лица».

Список поэтов, переведённых Петровым, лучше не перечислять, но среди них нельзя не назвать тех, которых С. В. перевёл несравненно: Р. М. Рильке (в первую очередь «Часослов»), Бодлер, Верлен, Поль Валери, Эдгар По, Стефан Малларме и многие другие. Особо надо выделить переводы из Лесмяна, а также кантату Р. Бернса «Загулявшие нищеброды», а не та «Голь гулящая», которую выдернули из черновиков неведомые благодетели. Список «Загулявших нищебродов» – окончательный и собственноручно подписан автором – до публикации, очевидно, не дошёл. Видимо, пока существует официально назначенный перевод С. Я. Маршака «Весёлые нищие», настоящий Бернс С.Петрова никому не доступен. Переводил С. В. и с русского на немецкий; совершенно замечателен его перевод из А. К. Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева».

Не Серебряный, а наш Железный век отразился в его сочинениях: споры с Создателем, сомнения в своей миссии художника слова, сетования на удары судьбы и непримиримая стойкость и несгибаемость под этими ударами. За его философскими сочинениями в стихах и прозе – ни с кем не сопоставимый энциклопедический объём знаний, который был у него в постоянном движении и многоголосии – отсюда и проистекало его искусство фуги. По большому счёту, почти все его произведения написаны в форме фуги.

Писатели, знакомясь с ним и подспудно чувствуя, что им не по зубам такая высота человеческого духа (тем более, что в быту он был неприхотлив и кое-кому казался простоватым) и мастерства, от которого захватывает дух, предпочли отвернуться от Петрова, как будто его вообще не существует – и даже слова худого про него не сказали. Ну а читатели бывают разные. Даже не до конца постигая философский смысл его сочинений, читатель или слушатель – в большинстве случаев это одни и те же люди – был заворожён поразительной звукописью, золотыми россыпями словесного богатства – и какой за ними стоит золотой запас языка! Недаром литературовед и критик С. Лурье сказал, что Петров – это сам язык.

Ну а то, что С. Петров был и остаётся нашим современником и в XXI веке, ясно хотя бы из его «Новой Рождественской фуги» (II,548–550), состоящей из 2-х частей. Не поленитесь, современники, прочесть её целиком, а я ограничусь заключительными строками обеих частей:

I

...молюсь за мир, за древнюю культуру,
за веру предков, аки Аввакум,
и за подпольную литературу,
невольно наводящую на ум.
Молюсь за мир. Слезами вековыми
исходит робкая свеча.
Молюсь по чистой совести во имя
Господне и за здравье Ильича.
Смеясь, молчу. Не моему уму
чужих шагов раскинутая мера.
Прости же, Боже, страстного невера,
помилуй, Господи, неверного Фому!
Молюсь за мир. А мне смешно и страшно.
Авось и смерть мне видится смешной,
и я вкушаю праздничное брашно
и запиваю смертной тишиной.
О войнах бешеных калякают калеки.
Поляки бедные справляют Рождество.
На чёрных святках замерзают реки,
и кровь не движется, и стынет естество,
и благо бы не знать – не ведать ничего.
И мне, калеке, до Москвы далёко,
юроду старому не побывать в Кремле.
Но я молюсь по-Божьи кособоко
за мир на грешной матушке-земле.

25 декабря 1980 (II, 549)

II

...и я пророчу всем седобородым
имамам и аятоллам:
да будет мир звереющим народам,
да будет мир им с верой пополам.

В сочельник по-язычески хожу я
во имя Божье колдовать,
и миру христианскому твержу я:
«Да перестаньте! Полно блядовать!
Меж полушарий, словно меж двугорбий,
верблюжий путь мы к миру проторим.
И папа призовёт urbi et orbi
паломничать в Москву, как в третий Рим».

6 января 1981 (II, 550)

7. Поэт не переведён и непереводим

«И это единственный мой недостаток», как сказал совсем по другому поводу поэт Михаил Светлов, и самая главная причина недосягаемости Петрова для мировой культуры. Да и какому переводчику доступна звукопись, не поддающаяся никакому переводу? Если же звукопись будет иноязычной, не русской, то рассыплется и обмелеет непостижимая глубина стиха. Переводить, как это сейчас принято, подстрочником – тот же самый эффект: звукопись ушла, а вместе с нею садится на мель и мысль, одетая в Слово.

Бессмертный русский поэт, вместивший в себя не менее 7 веков русского слова – от Сергия Радонежского, Аввакума Петрова до самого себя, Сергея Петрова, – оказался по-настоящему бессмертен лишь для одного русского языка, а для других он – «недотрога». И этот барьер покуда непреодолим, как бы ни старались издатели, как бы ни изощрялись в похвалах Петрову очень немногочисленные критики и литературоведы. Именно поэтому нам, русскоязычным, русскоговорящим и просто русским стыдно не знать своего поэта, единственного на сегодняшний день, кто воплотил в себе золотую кладовую всего русского языка, какой нет ни у какого другого народа.

Как бы ни сокрушались столь же немногочисленные, как критики, читатели и почитатели Петрова, авось (любимое словечко поэта), его наследие достанется грядущим векам, когда рухнет, наконец, Вавилонская башня языков – и все будут знать все на свете языки, как сам Господь. Вот тогда, авось, и дождётся Сергей Владимирович Петров своего Благовещенья:

Всё думаю о том, как я умру,
подхваченный великой лиховертью,
воспринимая смерть как жуткую игру,
за коей следует мой путь к бессмертью.

Не может быть, чтобы я умер весь!
Останется меня хоть малая частица.
Сознание моё всем саваном завесь,
дабы я мог к бессмертью причаститься.

Очнусь в беспамятстве, в загробной глубине,
а врач свидетельство о смерти мне напишет
рукой бестрепетной. А мне во смертном сне
всё будет чудиться, что кто-то рядом дышит.

Начну я сызнова посмертно жить,
не старчески, а как ребёнок малый,
и станет смерть мне голову кружить,
затем что жизнь меня не понимала.

Моя злосчастная бессмертная душа
и после смерти ухитрится
всё повторить, сумнение глуша,
и жизнь моя посмертно повторится.

17 октября 1983

Дай-то Бог.

18-22 июля 2012 г.

Денис БЕЗНОСОВ

ПОЭЗИЯ КАК ЗРЕЛИЩЕ

Анна Золотарёва. Зрелище. – М.: ОГИ, 2012. – 72 с.

Книга Анны Золотаревой «Зрелище» – это собрание стихотворных текстов, написанных более чем за десять лет. Отсюда обширное разнообразие использованных и проработанных автором стихотворных техник и сочетание различных литературных традиций при довольно небольшом объеме самой книги. Каждое из 44-х стихотворений представляет собой определенный этап в творчестве поэта, оно самоценно, не серийно и, в сущности, является отдельным поэтическим циклом, герметично сжатым до одного текста.

Книга обладает трехчастной структурой: «зрелище» преподносится в 3-х действиях, расставленных в хронологическом порядке, однако внутри действий хронология нарушается.

Благодаря соблюдению такой последовательности, насыщенности поэтической речи и многомерности стихотворной формы, динамика происходящего нарастает с каждой страницей, не давая читательскому глазу заскучать и от тоски пропустить пару-другую ритмически идентичных строк.

Вынесенная в заглавие книги «зрелищность» (= зримое, привлекающее взор) реализуется сразу на нескольких уровнях. Прежде всего, это масштабный спектр собранного материала, многообразие форм, образов, инто-

наций, очевидное и весьма стремительное развитие лирических событий. Но также заглавие книги следует понимать как определенное возрождение исконной роли поэзии, а именно – ее зрелищности. Призванная удивлять, требующая умения не только деформировать язык, но и создавать его заново по собственным лекалам, поэзия синтезирует в себе элементы всех видов искусства (музыки, скульптуры, живописи и проч.) с тем, чтобы обрести универсальность и превозмочь реальность, навязанную извне.

«Зрелище» Золотаревой движется практически по классической литературной траектории, через экспозицию и завязку напрямик к кульминации; книга минует развязку, оставляя в финале некоторое количество намеков и не более того.

Так, экспозиционную функцию, в некотором роде, несет открывающее книгу стихотворение «дерево видеть как дерево...»: «...дерево боль моя / дерево соль земли / дерево дерево я повстречал тебя / дерево знаешь а все-таки дерево / видишь стою пред тобою как дерево / и прорастаю корнями». Слияние человека с растением, процесс прорастания как поиска почвы, будь то земля (выбранное пространство) или же почва языковая (выбранный язык). С этого прорастания начинается поэтический (а впоследствии и буквальный, так сказать, географический) путь лирического героя Золотаревой – из одного речевого локуса в другой.

Уже в этом стихотворении встречается вплетенная в ткань текста немаркированная цитата (моностих В. Эрля «Дерево, дерево, я повстречал тебя»). Наличие скрытой цитации, переработка готовых текстовых элементов и раскрытие наличествующих в них герметичных подсмыслов встречается во многих других стихотворениях книги.

Самые очевидные: цитата из В. Тредиаковского в стихотворении «Вешнему теплу» («о вы в которых боль / по беспокойству духа...»), в которой помимо фразы поэта зашифрованы его инициалы – В. Т.; спор с Р. М.Рильке «В ангеловом переулке» («В Ангеловом переулке каждый ангел прекрасен...», в то время как у Рильке «Ангел ужасен...»); превращение крученыховского «дыр бул щыл» в деепричастное «дырбулща» в стихотворении «Что я могу еще обеща-...»; пушкинское «Грузинка красиво...», тогда отброшенное поэтом и, наконец, пригодившееся через два века и породившее целое стихотворение – «Утренний рынок. Грузинка красиво раскладывает на прилавке...» – подобно тому, как когда-то «Гости съезжались на дачу...» породило толстовский роман; два центона («В Мексике...» и «когда за утренним кофе...») полностью составлены, как и заявлено автором, из новостных цитат; а в первом тексте цикла «Сумерки» встречается переработанная цитата Донна – Хемингуэя: «не спрашивай по ком звенит посуда / на столиках в кафе...» etc.

Стихотворение Золотаревой «Обезьяна» полностью вырастает из двух слитых воедино текстов В. Ходасевича – «Бренты», фрагмент из которой вынесен в эпиграф («Но горька была расплата. / Брента, я взглянул когда-то / В струны мутные твои»), и непосредственно «Обезьяны», на который предложена ответная реплика: «не трудно попасть в ловушку цитаты / вскормленную литературой» – так открывается стихотворение Золотаревой.

Ходасевический герой в жаркий день встречает у забора серба с ручной обезьяной и дает ей блюдце с водой, на это обезьяна отвечает более чем человеческим жестом: «Всю воду выпив, обезьяна блюдце / Долой смахнула со скамьи, привстала / И – этот миг забуду ли когда? – / Мне черную, мозолистую руку, / Еще прохладную от влаги, протянула... / Я руки жал красавицам, поэтам, / Вождям народа – ни одна рука / Такого благородства очертаний / Не заключала! Ни одна рука / Моей руки так братски не коснулась!..»

Герой «Зрелища» тоже повстречал обезьяну, но антураж сильно переменился: теперь перед нами «питомник для обезьян из лаборатории по проведению научных экспериментов», животные сидят «в тесных клетках средь собственных испражнений вони и мух», по-прежнему жарко. Его размышления подобны размышлениям ходасевического героя: «...как же мне пожимавшей руки / красавцам и красавицам / ученым музыкантам художникам поэтам / сильным мира сего властителям дум / не вспомнить было / ходасевическую обезьяну?» И герой проверяет тот жест столетней давности, протягивает обезьяне руку, но:

сколько горестного негодования
смешанного с отвращением и ужасом
выразил крик несчастной отпрянувшей
вглубь клетки!
так оскорбительно было ей человеческое
рукопожатие
что не справившись с обидой
она стремительно ринулась обратно
и расцарапала мне ладонь
до крови

будто сама природа
(что ей наша культура
поэзия цивилизации армии победы что
ей наше тщеславие)
заговорила:
выблядок
не смей подавать мне руки!

«В тот день была объявлена война», – писал Ходасевич; «что ей наша культура поэзия цивилизации армии победы» – вопрошает Золотарева. Ни война, ни другие события ничего не изменили, разве что – в худшую сторону: теперь, после перенесенных опытов и заточения, обезьяна, одновременно олицетворяющая природу и некое отражение человека, чувствует к окружающим (и к человеку в особенности) отвращение и ужас, и кроме того, она оскорблена человечным к себе отношением.

Через диалог с поэтом начала XX века поэт начала века XXI оценивает трансформации, произошедшие в мире за последние сто лет, и выносит безрадостный приговор человеческому существу. Та объявленная война имела куда большее отношение к жизни, нежели нынешняя стабильность, изо дня в день ставящая опыты над человеком.

Но не все цитаты настолько прозрачны; кое-где Золотарева прячет цитату, глубоко зашифровывает ее, практически стирая грань между нею и своей собственной речью. Так, в первой строке стихотворения «Фотоувеличение» «Гибель оранжевого – надрыв апельсиновой корки...» слышна мандельштамовская «апельсинная корка» («Я не увижу знаменитой “Федры”...»), а строка «...не оставь меня без тебя темно...» перекликается с библейским «Не оставь меня, Господи, Боже мой!...» [Пс.37:22] и т.д.

Структура высказывания Золотаревой невероятно сложна, сгущена множеством инверсий и синтаксических «вывертов», ритмически урегулирована (будь то метрическая организация, рифма, клаузула или же наличие некоего прихотливого ритма в каждой отдельной строке).

В некоторых стихотворениях «Зрелища» автор обращается к довольно редким размерам, будь то шестисложник: «До нутра пронизан утренней прохладой город многолицый, / мускулы напружил и помчался резво настигать добычу – / из кромешной лета дымовой завесы выступила осень, / подошла вплотную и явила то, что прежде было скрыто...»; или же пятисложник: «Ничего не жди – приберись в дому / постирай белье приготовь обед / неожиданно возвратись к тому / для чего тебя слишком долго нет».

Кое-где автор несколько «сдвигает» размер, добавляя плавному звучанию внезапное «спотыкание». Подобный ритмический сдвиг мы видим, например, в стихотворении о святом Христофоре («Из хлябей разверзнутых в утренний двор...»), во вторых строках первых двух строф которого пропущен ожидаемый слог: «Из хлябей разверзнутых в утренний двор / выходит ко мне святой Христофор... [...] награда за то, что хотела узреть, / как зреет незримое, дабы впредь...». Далее мелодия постепенно находит свою гармонию, слоги восполняются, но по-прежнему не хватает ожидаемого ударения: «Навыворот исподволь поперек / шныряют, проныривают наутек... [...]. Все вроде как будто в порядке вещей, / но в частности вслушиваешься вотще...». И лишь в двух финальных строфах текст обретает плавное звучание амфибрахия: «Такая усталость и дряхлость во всем / лишь весело всюду гуляет, весом, [...] Что он говорит? – не пойму ничего, / но знаю, что песьего тела его...».

В последнем стихотворении «Зрелища» – одической песне «На выпуск стрижа» это ритмическое «спотыкание» доведено до совершенства: каждая строфа состоит из шести строк, плавный ритм первых трех сменяется ритмическими перебоями двух следующих и восстанавливается в последней строке; благодаря такой компиляции ритмов возникает многомерное звучание, не позволяющее тексту сорваться в однообразное повторение размера из строфы в строфу:

Не нужна теперь безногому земля:
чуть почуял воздух вольный, так – фьюить

настригать по ветхой сини кругаля,
быстро в выси вензеля нарезать,
силясь небо прободать – пробудить,
дабы легче пропускало благодать.

Нам, ногами прозябающим в земле,
Нам, смиренным, и наследовать ее,
над иными возноситься, но не взле-
тая таять глиной, в глину назад
возвращаться, ибо небо свое
никому не доставалось без утрат.

Хладнокровное пернатое – урод,
смерть распластанному властью
плоскостей
ждать недолго – недостаточность высот
перехватит дух, порвет в пух и прах –
жестко выстлана земная постель
и губительна для серпокрылых птах...

Поэзия Золотаревой всегда визуальна; зачастую ее стихотворения вырастают из того или иного оптического наблюдения, внутри которого настоящее преломляется через прошлое и наоборот. Цвет тесно связан со звуком и, разумеется, с запахом, в результате такого сращения различных признаков изображаемого возникает многослойная фовистски-контрастная картина: «здесь конечно же все пахнет востоком / папоротником кипящим рисом и лотосом / ветер в железных телах водостоков / изнемогает когда распускаются длинные черные волосы / воды / по сутулым плечам тротуаров / и взрываются розовым сакуры ветки...»

Еще бóльшая живописная контрастность присутствует в другом, более позднем стихотворении Золотаревой «этот рассвет разрушитель предметов и линий...», в ткань которого вплетены присутствия сразу трех художников – Пикассо, Филонова и Ларионова – не только буквально, но и на визуальном уровне; поэт буквально цитирует манеры художников, постепенно обретая свою собственную:

...взорванно-пепельно не искажай мне лицо
там где любимый лежал – проступил пикассо

синий да розовый – взорвано-сложных –
филонов – голов
смешанный ларионов – навылет лучи
из углов
не революция не катастрофа – рассвет
нет меня нет тебя и ничего уже нет
всё – ничего только утренняя пустота
внутренняя красота отрешенность холста...

В некоторых текстах «Зрелища» описание приобретает вполне сюрреалистичные черты, реальность становится ирреальной и деформирует сама себя и героя вслед за собой: «Некуда спрятаться этому жирному городу, / да он уже ничего и не хочет. / Тело теряет свои очертания, / и ни черта не разобрать: / на голове обозначилась талия, / на животе глаза! / У меня в ванной поселился ручей, / сегодня он был хрустально чист, / как утренний воздух, как слово *ничей*, / как утренний первый лист». Изламывается город, его замкнутое пространство переворачивает все с ног на голову; и всё вдруг обволакивается речью, «шелестя суффиксами, прорастая корнями» (двойной смысл – корень как часть растения и корень как сердцевина слова; перекличка с первым текстом книги) и сквозь язык приобретает новую форму.

Зрелищное пространство Золотаревой – это лабиринт, мастерски создаваемый на глазах у читателя. «Анна – одна из немногих в современной поэзии, кто не боится отказываться от себя вчерашней, в поисках себя неизвестной, – пишет о «Зрелище» Сергей Бирюков. – Я всюду вижу, что текст в этой книге создается, что здесь есть допуски, неровности, сбои... Мне даже начинает казаться, что когда я положу руку на обложку, книга сама будет двигаться под рукой, потому что в ней живут не только стихи, но и стихии». Т.е. зрелище именно создается, потому финал книги – взмывающий в небеса стриж («мой безногий, птенчик, стриж – не герой / сделал круг – мелькнул за облаком – исчез») – открыт, поскольку заканчиваясь, эта книга врастает в следующую, еще ненаписанную, но, вероятно, не менее зрелищную книгу.

Сергей ТРУНЕВ

ТУСОВКА КАК РЕВОЛЮЦИЯ; РЕВОЛЮЦИЯ КАК ТУСОВКА

Гвидеон: Поэзия в действии: [Журнал Русского Гулливера], 2012, № 2. – 324 с.

Тиража нет, но есть формат. Формат – «поэзия в действии». И руководитель проекта – Вадим Месяц, и главный редактор – Андрей

Тавров, и выпускающий редактор – Марианна Ионова, и художник – Михаил Погарский. Все на местах: понимаешь, что не для простых издание, и сразу как бы все ясно. Ну, в таком случае и спрос соответствующий.

Относительно поэзии в действии выясняется уже из введения, написанного руководителем проекта: «Времена изменились. Коллективно-мистическое, экстравертное – «поэт должен быть больше, чем поэт», вера в особую роль литературы и ее воздействие на общественную жизнь – возвращаются; мы остались такими же, какими были. Фенотип, архетип... Национальную специфику надо беречь». Действие, таким образом, представляется ни много ни мало революционным. Ну и слава богу, что есть в России поэты, которые «больше», у которых есть высокая миссия и все такое.

Руководитель проекта среди них, «больше чем» поэтов (по мнению главного редактора, что объяснимо), поскольку: «Встретить в себе источник всего, встретить в себе Бытие, Бога, недуальное сознание, откуда все возникает и происходит, и передать эту весть в вибрирующих от близости источника всего словах – эту цель порой сознательно, а чаще интуитивно ставят перед собой такие разные поэты, как Анастасия Афанасьева, Наталья Черных, Алла Горбунова, Вадим Месяц, Алексей Афонин, Владимир Аристов...» И есть с чем поспорить... Собственно, спорить тут можно практически с каждой строкой «программных» текстов редакторов, предваряющих основное (хочется надеяться) содержание.

Звучит заявленная Вадимом Месяцем позиция журнала амбициозно, опять же, высоколобо и в достаточной мере пафосно. В стиле поздних славянофилов, для которых наше нынешнее – это всегда предвестие чего-то грядущего, и всегда более масштабного, граничащего со вселенским: «Славянский ренессанс, обозначенный Милорадом Павичем, вполне может состояться на просторах нашей родины. Способность нести обаятельную пургу, через которую, тем не менее, просвечивает святая и бездонная истина, мерцает в нас от Гоголя до Курехина». Да, действительно, есть в нас, россиянах, что-то такое необычное: то ли бабушка согрешила с водолазом, то ли водолаз с бабушкой. Кстати, отчего именно до Курехина?

Кстати, опять же, отчего российские «духовные» (простите) элиты, не признают себя элитами лишь потому, что наши же политические элиты их таковыми не признают? Оттого, вероятно, что слабы наши элиты, которые, меж тем, конфуциански надеются, что «тянь мин» рано или поздно поднимет их по социальной лестнице за их выдающуюся «вэнь». Но это к слову и от себя, ну, и немного от гипостазируемого самосознания конфуцианских элит.

Невозможно согласиться и с тем, что: «Поэзия сверхчеловечна и наднациональна? Миссия России так же сверхчеловечна и наднациональна. Это совпадение нужно использовать». Не говоря уже о том, что последние душеспасительные беседы о сверхчеловеческой миссии России окончились в начале XX века, надо учесть следующее. Простите, но поэзия глубоко национальна и практически непереводима на другие языки, помимо родного (на родной тоже можно переводить, помню соответствующий проект в «НЛО») – это кажется мне банальностью, но, может, зря кажется. Мартин Хайдеггер, который был не менее националистом, нежели Эзра Паунд, очень качественный материал о котором имеется в журнале, кажется, вполне убедительно продемонстрировал это в своем «Истоке художественного творения». Не важно, кто и как относится к Хайдеггеру, однако читать и понимать стихи и смотреть комментарии к каждой строке – разные вещи. Иначе говоря, либо ты просекаешь родной язык автора на всю глубину, либо читаешь поэтический талант переводчика. Далее по списку: поэзия и проза.

Приятное интервью с Натальей Горбаневской, умное и идеологически нейтральное. Горбаневская очень тактично уходит от прямых «политических» вопросов, что не вполне (как мне кажется, исходя из текста) удовлетворяет Вадима Месяца. Интересная лирика Екатерины Перченковой, Сергея Строканя, Ольги Погодиной: выверенная, ненавязчиво метафизическая. Менее удачная подборка Алика Ривина (рубрика «Архив»), вызвавшая некоторое недоумение названием стихотворения «Оливеру Твистеру». Читавший да поймет. Подборка Михаила Щербины также показалась не вполне. В минус ушла Наталья Черных, но, вероятно, это просто не мой стиль. Хрони-

ка «Призывания царей на родине Александра Македонского» погрузила начавшуюся было тихую революцию отечественной словесности в пестрый мир путешествий по литературным и музыкальным тусовкам, а также по линиям жизни иноязычных культурных революционеров – Ф. Гарсиа Лорки, и уже упомянутого Э. Паунда. Затем фрагмент из текста Марианны Ионовой «Жители садов», текст Владимира Графского «Неизвестная». Неплохие, такие стильные, что ли, эссе (? – это о жанре) Сергея Соколовского, Сергея Круглова и Вячеслава Курицына. И поскольку проза Вячеслава Гайворонского, равно как и поэзия Ингрид Кирштайн не оставили особого впечатления, можно сказать: качество поэзии и прозы в журнале вполне сопоставимы и находятся в приблизительном равновесии.

К сожалению, завершающие материалы опять погрузили революцию в глубины в основном московской тусовки (или заметной из Москвы). В подковерных интригах я, честно говоря, никогда не был силен, а потому комментировать не буду. Думаю, что материалы также достаточно качественны, но определенно судить не берусь.

Для меня принципиален другой вопрос: так ли происходит революция и так ли выполняется великая миссия?

Станислав СЕКРЕТОВ

ИГРА В СЕБЯ:
Предисловие к писателю

Юрий Буйда. Вор, шпион и убийца. – **«Знамя», 2012, № 10–11.**

К написанию мемуаров рано или поздно приходит любой писатель. Впрочем, мемуары мемуарам рознь. Своему новому роману «Вор, шпион и убийца» Юрий Буйда дает подзаголовок «автобиографическая фантазия». Судьба писателя превращается в художественное произведение – где правда жизни, а где вымысел – знает лишь автор. Что ж, тем интереснее!

Название книги сразу ставит вопрос. Вор, шпион и убийца – почему? Или, как говорят в некоторых телепрограммах: «Да ладно!» Юность писателя была связана с криминалом и шпионскими историями? Или это и есть фантазия? На протяжении почти половины романа Буйда сохраняет интригу, однако аккуратно намекает читателю, что дело вовсе не в криминале, а совсем в другом...

Начинается всё с первых детских воспоминаний, заканчивается началом девяностых, когда герой-повествователь переезжает в Москву. Детство – это Восточная Пруссия, точнее – совсем юная Калининградская область, отлично запомнившая не так давно закончившуюся к моменту начала романа войну. Сейчас ветеранов Великой Отечественной с каждым годом всё меньше, а тогда они – тридцатилетние парни и девушки, начинающие новую жизнь. Голос войны в первых главах повествования звучит очень отчетливо. И это не монументальные художественные воспоминания, не мемуары, а нечто настоящее, живое, своя война: «этому удалось в медсанбате провести ночь с медсестрой, которая принесла ему спирта, поставив стаканы на свои груди и по пути не пролив ни капли; а тот вез домой *ажный чемодан* часов из Германии, да по пути проигрался в карты в пух; третий рассказывал о том, как в драке оторвал немцу руку, и перепугался до смерти, пока не понял, что рука-то – деревянная, протез... И еще много было разговоров о еде и выпивке: где что ели-пили, да сколько, да кто больше съел». Вот она – «поэтика гротескового натурализма» – давно уже ставшая традиционной для Юрия Буйды стилевая особенность, выделенная Марией Ремизовой и подхваченная другими критиками.

В жизни нашего героя всё происходит впервые: первые эротические воспоминания, первые «нельзя», первые отцовские уроки, первое путешествие по железной дороге, первая больница, первый труп... Вообще, трупов в детстве и юности главного персонажа автобиографической фантазии слишком уж много. Многие ли из вас находили тела мертвых голых женщин? А многим ли «посчастливилось» находить такие трупы дважды? Одно детское воспоминание вызывает другое, что заставляет читателя напряженно следить за линией жизни героя. Включаются элементы детективного жанра: так кого же убьют следующим и что же скажет нам автор об очередном преступлении? Первый труп – нянька Нила, убитая хозяином водокачки. Чуть поз-

же – еще один найденный труп убитой красавицы. Смерть постоянно ходила рядом и забирала людей вокруг нашего героя: соседей, знакомых, любимых и случайных людей. Чего только стоит история о новогодней ночи, проведенной героем-повествователем рядом с внезапно умершим водителем попутки в заснеженном лесу. И всю ту ночь под ногами центрального персонажа романа валялся мешок с тремя отрезанными человеческими головами.

А еще повсюду процветает воровство, ставшее «основой советского общественного договора, негласного договора между властью и людьми». И все знают друг о друге всю подноготную – кто и чем занимается, кто с кем спит и за кем какие грехи водятся. Количество эпизодических персонажей растет с каждой страницей, при этом у каждого нового героя есть свои скелеты в шкафу. И Буйда их последовательно нам отрывает, зачастую даже не комментируя, а просто извлекая на свет – человек добыл нужные сведения, а что с ними будет дальше – на совести начальника, то есть читателя. Вот вам и получается вор, шпион и убийца.

Впрочем, далеко не каждый настоящий вор, шпион и убийца сумеет так интересно рассказать нам столько историй – тут определенная культурная подготовка нужна.

Наш герой с юных лет очень много читает. Отрывной календарь на 1962-й год, Большая Советская энциклопедия, мемуары Горбатова в «Новом мире», знакомая атмосфера повседневности в книгах Солженицына...

«В читальном зале – вечные старушки над медицинской энциклопедией. Я сворачиваю за конторку и оказываюсь в гуще книг. Узкие проходы между полками, никого, тишина, головокружительный запах бумаги. Меня трясет. Я уже знаю, как это называется: *я во власти вожделения.* Набираю книг двадцать–тридцать, складываю на подоконнике, перебираю, откладываю, восемь беру с собой. Грустная Ирина Канделаки скрипит пером “рондо”, выписывая в мой формуляр названия книг и покачивая красивой головой. Каждую неделю я набирал в библиотеке столько книг, что едва дотаскивал их до дома. Хочется прочесть все, даже “Очерки о Вселенной” Воронцова-Вельяминова, черт бы их побрал.

Домой я возвращаюсь бегом. У меня каникулы, родители на работе, значит, можно *предаться наслаждению* – это выражение я тоже выхватил из какой-то книги».

Литература затмевает всё. Даже о смерти первой жены и рождении двоих детей в романе говорится как бы мимоходом. Литература становится неизлечимой болезнью героя, найденным им кладом, состоящим из миллиардов «лиардов».

Наш герой сам начинает сочинять. Сперва – литературные конкурсы журналов «Юный техник», «Техника молодежи» и «Наука и жизнь», затем – стихи – «чаще без рифмы, километрами», желание написать пьесу... Желание стать писателем. Снова чтение. Снова библиотеки. Когда герой признается Римме – «библиотекарше с красивыми коленками» – в том, что хочет стать писателем, она говорит: «Это ремесло вора, шпиона и убийцы. Писатель подглядывает, подслушивает, крадет чужие черты и слова, а потом переносит все это на бумагу, останавливает мгновения, как говорил Гете, то есть убивает живое ради прекрасного...»

Таким образом, вор, шпион и убийца – это писатель, а автобиографическая фантазия Юрия Буйды – о его становлении как писателя. Однако на протяжении всего повествования наш герой на самом деле еще не вор, шпион и убийца. Еще не писатель. Таковым он себя начнет осознавать лишь в самом конце романа, когда забросит опостылевшую журналистскую деятельность в районных и областной газетах Калининградской области, где всегда надо было писать штампами, и выберет свободу, переехав в Москву и став автором толстых журналов. Став писателем. «Выбора у меня не было – я не только считал себя вором, шпионом и убийцей, но и был им, только им, никем иным. Я чувствовал себя существом, выделяющим слова, как скаковая лошадь — пот, как лягушка – слизь».

Далеко не всегда в русской литературе маленький человек, привыкший четко играть по правилам, диктуемым ему системой, умудряется найти выход из этой системы. Чаще всё заканчивается очень печально. Но герой-повествователь романа «Вор, шпион и убийца» упорно идет вперед и в итоге вырывается из «эпохи безвременья».

Начинается новая жизнь с уже новыми героями.

Иван КОЗЛОВ

ДИКИЕ ЛЮДИ

«Корпорация *Святые моторы*»

Это первый полнометражный фильм Лео Каракса после тринадцатилетнего перерыва. Бурный взлет в конце 80-х и начале 90-х (трилогия «Парень встретил девушку», «Дурная кровь», «Любовники с Нового моста») сменился годами затишья и редкими лентами, принимавшимися зрителями и критикой без особого энтузиазма.

Новая картина чем-то напоминает «Призрак свободы» Бунюэля – линейно разворачивающееся абсурдное повествование, подчиненное вполне четким логическим законам.

В главной роли – Дени Лаван, дебютировавший в знаменитой трилогии Каракса, о которой неизбежно вспоминаешь во время просмотра «Корпорации...».

Драйв и экстрим сменились усталостью и отрешенностью, «меня состарили», – говорит его персонаж Оскар. Нет даже четкого направления развития сюжета в привычном смысле, фильм проворачивает одну сцену за другой, как с трудом вращающееся скрипучее колесо.

Впрочем, таков и день Оскара. Он выходит из своего роскошного загородного дома и садится в белый лимузин, чтобы ехать на запланированные встречи. Таковыми оказываются эксцентричные роли с не всегда ясным смыслом, но всегда четко поставленной задачей, которые ему приходится играть, меняя грим и визаж для каждого нового выхода – старуха-попрошайка, городской сумасшедший, киллер, умирающий филантроп.

Самое забавное, что реальность тоже декорирована соответствующим образом – те, с кем он взаимодействует по ходу «встреч», тоже играют свои роли. Жизнь предстает как ряд скетчей без начала и конца.

Даже смерть не становится чем-то фатальным, можно перевоплотиться в убитого тобой человека, воскреснуть и занять его место. Скорее всего, именно это и было прописано в задании.

Лимузин отвозит его домой – совсем в другое место. Но это тоже не дом в привычном понимании, а очередная «встреча», как не был его домом и тот, из которого он выходил в начале фильма.

«Жизнь» продолжается, завтра будут новые «встречи».

«Орда»

Новый фильм Андрея Прошкина (наиболее известная лента последних лет – «Миннесота») посвящен известной истории об исцелении митрополитом Московским Алексием Тайдулы, матери хана Джанибека (их роли исполняют, соответственно, Максим Суханов, Роза Хайруллина, Иннокентий Дакаяров). Сценарий фильма написал Юрий Арабов.

Рабочее название фильма было «Святитель Алексий», впоследствии оно поменялось на «Орду». Действительно, «ордынская» линия впечатляет гораздо сильнее, нежели «московская». И дело не только в том, что столичные костюмы и интерьеры воссоздавались по сохранившимся источникам (например, интерьер Успенского собора образца XIV века), а золотоордынские мотивы – результат микса достоверных деталей с фантазией режиссера и

художников, бравших что угодно и откуда угодно. Задачей было – создать на экране реальность мифа в предельной степени бытовой детализации. И эта задача решена с блеском.

Сарай-Бату предстает перед нами как воплощенный сон, место, где чужому находиться не стоит, но приходится. Мы видит столицу Орды и изнутри, и глазами загнанного туда митрополита. Сюжет с исцелением (которое состоялось, но с запозданием) поневоле вынимает из памяти кадры заключительной части «Андрея Рублева» – о невозможной победе и о том, что пришлось вынести на пути к ней. Вряд ли это хорошо, потому что слишком уж разный масштаб у этих лент. «Орда» очень приближена ко дню сегодняшнему, часто подыгрывает зрителю, пытается быть несколькими фильмами сразу. Что, впрочем, искупается невероятным визуальным рядом, который усиливается музыкой Алексея Айги.

«Ариран»

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук снял документальный фильм – о самом себе и о своем творческом кризисе.

Титры, которые обычно занимают в фильмах минут 5–10, здесь уложились в несколько кадров. Потому что всё сделал сам – и оператор, и режиссер, и монтажер и... да, и актер, хотя это слово здесь уместно лишь наполовину.

Мы видим мэтра, живущего в уединенном домике сельского типа, где он кипятит снег, чтобы сварить себе фаст-фудовскую лапшу, справляет нужду во дворе под кустиком, сам у себя берет интервью, плачет и пьет горькую. Всё – под камеру.

Творческий кризис – дело хорошее и продуктивное, решение запечатлеть себя в такие минуты (дни, часы, недели) – ход оригинальный и столь же искренний, сколь и провокативный.

У нас нет оснований не верить в искренность тех печальных слов, которые говорит себе (= нам) Ким Ки Дук, но ведь камеру надо как-то установить, чтобы рыдать в четко обозначенном ей пространстве.

Скорее – это фильм об одиночестве творца, о конфликте Человека и Режиссера. Первый – бунтует, второй этот бунт фиксирует. О том, как успешная самореализация подчас приносит неожиданный горький бонус – нежелание идентифицироваться с ней. Но деваться уже некуда, да и не надо. «Придется» снимать новый фильм – «Пьета», который, кстати, получит главный приз Венецианского кинофестиваля.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 25 февраля 2013 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.